

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

4

ИЮЛЬ – АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

М.Н. Боголюбов (С.-Петербург). К прочтению зороастрийской молитвы Ашэм-Воху ..	3
Е.В. Перехвальская (С.-Петербург). Части речи в русских пиджинах	7
Р. Ницолова (София). Взаимодействие эвиденциальности и адмиративности с категориями времени и лица глагола в болгарском языке	27
Г.Е. Крейдлин (Москва). Иконические жесты в дискурсе	46
С.И. Буркова (Новосибирск). К вопросу о базовой грамматической семантике причастий в ненецком языке	57
А.Ю. Урманчиева (Москва). Время, вид или модальность? Глагольная система энецкого языка	84

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Д.О. Добровольский (Москва). <i>Е.В. Падучева</i> . Динамические модели в семантике лексики	101
М.А. Кронгауз (Москва). <i>Н.Б. Мечковская</i> . Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций	110
П.М. Аркадьев (Москва). <i>Explorations in nominal inflection</i>	112
М.Э. Чумакина (Гилфорд). <i>В.С. Храковский</i> (ред.). Типология уступительных конструкций	119
И.А. Грунтов (Москва). <i>Е. А. Кузьменков</i> . Фонологическая система современного монгольского языка; <i>J.-O. Svantesson, A. Tsendina, A. Mukhanova-Karlsson, V. Franzen</i> . The phonology of Mongolian	126
Ю.Б. Коряков (Москва). <i>W.F.H. Adelaar, P.C. Muysken</i> . The languages of the Andes	130
А.Б. Летучий (Москва). <i>A. Levin-Steinmann</i> . Die Legende vom Bulgarischen Renarrativ. Bedeutung und Funktionen der kopulalosen <i>l</i> -Periphrase	133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Н.Д. Светозарова, А.П. Сытов (С.-Петербург). Всероссийская научная конференция: "Лингвистика в годы войны..."	141
Т.А. Михайлова (Москва). Коллоквиум "Celto-Slavica" (Университет Ольстера, г. Колрэйн, июнь 2005 г.)	143
Е. Пупынина, Е. Солодова (Казань). VIII Международная конференция "Когнитивное моделирование в лингвистике" (Варна, сентябрь 2005 г.)	145
Л.А. Феохтистова, О.А. Теуш, А.А. Фомин (Екатеринбург). Международная научная конференция "Ономастика в кругу гуманитарных наук"	147
Н.Н. Занегина, Ю.С. Капитанова (Москва). Виноградовские чтения 2006 г.	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,

В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-25-16

© 2006 г. М.Н. БОГОЛЮБОВ

К ПРОЧТЕНИЮ ЗОРОАСТРИЙСКОЙ МОЛИТВЫ АШЭМ-ВОХУ

Толкование уникального слова одноязычного древнего текста приобретает искомую определенность, когда согласованы контексты отдельной фразы и всего произведения. Вопросу Ясны 44 (7), в котором из шести слов два уникальных, не противоречит перевод 'Кто творит отцу почтительного сына?'. Но Ясну 44 (3–7) пророк Заратуштра, учитель-катехизатор, завершает по существу вопросом о творении человека. В статье продолжено исследование молитвы Ашэм Воху.

В Авесте глаголы *vaz-* 'быть сильным', *vī-* 'скрывать', 'покрывать', 'окутывать', 'защищать' остаются нераспознанными среди лексики, имеющей существенное значение для понимания отдельных мест текстов. В связи с хотано-сакским *uštana-* 'faculty', 'state' Г. Бейли [Bailey 1970: 41] сослался на авест. *uštana-*, *uštāna-* 'жизненная сила', 'жизнеспособность', 'жизнь', отметив, что указанные слова могут иметь в корне глагол *vaz-*: *uz-* 'быть сильным'. Эта этимологическая находка, таковой я ее считаю, расширила представление о корне *vaz-*. Благодаря ей к установленным производным от *vaz-*: др.-перс. *vzrk* 'великий', 'большой', авест. *vazārēz* (из **vaza-* 'сила' и *ar-* 'действовать', 'работать') 'действующий силой', авест. *vazišta-* 'самый величаемый', др.-инд. *vāja-* 'сила', присоединились имена – существительное авест. *uštana-*, *uštāna-* и прилагательное авест. *uzəta-* (Y.44, 7), образованные от слабой ступени корня *uz-*. Для *uzəta-*, получившего разного рода интерпретации, я принимаю значение 'обладающий жизненной силой', 'жизнеспособный', 'жизненный', основываясь на значении *uštana-*, *uštāna-*. При том, что др.-иран. **vaz-* 'быть сильным' восходит к и.-е. **ueǵ-* [Pokomy 1959: 1117] 'быть свежим, сильным', лат. *vegeo* 'быть полным сил', допускаю также, что древнеиранские производные от слабой ступени корня *uz-* сложились под воздействием производных от и.-е. **ueǵh-* [Pokomy 1959: 1118–1120], представленных в авест. *vaz-*, *vašta-* 'везти', др.-инд. *vah-*, *ūdhá-* (< **uzdhá-* < **uzdha-*) 'везти'. По значению производные от *uz-* сближаются с лат. *vegetus* 'крепкий', 'полный сил', 'деятельный', *vegeto* 'оживлять', 'одушевлять'.

Уникальное прилагательное *uzəta-* находится во фразе *kē uzətmē cōrē vyānauā pīθrēm pīθrē* (Y. 44, 7c) "Кто жизнеспособным делает ... сына отцу?". Помимо *uzətmē* исследователям Гат немало забот в этой фразе доставило также *vyānauā*. Но слово *vyānauā* (местн. пад. ед. числа, **vyāna-i-ā*) известно в лексическом варианте *vyā-hva* (Yt. 13, 11; местн. пад. мн. числа, **vyā-hu-ā*) 'во чревах', 'в утробах', 'в матках'; *vyā-hva* (Yt. 8,9) 'в укрытиях'. Имена *vyā-* и *vyāna-* образованы от корня **vī-*. Глагол *vī-* 'скрывать', 'покрывать', 'окутывать', 'защищать' представлен в Ведах спрягаемыми и склоняемыми формами, например, страдательным причастием: *sá mātūr yónā párivīto antár* 'скрытый полностью в лоне матери' (RV 1, 164, 32c). В Авесте *vī-* запечатлелся в следующих именах: *vyā-* (Yt. 13, 11) 'чрево', 'утроба', 'лоно', 'матка'; *vyā-* (Yt. 8, 9) 'убежище', *vōyaθra-* (Y. 34, 10) 'средство укрытия', *vyat* (инф., Y. 48, 7) 'укрытие', 'защита'. В свою очередь *vyāna-* 'чрево', 'утроба', 'лоно', 'матка' является расширением *vyā-* путем суффикса *-na-* или воспроизведенной моделью типа *dam-* 'строить', 'дом' – *dmāna-* 'дом', *vī-* 'скрывать' – *Vyāna-* 'укрытие'. Я передаю фразу *kē uzətmē cōrē vyānauā pīθrēm pīθrē* (Y. 44, 7c) следующими словами: "Кто делает отцу в чреве (матери) сына жизнеспособным?". Этот перевод полностью отвечает строгому стилю раздела Ясны 44, обнимающего с 3-й по 7-ю строфу включительно. Собственно, этот раздел напоминает програм-

му экзамена по природоведению в духовной школе. Во всяком случае, Заратуштра так выразился по поводу цели раздела: *azəm tāiš vβā fraxšni avāmi mazdā spəntā mainyuū vispaṇam dātārəm* (Y. 44, 7) “Со Святым Духом я этими (вопросами), о Mazda, помогаю (ученикам) познавать Тебя как Творца всего сущего”. Вот вопросы, которые Заратуштра поставил в “программе”: Кто в первозданность был Отцом Правды (= Небесного порядка)? Кто проложил путь солнцу и звездам? Кто тот, благодаря кому луна (то) прибывает, то убывает? Кто удерживает и землю, и небо, воды и растения от падения вниз? Кто запрягает пару быстроногих (коней) ветру и облакам? Кто тот искусный мастер, что сотворил и свет, и тьму? Кто тот искусный мастер, что сотворил и сон, и бодрствование? Для кого Ты сотворил стельную корову, вселяющую радость? Кто (Своей) властью создал чтимую Армати? (Божество, покровитель Земли).

В этом месте предстоит увенчать “программу” вопросом о творении человека, о даровании сына отцу. Заратуштра так и поступил. Он спросил: *kə uzəməm cōrə vuyānayā piθrəm piθrē* “Кто делает отцу в чреве (матери) сына жизнеспособным?”. В этом вопросе слова *uzəməm* и *vuyānayā* не могли быть эпитетами сына. Эпитеты вызвали бы ответы еретического порядка¹.

Но вернемся к авест. *uštana-*, *uštāna-*. По форме *uštana-*, *uštāna-* отглагольное имя существительное, которое структурно примыкает к инфинитиву на *-tana-* [Bailey 1970: 41]. Поскольку, однако, в суффиксе *-tana-* исторически соединены две части: *-ta-na-*, то могу допустить, что в определенное время сосуществовали две основы: первичная – *ušta-* и вторичная – *uštana-*, не отличавшиеся друг от друга по значению. На базе *ušta-* развилась, по образцу авест. *gaēvā-*, др.-перс. *gaivā-* ‘живое существо’, основа *uštā-* ‘жизненная сила’, ‘жизнеспособность’, ‘жизнь’. В авестийском лексиконе основа *uštā-* (жен. род) в указанных значениях оказалась не учтенной. Признаны лишь производные от основы *uštana-*, *uštāna-* (муж. род). Форму им. падежа ед. числа жен. рода *uštā* ‘жизненная сила’, ‘жизнеспособность’, ‘жизнь’ заслонили падежи *uštā* имен на *-ta-* и *-ti-* от глагола *vas-* ‘хотеть’, ‘желать’. К этому заключению приводит станс Y. 43, 1 с его двумя *uštā*: *uštā ahmāi yahmāi uštā* и двумя ‘желанный’ в переводе: “as desired ... to him to whomsoever ... (things) desired” [Humbach 1991, I: 151]. В *uštā* этого станса, на мой взгляд, подразумеваются два различных слова. Во-первых, *uštā* (жен. род, им. пад., ед. число) ‘жизненная сила’, ‘жизнь’ и, во-вторых, *uštā* (жен. род, прич.) ‘желанный’; *uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāicit vasə.xšayaqs mazdā dāyāt ahurō utayūiti tēuīšim gat.tōi vasəmī* (Y. 43, 1) “Чтобы жизненная сила пришла (*gat.tōi* = *gatōi*) к нам, которым она желанна! К кому же? Чтобы Mazda Ахура, властвующий по (своей) воле, даровал (её нам)! Я хочу, чтобы Правда обретала постоянство, могущество”.

Продолжая восстанавливать авест. *uštā* как полноправную лексику Гат, обратимся к двум *uštā*, находящимся в чтимой зороастрийской молитве “Aṣəm Vohū” (Y. 27, 14): *aṣəm vohū vahīštəm astī # uštā astī uštā ahmāi # hyat aṣāi vahīštāi aṣəm*. Оба *uštā* 2-го стиха в существующих переводах фигурируют как производные от *vas-* ‘хотеть’, ‘желать’, например: “nach Wunsch wird es, nach Wunsch uns zuteil” (Chr. Bartholomae), “In accordance with (its) wish, in accordance with (his) wish” (I. Gershevitch), “According to wish it is, according to wish it shall be for us” (M. Boyce) [Humbach 1991, II: 9–10]. Но стихи *uštā astī uštā ahmāi* (Y. 27, 14 b) и *uštā ahmāi yahmāi uštā* (Y. 43, 1a) по замыслу не отделимы друг от друга. Они тождественны. “Жизненная сила желанна нам”, говорится в обоих стансах. Молитву “Aṣəm Vohū” (Y. 27, 14) я привожу здесь в следующем прочтении:

¹ Примеры перевода вопроса *kə uzəməm cōrə vuyānayā piθrəm piθrē* (Y. 44, 7) “Wer machte mit Weisheit den Sohn ehrerbietig gegen den Vater?” [Bartholomae 1904: 413]. “Who in (His) spiritedness provides a father with an outstanding son?” [Humbach 1991, I: 158]. “Who provides a father with a son outstanding in vitality?” [Humbach, Ichaporia 1994: 66]. “Who made a son respectful in his attentiveness to his father?” [Insler 1975: 69]. “Who has set up on the earth, one after other, a son for the father?” [Kellens 2000: 66].

aṣəm vohū vahīštəm astī
uštā astī uštā ahmāi
hyat aṣāi vahīštāi aṣəm

“Правда – лучшее благо.
Нам желанна жизненная сила,
Лучшей Правде – правда”.

Близко подошел к установлению *uštā* как самостоятельной лексемы, равнозначной *uštāna-*, Ст. Инслер [Inslер 1975: 53, 217]. В стихе *vohū uxšyā manathā xšāθrā aṣācā uštā tanūm* (Y. 33, 10c): Ст. Инслер соединил *uštā* и *tanūm*; в сложном слове *uštātanūm* он обозначил компоненты *uštāna-* и *tanūm* при гаплоггии слога *-na-*: *uštā(na)tanūm*. ‘in breath and body’ – так перевел Ст. Инслер композит *uštā(na)tanūm*. На мой взгляд, сложное слово **uštā.tanūm* является сочетанием самостоятельных компонентов *uštā-* ‘жизненная сила’, ‘жизнь’ и *tanū-* ‘тело’ при следующем переводе стиха *vohū uxšyā manathā xšāθrā aṣācā *uštā.tanūm* (Y. 33, 10c) “Расти себе, обладая телом полным жизненной силы, с Доброй Мыслью, Властью и Правдой”.

В отличие от уникального *uzətm* (Y. 44, 7c), Заратуштра употребил *vyānauā* дважды (Y. 44, 7c; Y. 29, 6a). В первом случае лексема *vyānauā* объяснена как обстоятельство места: *vyāna-i-ā* ‘в чреве’. Во втором случае, в стихе *at *və vaocat ahurō mazdā vidvā vafūš vyānauā* (Y. 29, 6a) “И тогда сказал Ахура Мазда, знающий *vafūš vyānauā*”, при сказуемом *vidvā* ‘знающий’ и прямом дополнении *vafūš* (муж. род, мн. число, вин. пад.) ‘речения’, слово *vyānauā* (местн. пад., ед. число), я думаю, также является обстоятельством места: “находящийся в скрытом месте”. Этот громоздкий обстоятельственный оборот, по сути уточняющий дополнение *vafūš*, грамматически вполне правомочно передать определением ‘сокровенный’: *at vaocat ahurō mazdā vidvā vafūš vyānauā # nōit aēiuiā ahū vistō naēdā ratuša aṣātciṭ hacā # at zi θβā fšuyantaēcā vāstryāicā θβōr aštā tatašā* (Y. 29, 6a) “И тогда сказал Ахура Мазда, знающий сокровенные слова: “Не Одним (Мной) найден глава-судья, но вместе с Правдой. Именно тебя (Быка) создал Творец (главой-судьей) и для скотовода, и для земледельца””.

В персидском языке два собственно иранских слова имеют значение ‘душа’ - *jān* и *ravān*. В слове *jān* продолжается ср.-перс. *gyān, yān* ‘душа’, ‘дух’ от др.-иран. **vyāna-*. Данное **vyāna-* вместе с др.-инд. *vyānā* ‘дыхание’ восходит к глаголу *an-* ‘дышать’ с приставкой *vi-*. Также к *an-* с приставкой *fra-* восходят согд. *βr’n *frān* ‘дыхание’, ягноб. *firōn* ‘дыхание’, ‘запах’ при др.-инд. *prānā* ‘дыхание’ из *pra-* + *-an-*.

Г. Гумбах [Humbach 1991, II: 201], обсуждая древнеиранские производные от *vī-* ‘скрывать’, ‘покрывать’, ‘окутывать’, включил в их число также и рассмотренное выше авест. *vyāna-* (Y. 44, 7). Этому *vyāna-* он придал значение ‘heart’, ‘soul’. И далее, мотивировав эту этимологию замечанием [lit. “what is innermost”], ошибочно вывел из *vī-* ‘скрывать’, ср.-перс. *gyān* ‘душа’, ‘дух’, н.-перс. *jān* ‘душа’, ‘жизнь’. В то же время говоря об авест. *urvan-* ‘душа’ (> н.-перс. *ravān* ‘душа’), без ссылки на какой-либо этимон, Г. Гумбах [Humbach 1991, II: 29] свел авест. *urvan-* ‘душа’ к ‘дышать’. Хотя тут же отметил, что “In the human sphere *urvan-* ‘soul’ ... can describe a single psychological or mental process” [Humbach 1991, II: 29–30]. Термин ‘психология’ в современном персидском языке составлен с участием именно *ravān* ‘душа’ – перс. *ravānšenāsi* ‘психология’, подобно тому, как, например, в хинди *mānassāstra* ‘психология’ образовано от *mānas* ‘душа’, ‘ум’, восходящего к *man-* ‘думать’.

Действительно, у пророка Заратуштры *urvan-* ‘душа’ говорит, жалуется. Как, впрочем, примерно два с половиной тысячелетия спустя *ravān* ‘душа’ говорит и винит обидчика в персидской притче у Са’ди (1203 / 8–1292), прославившегося на весь читающий мир иранца, автора знаменитого Голестана. Как бы минуя учение о душе античных философов, отразившееся в персидских сочинениях, между персонажами - *Gāiūs urvā* ‘душа Быка’ Заратуштры и *ravān-i Gūspand* ‘душа Овцы’ Са’ди, существует прямая преемственность, необрывающаяся традиция.

Ниже следуют оба пассажа – притча Заратуштры:

xšmaibiīā gəuš uruuā gəṛəždə, kahmāi mā v̄βarōždūm kē mā taṣat # ā mā aēšəmə hazascā rəmə āhišāyā dərəścā təuuišcā # nōit mōi vāstā xšmat aniiō a v̄ā mōi səstā vohū vāstryā (Y. 29, 1) “Жалуется Вам душа Быка: ‘Для кого вы создали меня? Кто меня сотворил? Обступили меня гнев и гнет, жестокость, ярость и насилие. Нет у меня пастыря кроме Вас. Явитесь же ко мне с хорошим пастбищем”.

Пригча Са’ди (Гулистан, II: 32):

*šanīdam gōspand-ī-rā buzurg-ī
šabāngah kārd bar halq-aš bimālīd
zi čangāl-ī gurg-am darrubūdī*

*rahānīd az dahān-u dast-i gurg-ī
ravān-ī gōspand az vay binālīd
ču dīdam əqībat xud gurg būdī*

“Слышал я: Овцу вельможа спас от пасти и лап волка. Вечером он нож приставил ей к горлу. Пожаловалась на это душа Овцы: “Ты выхватил меня из когтей волка. Но как я поняла, волком был ты сам””.

Авест. *urvan-* ‘душа’, др.-иран. **rvan-* восходит к основе **rv-* с суффиксом *-an-* по типу авестийских *uxšan-* ‘бык’, *sran-* ‘собака’, *usan-* ‘желание’, *tvan-* ‘могущий’, *tašan-* ‘плотник’, *srauan-* ‘красивый’, ‘красота’, *masan-* ‘большой’, ‘величина’. Анлауты **vr-* и **rv-* являются диалектальными вариантами. Наряду с др.-инд. *vratā-* ‘закон’, ‘обряд’, ‘обет’, греч. φρήτωρ, ρήτωρ ‘рассказчик’, ‘оратор’, φράτρα, ρήτρα ‘изречение’, ‘слово’, ρήμα ‘слово’, ‘речь’ (с их **vr-* в анлауте), при лат. *verbum* ‘слово’, гот. *ward* ‘слово’, англ. *word* ‘слово’, нем. *Wort* ‘слово’, авестийские *urvata-* и *urvāta-* ‘заповедь’, ‘правило’, ‘закон’, имеющие характерное **rv-*, продолжают индо-иран. **var-*: **vr-*, **vrā-* ‘говорить’. Авест. *urvan-* (*urvā*, *urvānam*) могло иметь в качестве исходного значение “способный говорить”; “обладающий даром речи”. Понятие *urvan-* обозначило интеллектуальную сущность высшего порядка. И приобрело значение “душа” в контекстах, подобных следующему: *nōit nā manā nōit sēnghā nōit xratauiō naēdā varanā nōit uxδā naēdā šīiaoθānā nōit daēnā nōit uruuqno hacainē* (Y. 45, 2) “У нас не согласуются ни мысли, ни суждения, ни умы, ни обеты, ни слова, ни дела, ни религиозные воззрения, ни души”. Заратуштра (Y. 29) говорил о “Быке” как о чтимом объекте. Его последователи наделили святостью понятие “Душа Быка” – *Gəuš Urvān*, пехл. *gwš'wlwn*, *gōšurvan*. Но также и в Ясне 28 (1) речь идет о “душе Быка”, поскольку позицию прямого дополнения при сказуемом *xšnav-* ‘удовлетворять’, ‘ублажить’ занимают слова, выражающие понятия одного уровня: ‘разум’ и ‘душа’:

*ahyā yāsā nətaḡhā
mainyēuš mazdā paourvīm
vaḡhēuš xratūm manaḡhō*

*ustānazastō rafəδrahyā
spəntahyā ašā vīspəḡḡ šyao θanā
yā xšnavišā gəušcā urvānəm*

“С благоговением, воздевая руки, (и мысля) о ней, о помощи Святого Духа вместе с Правдой во всех делах, в начале я прошу: “О Мазда, ублажил бы Ты ею (помощью) разум Доброй Мысли и душу Быка””.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Bailey 1970 – H.W. Bailey. Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1970.
Bartholomae 1961 – Chr. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904 (repr. Berlin, 1961).
Humbach 1991, I – H. Humbach. The Gāthās of Zarathushtra. Pt I. Commentary. Heidelberg, 1991.
Humbach 1991, II – H. Humbach. The Gāthās of Zarathushtra. Pt II. Commentary. Heidelberg, 1991.
Humbach, Ichaporīa 1994 – H. Humbach, P. Ichaporīa. The heritage of Zarathushtra. Heidelberg, 1994.
Insler 1975 – S. Insler. The Gāthās of Zarathustra. Téhéran; Liège, 1975.
Kellens 2000 – J.J. Kellens. Essays on Zarathustra and zoroastrianism / Translated and edited by P.O. Skjærvø. 2000.
Pokorny 1959 – J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

СОКРАЩЕНИЯ

Y. – Yasna.
Yt. – Yašt.
RV – Rigveda.

© 2006 г. Е.В. ПЕРЕХВАЛЬСКАЯ

ЧАСТИ РЕЧИ В РУССКИХ ПИДЖИНАХ

В настоящей статье рассматривается проблема выделения частей речи в пиджинах на русской лексической основе, конкретно, в сибирском пиджине. Проводится обзор проблематики выделения частей речи в отечественном и зарубежном языкознании. Показывается, что редуцированный пиджин и расширенный пиджин являются идиомами разного порядка, вследствие чего должны рассматриваться отдельно. Рассмотрение частей речи в сибирском пиджине (в его редуцированных и расширенных вариантах) показывает, что части речи не конструирует исследователь, а языковая реальность, на что указывает их стремление к унификации формы, к “морфологизации”. При этом в первую очередь происходит формальное выделение глагола, и только вслед за ним – морфологизация существительного и других частей речи. Служебные части речи появляются позже, чем знаменательные.

Проблема выделения частей речи (словарно заданных лексико-грамматических классов слов) в пиджинах до сих пор не была предметом специального исследования. По-видимому, данные идиомы в этом отношении рассматривались как продолжения своих языков-лексификаторов. Между тем, набор и критерии выделения частей речи в пиджинах, в особенности в их базилектных формах, не могут совпадать с таковыми в их языках-лексификаторах. Это языки разного грамматического строя, в случае русских пиджинов – языки различных морфологических типов, – а потому критерии выделения и набор частей речи в этих языках не могут совпадать. Описания же конкретных пиджинов, хотя и оперируют терминами “глагол”, “предлог” и т. п., как правило, не содержат специальных указаний на то, как именно эти части речи выделялись.

Еще раз о критериях. Не раз повторялось, что в принципе существует три критерия для выделения частей речи (подробнее см. [Алпатов 1990а]).

Это семантический критерий, в соответствии с которым слова делятся по своим “общекатегориальным” значениям. Существительные выделяются, как имеющие значение “предметности”; глаголы как слова, обозначающие “действия, процессы или состояния”; прилагательные как классы слов, выражающие значение “качества или признака” и т. д.

В соответствии с морфологическим критерием части речи классифицируются по своим морфологическим характеристикам, т.е. по тому, какие грамматические категории имеет данная часть речи и как эти категории выражаются в словоформах; принимаются во внимание словообразовательные и словоизменительные модели. Некоторые исследователи предлагают понимать морфологический критерий расширенно, т.е. принимать во внимание “сочетаемость с грамматическими элементами, в том числе со служебными словами” [Алпатов 1990а: 40–42]. Такой подход значительно расширяет возможности применения морфологического критерия, распространяя его на языки с развитым аналитизмом.

По синтаксическому критерию части речи подразделяются в соответствии с теми синтаксическими функциями, которые они играют в предложении, т.е. по способности слов конкретной части речи занимать те или иные синтаксические позиции.

Очевидно, в некотором идеальном случае все три критерия должны совпасть, отчего и можно говорить о “категории существительности” [Кобозева 2000: 77–78]; ситуация в реальных языках лишь стремится к этому идеалу.

Каждый из упомянутых критериев, взятый сам по себе в отрыве от остальных, не удовлетворителен для подавляющего числа языков. О неадекватности семантического критерия писалось уже много (например [Щерба 1974; Стеблин-Каменский 1974: 19–34; Глисон 1959]). Однако применение одного морфологического критерия ведет к тому, что неизменяемые слова, вроде приводимого в пример Л.В. Щербой *какаду*, рискуют не попасть в состав существительных, куда, напротив, попадут личные местоимения и количественные числительные. Примером такого ультраморфологического подхода могут служить работы по эвенкийскому языку В.Б. Болдырева, относящего “имя действия” к существительным (подробнее см. ниже)¹.

Абсолютизация синтаксического критерия также ставит множество проблем, например, вопрос о том, какие именно синтаксические функции следует считать основными для данного класса слов. Сторонники такого “ультрасинтаксического” подхода приходят к выводу об отсутствии частей речи в системе изучаемого языка [Томчина 1978]².

Очевидно, что независимое использование морфологического и синтаксического критериев – в отрыве друг от друга – приводит к различным (и часто очень спорным) результатам. Можно принять это как данность и констатировать вслед за В.Ф. Выдриным, что “синтаксические части речи и морфологические части речи являются классами разной природы и могут не совпадать” [Выдрин 2004: 146]. Из такого крайнего утверждения следует, что научное грамматическое описание языка может (должно?) содержать две номенклатуры частей речи – морфологическую и синтаксическую. На практике так обычно не делается³, и на это есть основания. Невозможно привести ни один конкретный пример такой “двойственной” системы. В качестве иллюстрации своего утверждения В.Ф. Выдрин пишет: “одной морфологической части речи могут соответствовать две или более синтаксические части речи (например, неизменяемые лексемы, различающиеся по синтаксическим функциям), и наоборот” [Там же]. Трудно представить себе две лексемы с абсолютно одинаковыми парадигмами, скажем, падежа/числа или времени/вида (морфологически одна часть речи), которые играли бы в предложении настолько разные синтаксические функции, что их можно было бы отнести к разным частям речи (две синтаксические части речи). Русские лексемы *если*, *бац!*, *еще*, *надо*, *какаду*, *поп-* (*поп-модель*) **на практике** не будут отнесены к одной и той же морфологической части речи, хотя с морфологической точки зрения они сходны – являются неизменяемыми.

Утверждение существования в конкретном языке двух наборов частей речи можно увязать в “иерархизированную систему частей речи”, подобную той, какую В.Ф. Выдрин строит для языка бамана [Там же], он же настаивает на строгом разведении этих двух критериев. Для русского языка такое разведение пришлось бы проводить по отдельным лексемам, поскольку одни лексемы будут отнесены к существительным на основании морфологического критерия (*бег*, *белизна*), другие – на основании синтаксического критерия (*какаду*)⁴, а большая часть лексем – на основании сочетания обоих критериев (*медведь*, *стол*, *мама*).

¹ Имя действия в эвенкийском языке регулярно и предсказуемо образуется от основы глагола и служит для выражения предикации в зависимом предложении, и при этом не может играть роли субъекта, прямого объекта и т.п., характерные для существительного.

² В данном случае речь шла о языке манинка.

³ В упоминавшемся сборнике “Части речи” В.М. Алпатовым была предпринята попытка построения двух параллельных классификаций для японского языка (синтаксические и морфологические части речи). При этом автор, однако, подчеркивает, что обе классификации не совпадают ни с привычной для нас классификацией частей речи, ни с традиционной японской [Алпатов 1990б].

⁴ Разумеется, если понимать “морфологию” в расширенном смысле, т.е. как сочетаемость данного слова определенными служебными словами и определенными формами полнзначных слов, то критерий отнесения *какаду* к существительным также можно считать морфологическим. Таким образом, проблема заключается в том, что считать “морфологией”.

Представляется справедливым утверждение М. Хаспельмата о едином “морфосинтаксическом критерии”, который и оказывается определяющим как при выделении частей речи в каждом конкретном языке, так и при отнесении лексем в ту или иную часть речи [Haspelmath 2001: 540]. При этом в применении к изолирующим языкам “морфология” может пониматься в расширенном смысле. По-видимому, неверно говорить о существующих отдельно морфологических и синтаксических критериях, поскольку они, как правило, не применяются независимо друг от друга. “Удельный вес” морфологических и синтаксических составляющих может варьировать, но все же (за исключением, по всей видимости, древнекитайского языка) принимаются во внимание соображения обоюродного рода, между которыми трудно провести четкую границу: на каком основании мы считаем русск. *медведь* или удэгейское *songo* ‘медведь’ существительными, потому ли, что они изменяются по падежам или потому что играют в предложении преимущественно роль субъекта и прямого объекта. Следует вспомнить часто цитируемое выражение И.И. Мещанинова: “Части речи – это морфологизованные члены предложения” [Мещанинов 1945: 210].

Определение vs. критерии выделения. Полемика о частях речи осложняется тем, что существует очевидное противоречие между имплицитно используемыми исследователем критериями выделения частей речи и эксплицитным определением, которое этот исследователь дает при описании частей речи конкретного языка.

Исследователь конкретного языка выделяет части речи, **по существу**, так, как предлагал это делать Л.В. Щерба: “в вопросе о частях речи исследователю вовсе не приходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языковой системой” [Щерба 1974]. При этом используется все тот же морфосинтаксический критерий. Однако при необходимости дать определение той или иной части речи вперед выдвигается семантический критерий, а морфологические и синтаксические соображения занимают подчиненную позицию либо не упоминаются вовсе.

Вот пример из взятой наугад грамматики. Т.И. Петрова в книге “Язык ороков (ульта)” пишет: “В орокском языке имя существительное выделяется из всех прочих частей речи прежде всего своей семантикой: все слова, относящиеся к имени существительному, обозначают предметные понятия” [Петрова 1967: 23]. Далее выясняется, что существуют также “названия пространственных понятий, величин и размеров”, которые “употребляются всегда в притяжательной форме, так как всегда мыслятся в связи с тем предметом, с которым они соотносительны” [Там же: 24]; и далее: “выделяется группа имен существительных, основа которых или вполне тождественна глагольной основе ...*уи* ‘звук’, *уи* ‘шуметь’... или же имеет наращение в виде *н* [Там же] ... Существительные без наращения являются названиями предметов, в какой-то мере связанных с действием, выраженным соответствующей глагольной основой”. Таким образом, Т.А. Петрова включает в состав существительных орокского языка слова, обозначающие качества (величины, размеры), а также названия действий или их результатов. Делается это потому, что в морфологическом отношении данные слова ведут себя как прототипиские существительные, обозначающие предметы. Это один из типичных примеров расхождения между критериями выделения частей речи, на которых основывался исследователь, и определения, которое он им дает. Работа Т.И. Петровой выбрана наугад, но такая ситуация оказывается типичной в случае, когда исследователь специально не задумывается о критериях выделения частей речи, а лишь следует известной традиционной схеме описания⁵.

⁵ Следует сказать, что такого рода определения традиционны в большей степени для русского языкознания. Западные грамматические описания, как правило, вообще не дают никакого определения частям речи. Ср. *Tibetan grammar* [Jäschke 1972: 20–24]; глава, посвященная существительному, начинается словами “Множественное число образуется путем прибавления слова... (The plural is denoted by adding the word...)” далее идет описание падежной системы; никакого определения не дается.

Подобным же образом части речи определяются в большинстве учебников и учебных пособий по русскому языку, ср.: «Грамматическая категория частей речи находит свое выражение в противопоставлении грамматических классов слов, которые различаются своим общим категориальным грамматическим значением, специфическими для каждого разряда частными морфологическими категориями, особенностями синтаксического функционирования, словообразовательными свойствами. Например, слова *школа* и *книга* относятся к одной части речи, так как обнаруживают: 1) одинаковое категориальное значение – “предметность”; 2) одинаковую систему частных морфологических категорий – одушевленность-неодушевленность, род, число, падеж; 3) одинаковое синтаксическое “поведение” в словосочетании и предложении; эти слова могут подчинять себе согласуемые формы имени прилагательного или глагола и управляемые формы другого имени существительного...” [Совр. русск. лит. яз. 1988: 178–179]⁶.

Достаточно редко встречаются случаи декларируемой абсолютизации семантического критерия. В защищенной недавно докторской диссертации Б.В. Болдырева “Части речи и грамматические категории эвенкийского языка в сравнительном освещении” проблема критериев выделения частей речи является одной из центральных. В работе постулируется выделение знаменательных частей речи в эвенкийском языке (их выделяется четыре: существительное, глагол, прилагательное и наречие); причем “господствующим и определяющим критерием при этом является общеграмматическое или категориальное значение слова. ...Все остальные признаки: морфологический, синтаксический и лексический – обусловлены, на наш взгляд, признаком классифицирующим, т.е. категориальным или общеграмматическим значением” [Болдырев 2004: 10]. Исходя из этого, “определяющим критерием для выделения такой части речи, как имя существительное, является его общеграмматическое значение – предметность” [Там же: 16]. Кажется бы, автор разделяет точку зрения М. Бергельсон, считающей, что выделение основных частей речи, прежде всего существительного и глагола, основано на “универсальности противопоставления двух типов концептов, отражающих основную дихотомию человеческого восприятия действительности; концептов, соответствующих физическим объектам, – Термов – и концептов, соответствующих ситуации, в которых эти объекты участвуют, – Предикатов” [Бергельсон 1990: 197]. Однако дальнейшее изложение показывает, что в класс существительных Б.В. Болдырев включает также отглагольные имена действия: “слова этого разряда имен существительных обозначают второстепенное, добавочное действие, процесс, выраженные субстантивно и тем или иным образом связанные с главным действием, обозначенным глаголом” [Там же: 46]. К существительным они отнесены, так как “обозначают субстантивное действие и им сопутствует частнограмматическая категория принадлежности”. Однако, “как и прочие имена существительные, в составе предложения связанные имена, как правило, выступают исключительно в роли обстоятельства, отличаясь тем самым от собственно существительных, способно быть в предложении еще и подлежащим или дополнением” [Там же: 47]. Очевидно, что классификация по частям речи слов эвенкийского языка была проделана последовательно с применением морфологического критерия, так что синтаксический критерий (а, по существу, и семантический) игнорировались. При этом сам автор, напротив, постулирует последовательное применение семантического критерия. Такие примеры можно умножить.

Очевидным образом, исследователи конкретных языков пользуются на практике морфосинтаксическим критерием, но в качестве ведущего при определении частей речи выдвигают семантический, который реально ими не используется⁷. Как показал Г. Глисон, адекватно определить часть речи в рамках традиционного подхода невозможно:

⁶ В действительности, учитываются все три критерия, однако их иерархия задается таким образом, что определяющим остается семантический критерий.

⁷ Примером использования семантического критерия может служить выделение числительных в отдельную часть речи, как это делается в традиционных грамматиках.

«Традиционные определения частей речи в основном непригодны... В конечном счете мы всегда прибегаем к иным критериям. Отнесение *tallness* к определенной части речи основывается не на том, “называет” ли оно качество или “указывает” на него, но наведении этого слова в языке» [Глисон 1959: 141].

Примером строгого определения части речи может служить следующее: “Nouns are characterized by the grammatical categories of number, case, and possession. Syntactically they function as arguments, adjuncts, modifiers or predicates in copular constructions. The absolute majority of nouns in Udihe have the prototypical nominal meaning: they denote physical objects, either countable entities or uncountable mass notions. Very few nouns denote abstract notions, such as states, activities, results or qualities”. (“Существительные характеризуются наличием у них грамматических категорий числа, падежа и принадлежности. Они могут служить в предложении аргументами, адъюнктами, модификаторами, а также предикатами связочных конструкций. Подавляющее большинство существительных удгейского языка имеют прототипическое именное значение: они обозначают физические объекты, как счисляемые единичные, так и не счисляемые вещественные. Очень немногие существительные обозначают абстрактные понятия, такие как состояние, действие, результат или качество”) [Nikolaeva, Tolskaya 2001]. Здесь существительное фактически определяется через его функцию, по морфосинтаксическому критерию. При этом перечислены все три критерия, морфологические соображения вынесены вперед, поскольку “удельный вес” морфологической составляющей указанного критерия оказывается, по мнению авторов, ведущим.

Язык и языки. Со времени, когда в русском языкознании проходила дискуссия о критериях выделения частей речи (см. об этом [Князев 2001]), прошло почти сто лет. За это время о частях речи было написано много, это одна из “вечных тем” русского языкознания. В 1990 году вышел сборник статей под редакцией В.М. Алпатова, полностью посвященный проблематике выделения частей речи как в языке вообще, так и в конкретных языках разных типов [Части речи 1990], в том же году вышла статья А.К. Поливановой, посвященная частям речи в русском языке⁸ [Поливанова 1990], появляются все новые работы, посвященные проблеме частей речи [Болдырев 2004; Князев 2001; Выдурин 2004; Тестелец 2005].

Одно из объяснений такой нерешенности проблемы лежит в чисто лингвистической плоскости: в различии двух предметов лингвистики, изучающей как языки, так и Язык. Это очень точно сформулировал М. Хаспельмат: «Прежде чем задаваться вопросом, как определить существительные, глаголы, прилагательные, нужно прояснить, имеется ли в виду определение этих классов слов в каком-то определенном языке или нам требуется определение этих классов слова в языке вообще. Широко известные и раскритикованные определения существительного как обозначающего “людей, предметы и места”, а глаголов как обозначающих “действия и процессы”, прилагательных как обозначающих “качества”, являются, разумеется, очень упрощенными с точки зрения конкретного языка... Однако, если целью является определение существительных, глаголов и прилагательных не с точки зрения конкретного языка, эти определения оказываются не так уж плохи» [Haspelmath 2001: 540].

Таким образом, проблема несоответствия между критериями выделения частей речи и их определением в рамках одной и той же работы объясняется во многих случаях тем, что при определении частей речи исследователь стремится выйти на “общеязыковой, универсальный” уровень теоретизации.

⁸ Последовательно применяя морфосинтаксический критерий, А.К. Поливанова выделяет в русском языке следующие части речи: 1) субстантивы (существительные, количественные числительные, местоимения-существительные); 2) адъективы (прилагательные, порядковые числительные, местоимения-прилагательные, причастия, наречия на -о); 3) глаголы (личные формы глагола, деепричастие, инфинитив); 4) компаративы – неизменяемые синтетические формы сравнительной степени (напр. *выше*); 5) первообразные служебные слова; 6) “внелексемные словоформы” (наречия типа *вприпрыжку, исподтишка, нешком*) [Поливанова 1990: 41–69].

По остроумному выражению А. Вежбицкой, “прототип спасает”, если “использовать его как специальный инструмент анализа, а не как универсальную гносеологическую отмычку” [Вежбицкая 1996: 201–202]. Представляется, что у знаменательных частей речи действительно имеется “общекатегориальное” значение, которое относится если не к большинству, то к весьма значительной части слов, данную часть речи составляющих, и являющихся ее ядром. Только для этой группы слов все три означенные выше критерия совмещаются, а не противопоставляются. В прототипическом случае слова, обозначающие “предмет, лицо или место” будут принадлежать той части речи, которая играет в предложении преимущественно роль субъекта или прямого объекта, может также определяться прилагательным, сочетаться с предлогом/послелогом и, очень возможно, она же будет иметь категорию числа и, например, иметь род или входить в определенный классификационный класс.

Это делает возможным, вообще говоря, выделять сходные части речи в разноструктурных языках. Если бы каждый конкретный язык не был ипостасью Языка и в нем бы выделялись ему одному свойственные части речи, это было бы сделать невозможно. Как показала М. Бергельсон, деление на основные части речи, прежде всего на существительное и глагол, отражает базовые когнитивные процессы человека [Бергельсон 1990], а потому эти части речи, по-видимому, являются универсальными.

Когда мы имеем дело с Языком как родом человеческой деятельности, приходится говорить о Частях Речи, свойственных Языку, выделяя их на основе семантического критерия, ибо “морфологические черты и синтаксические конструкции очень различны в разных языках, поэтому их невозможно применять при построении межъязыковых определений” (“morphological patterns and syntactic constructions vary widely across languages, so they cannot be used for cross-linguistically applicable definitions”) [Haspelmath 2001: 540]. Это касается основных частей речи, прежде всего существительного и глагола. В конкретном же языке части речи выделяются на основе морфосинтаксического критерия, однако при этом они соотносятся с “глубинными” Частями Речи Языка.

Покажем это на примере русских пиджинов, которые в силу своеобразия своего происхождения могут быть в какой-то мере уподоблены “возникающему” языку.

Пиджины

Пиджины возникают в условиях так называемых “экстремальных” языковых контактов, когда у двух или нескольких групп людей, которым необходимо договориться о чем-то конкретном, нет никакого общего языка. Говорящие на разных языках люди прибегают к внеязыковым формам коммуникации (жесты, мимика), при этом они используют и отдельные слова своих родных языков. Если ситуация общения повторяется и в ней участвуют одни и те же люди, вырабатывается звуковой язык, т. е. появляются слова, понятные всем участникам контакта, а также набор правил для связи этих слов. Такой идиом называется “пиджином”.

Лексика, как правило, заимствуется из одного языка – обычно это язык самой престижной группы. Однако, поскольку грамматика соответствующего языка неизвестна другим участникам коммуникации, эти слова переходят в пиджин, утратив те морфосинтаксические свойства, которыми они обладали в “родном языке”. Язык, послуживший источником лексики для пиджина, называют языком-лексификатором. В пиджине “лексические обломки” сцепляются способом, который, по-видимому, является универсальным – а именно, при помощи прагматического кода. Он характеризуется следующими чертами: а) движение порядка слов от темы к реме; б) свободная сочинительная связь (отсутствие подчинительных конструкций); в) соотношение именных основ при глаголе минимально, приблизительно 1:1; г) отсутствие флективной морфологии; д) особая интонация – низкий фокус на теме, затем переход к мелодическому повышению на реме; е) минимальность анафорики и, соответственно, зачаточное состояние местоимений. Такое состояние языка, как пишет Т.М. Николаева, является “исходной

позицией эволюционного цикла”, он близок детской речи, “на нем изъясняются плохо знающие язык иностранцы” [Николаева 1984; Givón 1979; Перехвальская 1986]. В дальнейшем пиджин может усложняться, что зависит от влилингвистических условий – чем большее количество разнообразных ситуаций он обслуживает, тем сложнее становится.

В контактологии принято подразделять пиджины на несколько разных подтипов в зависимости от того, насколько развит их словарный запас и сложны грамматические правила. Самый “простой”, “примитивный” пиджин, состоящий из нескольких сотен слов, соединенных прагматическим кодом, в контактологии называют “жаргон”; чуть более продвинутый идиом – “редуцированным пиджином”. Напротив, пиджин, обслуживающий разные коммуникативные ситуации и, следовательно, значительно расширивший свой лексикон, усложнивший грамматическую структуру для того, чтобы передавать достаточно тонкие оттенки значений как лексических, так и грамматических, принято называть “расширенным пиджином”, а сам процесс его формирования – “расширением пиджина”.

Пиджин, которым продолжают пользоваться, среди прочих, носители языка-лексификатора, может начать дрейфовать в сторону этого языка, постепенно приобретая все большее количество его черт (в фонетике, морфологии, синтаксисе), пока не превратится в своеобразный диалект этого языка. Может осуществиться и иной сценарий развития пиджина, он может стабилизироваться, и его “мягкая” грамматика превратится в “жесткую”, подобную грамматике обычных языков. Такой пиджин называется “стабильным”, и от обычного языка он отличается только тем, что по-прежнему нет людей, для которых он был бы родным (первым) языком. (О происхождении и развитии пиджинов см., например [Romaine 1988; Holm 2000; Thomason 2001].)

Известно несколько пиджинов, языком-лексификатором для которых послужил русский. По-видимому, в прошлом их было значительно больше, однако подавляющая их часть исчезала бесследно, как только в подобном идиоме отпадала необходимость – заканчивалась контактная ситуация или появлялся иной язык-посредник (например, один из “естественных языков”).

Более или менее репрезентативный лингвистический материал имеется по трем русскоязычным пиджинам:

1) руссенорск – язык меновой торговли между русскими и норвежскими рыбаками в районе Баренцева моря, существовавший с конца XVIII в. по начало 1930-х годов;

2) сибирский пиджин (русско-китайский пиджин, кяхтинский язык, маймачинское наречие), первоначальная форма которого сформировалась в пограничном городе Кяхта, центре торговли между русскими и китайскими купцами;

3) таймырский пиджин (говорка), бытующий на Таймыре у нганасанского населения; его записи относятся к 1980–1990-м годам, но очевидно, что он сформировался значительно ранее [Хелимский 2000; Stern 2002].

Не буду специально останавливаться на проблеме происхождения русских пиджинов, замечу лишь, что все они, по-видимому, частично восходят к старому русскому пиджину, который сформировался в ходе завоевания Россией огромных территорий Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют некоторые общие черты, встречающиеся во всех упомянутых пиджинах (подробнее об этом см. [Козинский 1974]).

В связи с проблемой выделения частей речи в различных русских пиджинах существенным оказывается не происхождение пиджинов, а степень их редуцированности/расширенности. В этом отношении руссенорск следует охарактеризовать как редуцированный пиджин, говорку – как начавший расширяться пиджин, попавший в ситуацию постпиджинного континуума. Сибирский пиджин представлен разными записями, которые отражают разные этапы его развития: редуцированный пиджин [Александров 1884; Шухардт 1884; Врубель 1931], стабильный пиджин [Черепанов 1853; Шпринцын (арх.) 1968]; относительно расширенный, находящийся в состоянии постпиджинного континуума (полевые записи, сделанные с 1984 по 2004 годы).

Можно сказать, что редуцированный пиджин и стабильный пиджин – это идиомы разного порядка. Редуцированный пиджин характеризуется отсутствием эксплицитно выражаемых грамматических категорий и одновременно “мягкой” грамматикой, то есть такой, где правила носят статистический характер и где, соответственно, любое правило может нарушаться. Стабильный пиджин – это язык с грамматикой в обычном понимании. Поскольку на некоторой стадии развития сибирский пиджин определенно начал расширяться и стабилизироваться, разные стадии развития этого пиджина будут рассматриваться отдельно.

Части речи в редуцированном пиджине

В редуцированных формах русских пиджинов, с их крайне бедной морфологией и отсутствием словоизменительных парадигм, казалось, следовало бы опираться исключительно на синтаксический критерий, однако этот критерий оказывается недостаточным. В отличие от “естественного” языка, пиджин являлся вспомогательным языком, не имеющим “жесткой” грамматики. Это касается и правил порядка слов в предложении. В такой ситуации интерпретация конкретного высказывания в большой степени определяется контекстом.

Скажем, выражение в сибирском пиджине *кабан таскай* (КЯ) может быть проинтерпретировано как ‘кабаны таскают (обычно или часто что-то крадут)’, ‘тащи кабана’, ‘он кабана тащит/таскал/будет таскать/таскал бы’ и т. д. Это объясняется тем, что глагол *таскай* в пиджине имеет широкое лексическое значение ‘носить, возить, приносить, привозить, воровать, красть’, при этом глагол, не имея словоизменения, не выражает никаких грамматических значений – лица, числа, времени, модальности и т. д. Поэтому интерпретация такого предложения зависит от контекста, который в данном случае указывает на следующую интерпретацию: ‘нам приходилось подтаскивать кабаньи туши (к лодке)’.

Тем не менее *кабан* всегда рассматривается как существительное, а *таскай* – как глагол. При интерпретации фразы *кабан таскай* можно сомневаться в том, какой актант выражен словом *кабан* – это может быть подлежащее, прямое дополнение, косвенное дополнение или иной актант (например, инструменталис), или даже сирконстант. Однако это в любом случае будет какая-то функция, свойственная существительному. Точно так же *таскай* – глагол, и он воспринимается как сказуемое, какое бы не приписывалось ему число, время, лицо, наклонение.

Таким образом, понимание частеречной принадлежности слов позволяет интерпретировать предложение, поскольку все вышеперечисленные смыслы все же сводятся к некоторому инварианту: *кабан* – “Терм”, *таскай* – “Предикат”. Понимание того, к какой части речи относятся лексемы, составляющие предложение, **происходит ранее** его интерпретации. Следовательно, без этого знания интерпретация предложения невозможна.

Можно предположить, что основой оказывается семантическая интерпретация слова *кабан* как “Терма”, а слова *таскай* – как “Глагола”. Тогда в пиджине определяющим при выделении частей речи окажется семантический критерий, т. е. поверхностные части речи совпадут с глубинными, смысловыми. В этом случае пиджин окажется едва ли не единственным языком, где части речи действительно выделяются на основе семантического критерия. Такая интерпретация звучит достаточно правдоподобно: в пиджине, как в рождающемся языке, могут ярче проявляться свойства Языка вообще.

Если это так, то интерпретация искусственного предложения вроде щербовской “Глокой куздры” на пиджине оказалась бы невозможной, поскольку понимание такого рода предложений базируется на интерпретации грамматических значений, прежде всего морфологических показателей, а семантический критерий исключается. В переводе на сибирский пиджин это предложение, по-видимому, звучало бы примерно следующим

образом: “Гэлокы куздэра бокэра мала-мала булдай. Бокэра сына⁹ типерь булдай его”. Оно, вне всякого сомнения, было бы понятно. Частеречная принадлежность всех слов очевидна, равно как и их роль в предложении. Следовательно, морфосинтаксический критерий может быть применен и к редуцированному пиджину, а части речи здесь могут быть выделены по формальным критериям. Остается выяснить, что это за критерии.

Для решения этого вопроса был составлен словарь сибирского пиджина, который представляет собой попытку сведения воедино разновременных лексических материалов. Целью его было: 1) выделение основного лексического ядра пиджина и 2) выявление формальной вариативности лексем. Словник составлялся, исходя из установки на максимально полное отражение лексики пиджина, поэтому учтены также формы, принадлежащие мезолектным формам. Путем сплошной выборки были расписаны основные письменные лингвистические¹⁰ источники по сибирскому пиджину.

При всей размытости синтаксиса сибирского пиджина, предложение имеет тенденцию к порядку слов SOV; следующими по частотности при этом будут порядки SVO и OVS, если субъект выражен местоимением¹¹. Следовательно, синтаксический критерий также оказывается задействованным, однако взятый изолированно он оказывается недостаточным. Ср.:

(1) *мене жалко их детей, не даюта мене ихинь* (КЯ) ‘очень я горевала по детям, мне их не отдали’.

В примере (1) нарушен порядок второго предложения, тем не менее *даюта* интерпретируется как сказуемое, потому что известно, что это глагол.

Русские пиджины – причем не только сибирский, но также руссенорск, а возможно, и говорка – очевидным образом стремятся к **формальному** выделению частей речи, прежде всего **глагола**. В пиджинах в полной мере проявляется тенденция частей речи морфологизоваться, причем в сибирском пиджине и руссенорске этот процесс происходил независимо. При этом в первую очередь выделяется глагол, что соответствует современным представлениям о ведущей роли предиката. “Предикат является главным определяющим элементом в структуре пропозиции постольку, поскольку ситуация определяется не объектами, которые ней участвуют, а теми отношениями, в которых они находятся” [Кобозева 2000: 220].

Глагол. В руссенорске начался процесс формального выделения глагола – большинство глаголов получили исход на *-om*: *drikkom* ‘пить’, *slipom* ‘спать’, *smotrom* ‘смотреть’, *korom* ‘покупать’ и т. п. Этот элемент нельзя считать полноценной морфемой, так как он не несет никакой иной грамматической информации, помимо того, что является показателем глагола (verb marker по Й. Лааксо [Laakso 2001: 316]). Его единственная функция – указание на глагол как на часть речи. По поводу происхождения этого показателя имеются различные точки зрения; по-видимому, это продукт двойной этимологии (см. обзор этой проблематики в [Laakso 2001]).

В то же время в руссенорске встречаются глаголы, по форме сходные с глаголами сибирского пиджина – *grebi* ‘грести, перевозить по воде’, возможно, это остатки более ранних форм, восходящих к русской составляющей русско-норвежского пиджина.

В сибирском пиджине также произошло формальное выделение глаголов, которые в большинстве своем имеют исход на *-j* или *-i*. Многие из них по форме совпадают с импе-

⁹ Это вовсе не означает, что *бокренок* является непременно детенышем *бокра*. Слово *сын-ка* в пиджине имеет очень широкое значение, ср.: *дуба сына* ‘желудь’ (Ар.).

¹⁰ В словарь не включались цитации из художественной литературы, где имитируется речь персонажей, говорящих на пиджине.

¹¹ Такое же правило Е.А. Хелимский отмечает и для “говорки” [Хелимский 2000].

ративом глагола русского языка: *боле́й, выгони, захорони, гоняй, незнай, ругай, сади* и т.п. Из зафиксированных в составленном мною Словаре сибирского пиджина 166 глаголов и глагольных форм такой формой обладают 128 глаголов. При этом подавляющее количество исключений составляют мезолектные глагольные формы (имеющие показатели лица/числа или инфинитива): *знаеши, говорю, мать* и т.д. (всего 34 формы). Только четыре глагола, зафиксированные в абсолютной форме (т.е. не выражающей никаких грамматических категорий), имеют иной вид: *умеиша, кушаху, поживу, ляг*. Первые три засвидетельствованы в текстах Черепанова (кяхтинский вариант, середина XIX века); а последний – в 1984 г. у информантки с родным удэгейским языком, говорящей на пиджине, язык которой следует охарактеризовать как базилект с некоторыми чертами мезолекта. Модальный глагол *хочу* ‘хотеть’ имеет варианты *хочи* и *хычи*, причем последние два оказываются в некоторых вариантах более частотными. Кроме того, модальные показатели в пиджине я считаю особой частью речи.

Целый ряд глаголов не может быть возведен ни к одной из форм русского языка: *плакай* ‘плакать’, *кричай* ‘кричать’, *охотай* ‘охотиться’ и т.д. Первые два образованы, по-видимому, от основ инфинитива, к которым добавился *-j* как формальный показатель глагола. Глагол *охотай* образован от существительного *охота* с добавлением глагольного показателя *-j*. Таким образом, очевидно, что и “новые” глаголы были образованы по той же модели – с сохранением формального глагольного показателя.

То же самое касается и глаголов, восходящих к словам иных языков: *капанчи* ‘воровать’, *каньтрами* ‘рубить, отрубать’, *юли* ‘грести, перевозить на лодке’ (первое слово неизвестного происхождения, два других восходят к китайскому языку).

Формальному выделению глагола в сибирском пиджине, закреплению за *-il-j* функции глагольного показателя могло бы помешать наличие русских прилагательных и местоимений-прилагательных, имеющих в русском языке форму им. пад. муж. рода ед. числа на *-j*. В пиджине большинство слов, соответствующих прилагательным русского языка, имеют исход на редуцированный гласный и, по-видимому, могут быть возведены одновременно к формам прилагательных и формам соответствующих наречий: *хорбишэ, ровнэ, красивэ, правильнэ, грязнэ, одинакэ, чистэ* и т.п. (всего в Словаре зафиксировано 18 таких слов). Эти слова являются определениями как при существительных, так и при глаголах, и образуют класс атрибутов (см. ниже). Исход на *-j* сохранили лишь несколько собственно прилагательных, с ударением на последний слог: *слепой, молодой, друбой, чужбой*.

При этом зафиксирован один случай перехода русского прилагательного в глагол пиджина, что произошло, по-видимому, по причине того, что форма русского прилагательного ед. числа им. пад. муж. рода с окончанием *-ий* была воспринята как глагольная: *фальшивий-ла* ‘обманывал’ (Вр), которая в данном примере выступает с перфективным показателем *-ла*.

С точки зрения семантики **все** глаголы сибирского пиджина имеют прототипические значения: действия (*говори, колой, капанчи, кричай*) или состояния (*боли, посиди, спи*), в том числе ментального (*думай, знай*). Никаких других значений: например, значения признака, вроде русского *синеть* или отыменного действия, как у английского *to mob* ‘сбиваться толпой’, в сибирском пиджине не засвидетельствовано.

Таким образом, в сибирском пиджине при выделении глагола как части речи могут быть применены оба критерия (семантический и морфосинтаксический), при применении любого из них независимо друг от друга будут выделены идентичные классы слов.

Существительное. Формальное выделение существительного в редуцированных вариантах сибирского пиджина связано с появлением “квзисуффиксов”. Существительное в пиджине, как и глагол, имеет “абсолютную” форму, которая сама по себе не выражает никаких грамматических значений, в том числе категорий числа, падежа, одушевленности. Существительное – это неизменяемое слово, которое может выступать в предложении в роли субъекта, прямого и косвенного объектов, а также может быть именной частью сказуемого.

Для существительных сибирского пиджина характерно достаточно устойчивое ударение, которое обычно падает на предпоследний слог и лишь в редких случаях – на последний слог слова (*дрова́*) или на третий от конца (*до́жика* ‘дождь’).

У многих существительных отчетливо выделяется формант *-za*, который, очевидно, контактирует с китайским именным показателем *-tze*:

<i>ukalainza</i>	‘украинец’
<i>fanza</i>	‘дом’
<i>kitajza</i>	‘китаец’ ¹²
<i>moneza</i>	‘деньги’
<i>lipahozza</i>	‘леспромхоз’
<i>kupeza</i>	‘купец’
<i>jajtza</i>	‘яйцо’
<i>shisoza</i>	‘шестьсот’.

Из 193 существительных, зарегистрированных в Словаре сибирского пиджина, такой квазисуффикс имеют 34 слова.

Другим квазисуффиксом может считаться элемент *-ka*, который дважды встречается также и в дублетных формах, *сына – сынка* ‘сын’, *мама – мамэка* ‘мать’.

<i>jaseka</i>	‘ящик’
<i>ibenka</i>	‘японец’
<i>setuka</i>	‘штука’
<i>sholeka</i>	‘шелк’
<i>chacheka</i>	‘чашка’
<i>soledatka</i>	‘солдат’
<i>muzika</i>	‘мужчина, муж’
<i>mishoka</i>	‘мешок’.

Всего таких слов зарегистрировано 37.

Лексемы, восходящие к словам русского языка, сложные с точки зрения русского словообразования, в пиджине оказываются неразложимыми:

<i>dozika</i>	‘дождь’
<i>pampusika</i>	‘пампушка (китайский хлеб)’
<i>riumasheka</i>	‘рюмка’.

Три четверти всех существительных сибирского пиджина имеют исход на *-a* (145 из 193).

Двадцать одно существительное имеет исход на *-i*. Это, главным образом, слова, восходящие к формам множественного числа русского языка:

<i>mantu</i>	‘манты’
<i>pantu</i>	‘панты (не затвердевшие рога оленей)’
<i>piliuli</i>	‘лекарство’
<i>liudi</i>	‘человек’.

Девять слов имеют исход на *-n*: *гаолян, имен, ямынь, кабан, ирлан, чифан* – это, главным, образом слова, заимствованные из китайского языка.

Лишь несколько существительных имеют исход на другие гласные: *-o* (4 слова) или *-u* (1 слово):

<i>Roseju</i>	‘Россия’
<i>akno</i>	‘окно’.

Таким образом, большинство существительных сибирского пиджина также имеют достаточно выразительную форму, хотя тенденция к формальному выделению существительного выражена менее последовательно.

Обычным разрядом имен, по-видимому, следует считать личное местоимение, которое также имеет неизменяемую форму и может употребляться во всех функциях, свойственных существительному, включая функцию определения при другом существи-

¹² Ср. слово *китаёза* – презрительное название китайцев в дальневосточном сленге начала XX века.

тельным. Местоимения выделяются своей семантикой (как не имеющие постоянного денотата), а также тем, что с большей легкостью допускают дублетное варьирование (*мине/моя/во; тибел/твоя/ни* и т.д.).

Семантически существительные сибирского пиджина так же как и глаголы выражают прототипические значения, обозначая предметы (*бутылка, фанза, колодиса* 'колодец'), людей и животных (*купеза, капитана, люди*), места и организации (*колхоза, больница*). Некоторые существительные, однако, выражают достаточно абстрактные понятия: *война, воля, время, дело, работа, цена* – 6 слов.

Атрибут¹³. Атрибут в сибирском пиджине достаточно ясно выделяется по синтаксическому критерию, как класс слов, способный служить определением как существительного, так и глагола. Всего в Словаре зарегистрировано 20 слов, принадлежащих этому классу, 18 из них восходят к словам русского языка, одно слово (*хокан* 'красивый, красиво') заимствовано из китайского языка, и одно слово (*шангб* 'хороший, хорошо') является словом неизвестного происхождения.

Атрибуты, восходящие к словам русского языка, имеют в исходе редуцированный гласный, что позволяет этимологически возводить их одновременно к формам прилагательных и наречий на *-о* русского языка: *пэравинэ* 'правильный, правильно, как следует' (< правильный, правильно); *рównэ* 'ровный, ровно'; *гэлызынэ* 'грязный, грязно' и т.д.

Наречия. Наречия в сибирском пиджине можно определить как слова, способные служить определением сказуемого, атрибута или другого наречия, но не существительного. Они играют в предложении роль сирконстантов (*дома* 'дома, домой', *низа* 'вниз, внизу', *деся* 'здесь, сюда'). Наречия могут иметь разную форму, в том числе быть редуцированными (*мало-мало* 'немного, чуть-чуть', *ели-ели* 'еле-еле').

Частицы. Все служебные части речи редуцированных форм русских пиджинов отнесены к разряду частиц. Русские пиджины разделяют с редуцированными пиджинами вообще (образовавшимися на базе других языков-лексификаторов) стремление к минимизации служебных частей речи. Так, в руссенорске есть один полифункциональный предлог (*ро*) и один полифункциональный союз (*как*) (см. [Broch, Jahr 1984; 1990; Lunden 1978]). В редуцированной форме сибирского пиджина нет ни предлогов, ни союзов. Имеются показатели отрицания *нету* и *ни*. Оба являются приглагольными маркерами отрицания, однако *ни* стоит непосредственно перед глаголом, а *нету* находится в постпозиции (ср. синонимичные варианты поговорки "моя твоя понимай *нету*" и "моя твоя не понимай"). Не зарегистрировано ни одного случая их совместного употребления. Как мне кажется, эти показатели находятся в ситуации свободного варьирования, хотя *нету* отмечается в "более базилектных" вариантах. К тому же позиционно он входит в одну парадигму с модальными глагольными показателями (см ниже). К этому же классу, по-видимому, можно отнести и вопросительные слова: *када* 'когда' и *какб/какой* 'какой, что, кто, как'. Малое количество служебных частей речи подчеркивает отсутствие морфологии в редуцированных вариантах пиджинов – здесь нет морфологии даже в ее "расширенном" понимании.

Части речи в расширенном пиджине

Расширенные варианты сибирского пиджина характеризуются не только увеличившимся лексиконом, но усложнившейся грамматикой. Появляются грамматические показатели, причем это происходит прежде всего в системе глагола. У глагола появляются аналитические формы. Если на стадии редуцированного пиджина именно глагол первым

¹³ Термин "атрибут" заимствован из тюркологии, где так именуется неизменяемая часть речи, способная определять как существительные, так и глаголы, т.е. по функции соответствует русским прилагательным и наречиям.

проявляет тенденцию к формальному выделению, то по мере расширения пиджина глагол первым получает показатели, выражающие собственно грамматические значения.

Глагол. В редуцированных формах сибирского пиджина глагол выступал в “абсолютной” форме, не имеющей никаких грамматических категорий. В расширенных вариантах он также представляет собой неизменяемое слово, способное выступать в предложении в роли предиката, которое может быть определено атрибутом или наречием, может сочетаться с показателем отрицания; формально глагол чаще всего имеет исход на *-i* или *-j*. Глагол способен сочетаться со следующими постпозитивными показателями:

Таблица 1

Видо-временные показатели

Грамматическое значение	Показатель	Примеры	
презентс, хабитуалис	<i>0</i>	<i>говори</i>	<i>ломай</i>
футурум	<i>буду</i>	<i>говори буду</i>	<i>ломай буду</i>
прошедшее	<i>-ла</i>	<i>говори-ла</i>	<i>ломай-ла</i>
перфект	<i>еса (еси), ю¹⁴</i>	<i>говори еса</i>	<i>ломай еса</i>
плюсквамперфект	<i>была</i>	<i>говори была</i>	<i>ломай была</i>

- (2) *курица яйцы купи ла, бутыка апускай ла... иво курица яйцы эта ламай* (Шп) ‘<он> купил куриные яйца и засунул в бутылку... он разбил таким образом яйца’;
- (3) *за его помешай поторговай буду* (Чр) ‘они будут мешать торговать’;
- (4) *мая ходи была* (Ал) ‘я уже приходил’;
- (5) *мая мала-мала читай еси* (Вр) ‘я немного почитал’;
- (6) *его ломай ла ю* (ЯБ) ‘он заболел’.

В последнем примере имеется сочетание приглагольных показателей. К сожалению, отрывочные данные по сибирскому пиджину не дают возможности установить точное значение таких сочетаний. Ср. еще примеры:

- (7) *Караула сэпи ла ю ла, мая фангули акэно* (Шп) ‘когда стража уснула, я разбил окно’.

В (7) в форме *спи-ла ю-ла* показатель перфектива (прошедшего) повторяется дважды – с полнозначным глаголом *сэпи* и со связкой.

¹⁴ Некоторые “единицы” пиджина существуют в виде дублетов, когда одному значению (лексическому, грамматическому) соответствуют две формы выражения, восходящие к разным языкам. Подобная ситуация описана у А.Ю. Русакова для севернорусского диалекта цыганского языка [Русаков 2004].

Модальные показатели¹⁵

Утвердительная форма	Отрицательная форма	Примеры	
<i>нада</i>	<i>нинада</i>	<i>говори нада</i>	<i>ломай нинада</i>
<i>можно</i>	<i>ниможно</i>	<i>говори можно</i>	<i>ломай ниможно</i>
<i>могу</i>	<i>нимогу</i>	<i>говори могу</i>	<i>ломай нимогу</i>
<i>хочи</i>	<i>нихочи</i>	<i>говори хочи</i>	<i>ломай нихочи</i>

Таблица 3

Показатель отрицания	Примеры	
<i>нету</i>	<i>говори нету</i>	<i>ломай нету</i>

(8) *эта либа помирай нету* (Шп) 'эта рыба была живая';

(9) *какой люди хочу канка?* (Яб) 'с кем ты хочешь увидеться?';

(10) *адин люди делай куши не могу* (Вр) 'один человек не может прокормить [семью]';

В отдельных случаях отрицательный показатель *нету*, а также модальные показатели могут сочетаться с показателями времени: *нету-ла*, *нада-буду*, *хочи-ла* и т.д.:

(9') *моя тайга ходи нада ла* (Ар) 'мне пришлось идти в тайгу';

(10') *после отдавай надо буду* (Чр) 'потом придется отдавать';

В более поздних вариантах (не ранее XX века) в перфективе у глагола появляется число: формы ед. числа получают окончание *-ла*, а формы множественного числа окончание *-ли*, при этом показатель перфектива из аналитического превращается в собственно окончание.

В мезолектных¹⁶ вариантах появляются формы других времен, лиц и чисел, однако их употребление оказывается спорадическим и непоследовательным, что свидетельствует о том, что перед нами случаи переключения кодов, а о появлении собственно грамматических категорий говорить еще нельзя. При этом, однако, нет ни одного случая употребления форм возвратной формы или пассивного залога. Эти формы оказались наиболее "трудными" для воспроизводства носителями пиджина. В пиджине имеются глаголы, восходящие к возвратным (с частицей *-ся*), однако в самом сибирском пиджине они не несут значения возвратности:

(11) *боися я* (КЯ) 'мне было страшно';

(12) *мамака середиза* (Шп) 'мать рассердилась'.

¹⁵ К модальным я отношу и показатель отрицания *нету*.

¹⁶ В контактологии языковые варианты, встречающиеся в посткреольском или постпиджинном континууме, стали делить на базилектные (т.е. принадлежащие собственно пиджину или креольскому языку) и акролектные (приближенные к языку-источнику), между которыми располагаются мезолектные (промежуточные) формы.

Во всех вариантах сибирского пиджина имеются дублеты, образованные от разных форм того же глагола русского языка: *посиди – сиди, сади – посади-ли, гуляй – погу-ли, выгони – гони, посади – сади, думай – подумай*. Многие из этих форм имеют одно значение:

(13) *за ваша женушки место посиди нету* (Чр) ‘вы не бываете с женами’.

Имеющиеся материалы не дают оснований полагать, что перед нами глагольные формы с префиксами, несущими какое-то грамматическое значение. Скорее, такие формы следует рассматривать как своего рода этимологические дублеты с синонимичным значением.

Существительное. Существительное в расширенных формах сибирского пиджина не выражает никаких грамматических категорий, может выступать в предложении в роли субъекта, актантов при глаголе, а также может быть именной частью сказуемого.

(14) *эта люди патом дзимли кападзи* (К) ‘этот человек потом копал землю’;

(15) *сам город пашил иво* (КЯ) ‘сам он уехал в город’;

(16) *бульдозера ровно делай* (К) ‘бульдозером равняли’.

Существительное может сочетаться с квантификаторами (числительными, показателями [в]се, [м]ного), могут быть определены другим существительным (существительным-местоимением), а также атрибутом:

(17) *за тиби одина дена походи нету, за моя соли повеси буду* (Чр) ‘[если] ты не придешь [хотя бы] один день, я повешусь от горя’;

(18) *адин сонца шесть рубли залабодай* (Вр) ‘я заработал шесть рублей за один день’.

(19) *тваја три сонца купи јест* (Шх) ‘ты уже покупал [это] три дня назад’.

(20) *животны ного деда, и соболь и чиво, и мяса серем охотай зимой* ‘[мой] муж все время охотился зимой, [добывал] животных, соболя и других, [добывал] мясо’ (КЯ).

(21) *кушай маленька рюмка* (К) ‘пей маленькими дозами’ (о применении лекарства).

В Кяхтинском варианте существительное сочетается с показателем субъекта за:

(22) *за ваша мужа жестоки манера поживу еса* (Чр) ‘ваши мужья ведут себя грубо’.

В дальневосточном и кяхтинском вариантах, как и в говорке, существительное может иметь при себе послелог (таким образом выражаются некоторые приглагольные актанты):

(23) *сиди трава рядом* (КЯ) ‘<он> сидел в траве’.

В мезолектных вариантах существительное может иметь при себе предлог:

(24) *а мы по сопка ходим, нашли, дали Саюза, за мука, за крупа* (Тз) ‘а мы ходим по сопкам, что найдем, сдаем в Интегралсоюз в обмен на муку и крупу’.

Такое спорадическое появление предлогов при существительных, уточняющих их статус внутри предложения, может являться дополнительным критерием отнесения данного слова к разряду имен, в том числе и в базилектных вариантах.

Подклассом существительных являются существительные-местоимения, которые выполняют в предложении все функции, присущие существительному. Ниже дана таблица 4 местоимений в разных вариантах сибирского пиджина:

Таблица 4

Вариант	1-е лицо ед. числа	2-е лицо ед. числа	3-е лицо ед. числа	1-е лицо мн. числа	2-е лицо мн. числа	3-е лицо мн. числа
(Чр)	<i>мая</i>	<i>тиби/твая</i>	<i>ево</i>	<i>наша</i>	<i>ваша</i>	<i>ево</i>
(Шх)	<i>тоја</i>					
(Вр)	<i>мая/во</i>	<i>тиби/ни</i> ¹⁷		<i>во мынь</i>	<i>ни мынь</i>	
(Яб)	<i>таја</i>	<i>тваја/tibi</i>				
(Шп)	<i>мая</i>	<i>тибе</i>	<i>иво</i>			
(КЯ)	<i>я/мине</i>	<i>ты/тибе</i>	<i>йиво</i>	<i>наса</i>	<i>васа</i>	<i>ихинь</i>
(К)	<i>мая/я/а</i>	<i>тибе/ты</i>	<i>иво</i>	<i>наса</i>	<i>васа</i>	<i>иво</i>
(Тз)	<i>я</i>	<i>ты</i>	<i>ана</i>	<i>мы</i>		

Примечание. Косая черта отделяет более употребительный вариант от менее употребительного.

Атрибут. В расширенных вариантах сибирского пиджина также не имеет смысла различать прилагательное и качественное наречие, поскольку они совпадают по форме и различаются чисто синтаксически. Выделяется неизменяемый класс слов, служащих в предложении определением к другим полнозначным словам – существительному, глаголу или другому атрибуту:

(25) *большэ не умеи его* (КЯ) ‘Хорошо она не умеет <шить>’.

Отметим, что вследствие сравнительной узости сфер употребления пиджина, количество атрибутов в словаре этого языка невелико – их зарегистрировано всего 20. При этом многие из них выступают в составе связанных выражений:

пэрямо слово (Чр) ‘истинное слово’;

осбэ манера, осбэ дело (Чр) ‘другие обычаи’, ‘другое дело’.

Степени сравнения у атрибутов отсутствуют, а соответствующие значения передаются лексически, ср.:

(26) *Лан тоже нимношка малады* (Тз) ‘Лан немного моложе <меня>’.

Служебные слова. Важной проблемой является выделение служебных слов в расширенном варианте сибирского пиджина. По справедливому замечанию В.М. Алпатова, “основным свойством, различающим знаменательные и служебные слова, является самостоятельность первых, их способность образовывать высказывание и несамостоятельность вторых... Однако знаменательность и служебность той или иной единицы языка – по-видимому, свойство не абсолютное, а относительное, имеющее те или иные степени” [Алпатов 1990б: 27].

¹⁷ *Wo* и *ni* – китайские формы местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа.

Примером таких служебных слов, находившихся в процессе грамматикализации, могут служить квантификаторы (*м*)ного (из русск. *много*) и (*и*)се/(*и*)сё (русск. *все/всё*). Е.А. Хелимский отмечает сходное явление для говорки: «Русские формы множественного числа встречаются иногда в постпиджинском континууме, но не в “чистой” говорке, в которой значение множественности передается сочетаниями с препозитивной частицей *много* (*много, мого, ного*) или постпозитивной *се* (< СРЯ *все*). Последний тип очень характерен для говорки (*дяринга се* ‘все парни; парни’, *казку се* ‘все сказки; сказки’) и, возможно, должен считаться аналитическим множественным числом» [Хелимский 2000: 385]. То же самое оказывается верным и для расширенных вариантов сибирского пиджина, хотя “грамматикализация” вовсе не предполагает обязательного употребления данных маркеров; этот процесс зашел не настолько далеко, чтобы употребление этих показателей стало обязательным.

(27) *какой гаду-ла а низнэй, исе укалаинза сюда пришила <...> Укалаинза вотка нивыпи. Эта симейны исе иво, только дзяня палучила – магазина, какой мадияла еси – исе купи* (К). ‘в каком году не помню, сюда приехали украинцы. Украинцы водку не пьют. Они семейные, только деньги получили – в магазин, какой материал (ткань) есть – весь раскупят’.

При первом появлении (*исе укалаинза*) *исе* является грамматическим показателем и выражает значение множественности; последнее *исе* (*исе купи*) – это полнозначное слово со значением ‘всё’; выражение *симейны исе иво* может трактоваться двойко.

То же самое может быть сказано и о других разрядах служебных слов: приглагольных видо-временных и модальных показателях, послелогах.

Как в якутинском, так и в других расширенных вариантах сибирского пиджина появляются послелоги. Ср.:

(28) *я компания ходи* (КЯ) ‘он ходил со мной’;

(29) *Ивана дома спасибо* (Чр) ‘благодаря дому Ивана’.

Послелог *место* известен также в говорке: “Этот послелог стал, как кажется, наиболее приметным признаком пиджина, его приметой” [Хелимский 2000: 389].

В класс послелогов попали слова, по происхождению существительные – см. (28), а также некоторые прилагательные и наречия:

(30) *трава адинакэ* (КЯ) ‘как трава [зеленый]’;

(31) *река попереза* (Чр) ‘через реку’.

В отличие от говорки в сибирском пиджине этот класс находился в стадии становления, и конструкции с послелогами нельзя назвать частотными.

Характерной чертой многих служебных слов сибирского пиджина является то, что они оказываются словами с двойной этимологией. Наличие таких слов – явление, типичное для всех контактных идиомов. Суть этого явления состоит в следующем: грамматический показатель (иногда полнозначное слово) восходит к двум разным словам в контактирующих языках – причем к таким, которые, по случайному совпадению, имеют сходное значение и сходную внешнюю фонетическую оболочку. Так, глагольный показатель *-ла* может быть возведен одновременно к русскому окончанию прошедшего времени и к китайскому показателю перфектива *-la* [Перехвальская 1987].

Части речи расширенных вариантов сибирского пиджина

Служебные ЧР	Основные ЧР	Другие знаменательные ЧР
послелого (предлоги) ¹⁸ союзы частицы показатель отрицания видо-временные показатели модальные слова	существительные: имена, местоимения глаголы:	атрибуты наречия междометия

Таким образом, в расширенных вариантах пиджина при выделении частей речи используется морфосинтаксический критерий, понимая его морфологическую “составляющую” в широком смысле.

* * *

Рассмотрение частей речи в русских пиджинах, как в их редуцированных, так и в расширенных вариантах, показывает, что части речи, по справедливому замечанию Л.В. Щербы, не конструирует исследователь, который выделяет их на основе произвольно взятого критерия. Они существуют в языке реально, на что указывает их стремление к унификации формы, к “морфологизации”. При этом в первую очередь происходит формальное выделение глагола и только вслед за ним – морфологизация существительного и других частей речи. Служебные же части речи появляются позже, чем знаменательные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александров 1884 – А. Александров. Маймачинское наречие // Русский филологический вестник. Т. XII. № 3. Варшава, 1884.
- Алпатов 1990а – В.М. Алпатов. Принципы типологического описания частей речи // Части речи. М., 1990.
- Алпатов 1990б – В.М. Алпатов. Из истории изучения частей речи // Части речи. М., 1990.
- Арсеньев 1972 – В.К. Арсеньев. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала. М., 1972.
- Бергельсон 1990 – М.Б. Бергельсон. Проблема частей речи в языках изолирующего типа // Части речи. М., 1990.
- Болдырев 2004 – Б.В. Болдырев. Части речи и грамматические категории эвенкийского языка в сравнительном освещении. Новосибирск, 2004.
- Вежбицкая 1996 – А. Вежбицкая. Прототипы и инварианты // Язык. Культура. Познание. М., 1996.
- Врубель 1931 – С.А. Врубель. Русско-китайские языковые скрещения // Культура и письменность востока. № 7–8. М., 1931.
- Выдрин 2004 – В.Ф. Выдрин. И опять – части речи в бамана // Типологические обоснования в грамматике. К 70-летию профессора В.С. Храковского. М., 2004.
- Глисон 1959 – Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.

¹⁸ Предлоги характерны лишь для мезолектных вариантов, их появление, наряду с появлением падежных форм существительных и личных форм глагола, является критерием отнесения конкретной разновидности пиджина к мезолекту. Предлог *за* в записях Черепанова в действительности является показателем субъекта, хотя разными авторами ему приписывались иные значения (см. [Сапунова 2000]).

- Князев 2001 – *Ю.П. Князев*. О статье Л.В. Щербы “О частях речи в русском языке” // сайт архив петербургской русистики. Лев Владимирович Щерба (1880–1944): дополнительные материалы.
- Кобозева 2000 – *И.М. Кобозева*. Лингвистическая семантика. М., 2000.
- Козинский 1974 – *И.Ш. Козинский*. К вопросу о происхождении кяхтинского (русско-китайского) языка // Генетические и ареальные связи языков Азии и Африки. Тезисы докладов конференции. М., 1974.
- Мещанинов 1945 – *И.И. Мещанинов*. Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945.
- Николаева 1984 – *Т.М. Николаева*. Коммуникативно-дискурсивный подход к интерпретации языковой эволюции // ВЯ. 1984. № 3.
- Перехвальская 1986 – *Е.В. Перехвальская*. Языковые контакты и “прагматический код” // Лингвистические исследования. 1986. Социальное и системное на различных уровнях языка. М., 1986.
- Перехвальская 1987 – *Е.В. Перехвальская*. К проблеме слов с двойной этимологией // Тезисы конференции аспирантов и молодых научных сотрудников Ин-та востоковедения АН СССР. Т. II: Языкознание, литературоведение. М., 1987.
- Петрова 1967 – *Т.И. Петрова*. Язык ороков (ульта). Л., 1967.
- Поливанова 1990 – *А.К. Поливанова*. Опыт построения грамматической классификации русских лексем // Язык логики и логика языка. М., 1990.
- Русаков 2004 – *А.Ю. Русаков*. Интерференция и переклечение кодов (севернорусский диалект цыганского языка в контактологической перспективе). СПб., 2004.
- Сапунова 1998 – *К.С. Сапунова*. Способы выражения темпоральных, аспектуальных и модальных значений в пиджинах на русской основе (дипломная работа, защищенная на филологическом факультете СПбГУ). СПб., 1998.
- Совр. русск. лит. яз. 1988 – Современный русский литературный язык: учебник для филологических специальностей педагогических институтов / Под ред. П. Леканта. М., 1988.
- Стеблин-Каменский 1974 – *М.И. Стеблин-Каменский*. Спорное в языкознании. М.; Л., 1974.
- Тестелец 2005 – *Я.Г. Тестелец*. Существуют ли языки без частей речи? // IV Типологическая школа. Международная школа по лингвистической типологии и антропологии, Ереван, 21–28 сентября 2005. М., 2005.
- Томчина 1978 – *С.И. Томчина*. Введение в синтагматическую морфологию языка манинка. Л., 1978.
- Хелимский 2000 – *Е.А. Хелимский*. Говорка – таймырский пиджин на русской лексической основе // Е.А. Хелимский. Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М., 2000.
- Части речи 1990 – Части речи. Теория и типология. М., 1990.
- Черепанов 1853 – *С.Н. Черепанов*. Кяхтинское китайское наречие русского языка // ИОРЯС. Т. 2. 1853.
- Шпринцын 1969 – *А.Г. Шпринцын*. О русско-китайском диалекте на Дальнем Востоке // Страны и народы Востока. Вып. 6. М., 1969.
- Шпринцын, арх. – *А.Г. Шпринцын*. Архивные материалы. ГПБ, отдел рукописей, архив № 1200.
- Шухардт 1884 – *Г. Шухардт*. Маймачинское наречие // Русский филологический сборник. Т. XII. № 4. Варшава, 1884.
- Щерба 1974 – *Л.В. Щерба*. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Broch, Jahr 1984 – *I. Broch, E.H. Jahr*. Russenorsk: a new look at the Russo-Norwegian pidgin in Northern Norway // Scandinavian language contacts. Cambridge, 1984.
- Broch, Jahr 1990 – *I. Broch, E.H. Jahr*. Russenorsk: the Russo-Norwegian pidgin. New findings // Tromsø studies in linguistics. 11. Oslo, 1990.
- Givón 1979 – *T. Givón*. On understanding grammar. New York; London, 1979.
- Haspelmath 2001 – *M. Haspelmath*. Word classes and parts of speech // International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Amsterdam, 2001.
- Holm 2000 – *J. Holm*. An introduction to pidgins and creoles. Cambridge, 2000.
- Jabłonska 1957 – *A. Jabłonska*. Język mieszany chinsko-rosyjski w Mandzuri // Przegląd orientalistyczny. 21. 1957.
- Jäschke 1972 – *J.L. Jäschke*. Tibetan grammar. New York, 1972.
- Laakso 2001 – *J. Laakso*. Reflections on the verb suffix -om in Russenorsk and some preliminary remarks on “docking” in language contact // S. Maticsák, G. Zaicz, L. Tuomo (eds.). Debrecen; Jyväskylä, 2001.

- Lunden 1978 – *S. Lunden*. Russenorsk revisited // Meddelelser. 15. Oslo, 1978.
Nikolaeva, Tolskaya 2001 – *I. Nikolaeva, M. Tolskaya*. A grammar of Udihe. Berlin, New York, 2001.
Romaine 1988 – *S. Romaine*. Pidgin and Creole languages. London, 1988.
Stern 2002 – *D. Stern*. Russische pidgins. Die Welt der Slaven. XLVII. 2002.
Thomason 2001 – *S.G. Thomason*. Language contact. An introduction. Edinburgh, 2001.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ЦИТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Ал – материалы А. Александрова [Александров 1884]
Ар – цитаты из произведений В.К. Арсеньева [Арсеньев 1972]
Вр – материалы С.А. Врубеля [Врубель 1931]
К – записи, сделанные в 1990 году в пос. Кукан Хабаровского края
КЯ – записи, сделанные в 1984 году в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края
Тз – записи, сделанные в 1990 году в селе Михайловка Ольгинского района Приморского края
Чр – материалы С.Н. Черепанова [Черепанов 1853]
Шп – материалы А.Г. Шпринцына [Шпринцын 1968; Шпринцын, арх.]
Шх – материалы Г. Шухардта [Шухард 1884]
Яб – материалы А. Яблонской [Jabłonska 1957]

© 2006 г. Р. НИЦОЛОВА

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И АДМИРАТИВНОСТИ
С КАТЕГОРИЯМИ ВРЕМЕНИ И ЛИЦА ГЛАГОЛА В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ**

В статье рассматривается сложное взаимодействие грамматических категорий эвиденциальности и адмиративности по отношению к грамматическим категориям лица и времени в болгарском языке. Автор указывает, что сначала темпоральное значение перфекта в оппозиции к темпоральным значениям имперфекта и аориста дало возможность развиваться новой оппозиции эвиденциального характера – “прямая засвидетельствованность – косвенная засвидетельствованность”; позднее отдельные эвиденциальные варианты опосредованной засвидетельствованности этой новой грамматической категории образовали собственные темпоральные парадигмы, отличающиеся от индикативной. В болгарском языке эвиденциальные граммемы обладают определенным грамматическим значением, каждое из которых входит в сложные взаимоотношения с множеством лингвистических и экстралингвистических факторов в тексте, т. к. эвиденциальность в широком смысле слова – это категория текста, а глагольная эвиденциальность – это лишь один из способов ее выражения, хотя этот способ является центральным.

Грамматические категории (далее ГК), как известно, характеризуются единством формы и значения, т.е. определенные значения регулярно выражаются определенными грамматическими формами в рамках данного класса лексем. При этом ГК являются структурами, члены которых (минимум два), обозначая один общий признак, различаются между собой на основе выражения иных, более частных признаков. В лингвистике до сих пор преобладает самостоятельное описание ГК, но в последние десятилетия наблюдается интерес к связям между ними (см., например [Vubee 1985; ГК 2003] и др.).

Мы полагаем, что хотя и во флективных языках нередко одна и та же морфема может выражать больше чем одно грамматическое значение из репертуара разных ГК, основным полем для взаимодействия ГК является прежде всего план содержания, который соотносится и с коммуникативно-прагматическими факторами при выборе форм. Далее в статье мы рассмотрим *потенциал межкатегориального взаимодействия* (термин Бондарко [Бондарко 1996: 53]) ГК эвиденциальности и адмиративности по отношению к ГК лица и времени глаголов в болгарском языке. Это взаимодействие вызывает интерес, поскольку его анализ позволяет определить: а) как определенные семантические признаки одной ГК могут являться основанием для возникновения новой ГК; б) каким образом семантические признаки одной ГК “выбирают” признаки грамем другой ГК, с которыми может сочетаться первая ГК.

Наши наблюдения базируются на данных болгарского языка, который с точки зрения выражения эвиденциальности и адмиративности является одним из языков с наиболее развитой грамматикализацией [Плунгян 2003: 324]. Типологически болгарский язык принадлежит к большому Балкано-западноазиатскому ареалу, в который входят языки разных семей: албанский, турецкий, азербайджанский, персидский, таджикский, западноармянский, грузинский, непальский и др. [Guentchéva 1996a: 12; 1996b]. Для этих языков характерно то, что в них опосредованная эвиденциальность выражается аналитическими глагольными формами, образованными на основе перфекта.

Эвиденциальность представляет собой выражаемое языковыми средствами когнитивное состояние говорящего, связанное с получением информации из определенного

источника, а также ее когнитивную классификацию, которая может быть различной для одного и того же сообщения в разное время.

Источники информации могут быть разных типов: например, говорящий сенсорно воспринимает ситуацию Р, он приходит к умозаключению о существовании Р на основе определенных данных, он узнает о Р с чужих слов и т.д. Как правильно заметил Лазар, говорящий как бы раздваивается в двух лицах – одно лицо, которое приобрело информацию, а другое, которое ее выражает [Lazard 2001: 362].

Эвиденциальная система болгарского языка состоит из 4 граммем: *индикатив*, *конклюдив*, *ренарратив* и *дубитатив*. В табл. 1. представлена система болгарских эвиденциальных форм в комбинации с модальными формами – гипернаклонениями и наклонениями.

Таблица 1

Наклонения актуальной речи	Наклонения воспроизведенной речи
Гипернаклонение реалис I	Гипернаклонение реалис II
Индикатив (9 времен)	Ренарратив (5 времен) Дубитатив (4 времени)
Конклюдив (5 времен)	х
Ирреальные наклонения I	Ирреальные наклонения II
Условное наклонение	
а) Аналитическое условное наклонение	х
б) Синтетическое условное наклонение (2 времени)	Ренарративное синтетическое условное наклонение
Императив	(?) Ренарративный императив

Примечание. Знак **х** обозначает, что формы данного вида речи используются и в другом виде речи (о формах времен см. табл. 2).

Что касается соотношения эвиденциальности и модальности, то в языкознании существуют три теоретические точки зрения:

а) модальность и эвиденциальность находятся в отношении дизъюнкции (т.е. эти понятия существенно отличаются друг от друга) – в этом случае речь идет об эвиденциальности в узком смысле слова;

б) модальность и эвиденциальность находятся в отношении инклюзии, т.е. в понятие эвиденциальности включается достоверность знания говорящего (тогда речь идет об эвиденциальности в широком смысле слова) или (чаще) принимается другое решение: эвиденциальность включается в состав эпистемической модальности (см., например [Козинцева 1994: 98]);

в) понятия модальности и эвиденциальности частично пересекаются друг другом (overlapping); обычно имеется в виду инференциальная эвиденциальность – конклюдив (см. [Dendal, Tasmowski 2001: 341–342, De Haan 1999]).

В болгарском языке модальность и эвиденциальность, с нашей точки зрения, являются разными грамматическими категориями [это мнение в последнее время высказывается многими исследователями (см. в частности [De Haan 1999; Aikhenvald 2003]); В.А. Плуноян [Plungian 2001: 354] также считает, что эвиденциальные системы на Балканах модализованы]. Это частичное пересечение значений двух ГК наблюдается во всех эвиденциальных разновидностях, ср., например, дубитатив – выражение сомнения в истинности передаваемой чужой речи, конклюдив – обозначение слабого, незасвидетельствованного знания, базирующегося на общем опыте данного общества или на соб-

ственном умозаключении на основе известных фактов, в отличие от индикатива, которым выражается знание, базирующееся на личном восприятии говорящего или на общем опыте, и т.д.

Модальность в сочетании с эвиденциальностью разным образом грамматикализируется в зависимости от двух видов речи, т.е. актуальной речи, которая “производится” говорящим, и воспроизведенной речи, которая создана в другом акте речи обычно другим автором и передается говорящим вторично в акте речи. Когда в актуальной речи говорящий обозначает реальное действие, т.е. действие в возможном мире, которое совпадает с действительностью, налицо две эвиденциальные разновидности: индикатив и конклюдив, а когда автор речи обозначает в воспроизведенной речи реальное действие, налицо также две эвиденциальные разновидности: ренарратив и дубитатив. Следует отметить, что в воспроизведенной речи в зависимости от наличия лексических маркеров эвиденциальности и разного рода синтаксических конструкций имеют место и формы индикатива и конклюдива. У конклюдива нет эвиденциального варианта в воспроизведенной речи (иное мнение по данному вопросу высказывается в работах [Куцаров 1999; Молошная 1995]).

Аналитическое условное наклонение типа болг. *бих писал* ‘я писал бы’ используется и в актуальной, и в воспроизведенной речи, но у редкого, почти исчезнувшего теперь синтетического условного наклонения – типа *ядва* (3 л. ед. ч. наст. вр.), *ядваше* (прошедшее время с имперфектными окончаниями) ‘он бы ел, он был готов есть’ – существует ренарративное соответствие в воспроизведенной речи *ядвал* ‘X говорит, что он бы ел’, которое в современном болгарском узусе почти не встречается. Надо отметить, что в тюркских языках в воспроизводимой речи “пересказываются” и формы ирреальных наклонений (без повелительного и условного) [Герджиков 1984: 94].

В болгаристике ведется дискуссия, существуют ли в воспроизведенной речи специальные ренарративные формы императива [*Чети повече!* – *Да съм четял повече!*, т.е. *Читай больше!* – (X сказал, чтобы я больше читал!), так как формы типа *да съм четял* более точно соответствуют аналитическим модальным *да*-формам настоящего времени индикатива с повелительным значением в актуальной речи: *Да четеш повече!* – *Да съм четял повече!* *Читай больше!* (более интимно и строго, чем императив) – (X сказал, чтобы я больше читал!). Во всяком случае формы типа *да съм четял* сообщают о волеизъявлении третьего лица, а не говорящего, и предложение с этими формами является декларативным, а не повелительным.

Эвиденциальность в болгарском языке – это грамматическая категория, которую можно представить следующими основными измерениями, не упорядоченными иерархически, хотя и взаимодействующими (см. [Squartini 2001: 301]):

1) собственная информация (индикатив, конклюдив): информация со слов другого лица (ренарратив, дубитатив);

2) информация, основанная на личном опыте: информация, основанная на общем опыте, т.е. то, что изучается в школе, распространяется в средствах массовой информации, известно в семье, в городе, в государстве и т.д.;

3) информация, непосредственно полученная говорящим (индикатив): опосредованная (медиативная) информация (конклюдив, ренарратив, дубитатив);

4) по способу получения информация различаются: сенсорное и эндоформное восприятия психических и физиологических процессов говорящего, умозаключение, чужая речь [Козинцева 1994; Plungian 2001: 353].

Если первая и третья дихотомии независимо от состава форм и эвиденциальных вариантов являются общими для эвиденциальности вообще, то грамматикализация способа получения информации является разной в различных языках. В болгарском языке одинаковым образом грамматикализируется через формы индикатива сенсорная и эндоформная засвидетельствованность говорящего по отношению к его собственным психическим и физиологическим процессам, например: *аз виждам* ‘я вижу’, *аз се радвам* ‘я радуюсь’, *аз мисля* ‘я думаю’, *аз се страхувам* ‘я боюсь’, *студено ми е* ‘мне холодно’,

тресе ме ‘меня знобит’. В албанском языке в этом случае употребляется адмиратив, который выражает ‘необходимую интенсификацию’ [Duchet, Pëmaska 1996: 36].

В отличие от турецкого языка, в котором при рассказе о своем сновидении используют опосредованные *mlş*-формы, чтобы определить в начале пространственно-темпоральную рамку, и лишь потом начинают использовать *di*-формы, параллельные болгарскому аористу индикатива [Mejdan 1996: 130–131], в болгарском языке при рассказе о сновидениях употребляются только формы индикатива – настоящего исторического времени или аориста с дополняющими временами в используемой системе нарративных времен.

Индикатив выражает не только информацию, основанную на личном опыте говорящего, но и информацию, основанную на общем опыте, т.е. то, что известно в семье, в кругу друзей, коллег, в данном городе или деревне, в данном государстве или известно людям вообще, ту информацию, которая изучается в школе, которая передается в средствах массовой информации, в книгах и т.д. Например:

(1) *Молекулата на водата съдържа два атома водород и един атом кислород* ‘Молекула воды содержит – PRS IND: 3SG два атома водорода и один атом кислорода’.

Формами конклюдзива выражается:

а) собственная информация говорящего, базирующаяся на умозаключении, которое строится на основе определенных данных [см. (5)] или

б) информация говорящего, основанная на общем опыте. Разница в сравнении с индикативом в последнем случае состоит в том, что информация, переданная индикативом, выражает “сильное” знание, а информация, переданная конклюдзивом, – “слабое”, опосредованное знание, которое не связано с личными восприятиями говорящего. При этом способ получения информации не характеризуется, как и при употреблении форм в индикативе, например:

(2) *В детството си майка ми е свирела* – IMPF C: 3SG: F на цигулка.

‘В детстве моя мать играла на скрипке’.

Ренарративом и дубитативом грамматикализируется чужая речь как источник информации. Разница между ними состоит в том, что при ренарративе говорящий сообщает, что он передает модальную оценку автора речи об истинности передаваемой информации, а не свою собственную, но как бы соглашается с этой оценкой. При использовании форм дубитатива говорящий выражает сомнение в истинности передаваемой информации, т.е. не принимает модальной оценки автора речи.

Модель описания значения предложений с эвиденциальными граммемами

В языкознании все еще не существует общепринятой модели описания значений эвиденциальных граммем. Имея в виду то, что значение эвиденциальности глагольной формы отражает в повествовательном предложении когнитивные состояния говорящего, связанные с получением передаваемой информации, или предполагаемые говорящим когнитивные состояния адресата того же типа, если предложение является вопросом, можно представить значение эвиденциальных граммем как пресуппозицию к данному предложению с точки зрения говорящего и как импликацию с точки зрения слушателя. Эти пресуппозиции остаются теми же самыми как при положительной и отрицательной форме глагола, так и при вопросе; в последнем случае меняется лишь субъект когнитивного состояния – это не говорящий, а адресат (ср. [Fitneva 2001: 413–414]). Мы представляем себе семантику болгарских эвиденциальных граммем в повествовательных предложениях следующим образом, реализуя принципы семантического метаязыка толкований, сформулированные Ю. Д. Апресяном [Апресян 1995: 466–482]:

В предложениях с индикативом пресуппозиция *я знаю неопосредованно, что p* допускает более конкретный вариант – указание способа личной информированности: *я знаю в качестве свидетеля, что p*, например:

(3) *Иван замина* – AOR IND:3SG.

‘Иван уехал’ (например, я его увидел, когда он сел в машину),

в отличие от информированности, основанной на общем опыте, когда способ получения информации не конкретизируется; пресуппозиция выражает: *я знаю из общего опыта, что p*, например:

(4) *Втората световна война завърши* – AOR IND:3SG през 1945 г.

‘Вторая мировая война окончилась в 1945 г.’.

Ассерция: *я утверждаю, что p*.

В повествовательных предложениях с конклюдивом представлена общая пресуппозиция: *я знаю опосредованно, не в качестве свидетеля, что p*, которая имеет более конкретный вариант: *я считаю на основе умозаключения, что p*, если налицо умозаключения говорящего на основе известных данных, например:

(5) *Иван е заминал* – AOR C:3SG:M. (*Куфарът му не е в коридора*)

‘Иван уехал (В коридоре нет его чемодана).’

Ассерция: *я утверждаю, что p*.

Ср. другой, более общий вариант: *я знаю не в качестве свидетеля, но из общего опыта, что p*; информация говорящего основана на том, что в данном обществе известно, например:

(6) *Тогава дядо ми е пел* – IMPF C:3SG:M *в църквата*.

‘В то время мой дед пел в церкви’.

Ассерция: *я утверждаю, что p*.

Благодаря общему признаку “опосредованность личной информации говорящего” слабое знание на основе общего опыта, когда говорящий подчеркивает, что он не был свидетелем передаваемой ситуации (6), и мнение на основе собственного умозаключения (5) выражаются одними и теми же формами.

В предложениях с ренарративом пресуппозиция: *я знаю, что X сказал (написал), что p*. Например:

(7) *Иван заминал* – AOR R:3SG:M.

‘(X сказал, что) Иван уехал’.

Ассерция: *я утверждаю, что X утверждает, что p*.

Если ренарративная форма отрицательна, ассерция приобретает вид: *я утверждаю, что X утверждает, что ¬p*, то есть *я утверждаю, что X не утверждает, что p*, например:

(8) *Иван не заминал* – AOR R:3SG:M.

‘(X сказал, что) Иван не уехал’.

Когда ренарратив используется в повествовательных высказываниях для пересказывания императива или аналитических модальных *да-, нека-, нека да-*форм настоящего времени индикатива с повелительным, пермиссивным или оптативным значением, у которых формы разного лица и числа одной парадигмы имеют разное значение и используются в высказываниях с различной иллокуционной силой, пресуппозиции имеют вид: *я знаю, что X приказал / позволил / пожелал p*, а ассерции имеют вид: *я утверждаю, что X приказал / позволил / пожелал p*. Например:

(9)... *той се заслушва в думите ѝ. (...) Да окопаел* – *da-form PRS R:3SG:M лозето*

‘...он заслушивается в ее слова (...) Чтобы он окопал виноградник!’ (Стратиев).

Пресуппозиция: *я знаю, что X приказал p*.

Ассерция: *я утверждаю, что X приказал p*.

В предложениях с дубитативом пресуппозиция: *я знаю, что X сказал (написал), что p*, но *я сомневаюсь, что p*, т.е. *я думаю, что более вероятно ¬p*. Например:

(10) *Иван бил заминал* – AOR DUB:3SG:M.

‘Иван якобы уехал’.

Ассерция: *Я утверждаю, что X утверждает, что p*.

Можно дискутировать по поводу того, является ли различие между ренарративом и дубитативом эвиденциальным или модальным. Отношение X-а, автора речи, к действию в обоих случаях одно и то же – он считает действие реальным, но отношение говорящего, который воспроизводит речь X-а, в обоих случаях различается. Выбирая ренарратив, говорящий свидетельствует, что он не возражает против принадлежащей X-у

оценки истинности суждения, он лишь подчеркивает, что это оценка X-а, а не его собственная оценка. Выбирая дубитатив, он выражает возражение против такой оценки. При этом говорящий не сопоставляет само действие с действительностью, а лишь комментирует оценку действия X-а. Исходя из этого, мы включаем этот модальный элемент в пресуппозицию предложения с дубитативом, а не в его асцерцию: если бы мы это сделали, мы имели бы основание говорить о дубитативе как об отдельном наклонении, а не как об одной из эвиденциальных граммем, как считают обычно в болгарской грамматике из-за формального состава дубитатива, который изоморфен остальным эвиденциальным граммемам.

Впросительные предложения с эвиденциальными граммемами также связаны с пресуппозициями, которые содержат предположения говорящего об источнике информации адресата о пропозиции *p*, которая является истинным ответом на вопрос *Q*.

В предложениях с индикативом пресуппозиция означает: *я думаю, что ты знаешь как свидетель истинный ответ p на вопрос Q*, если ответ на вопрос связан с информацией слушателя на основе его личного опыта, например:

(11) Q: *Замисна* – AOR IND: 3SG *ли Иван?*

‘Иван уехал?’

или имеет вид: *я думаю, что ты знаешь истинный ответ p на вопрос Q на основе общего опыта*, например,

(12) Q: *Къде се намира* -PRS IND:3 SG *Куала Лумпур?*

‘Где находится Куала Лумпур?’

В вопросах с конклюдивом пресуппозиция означает: *я думаю, что ты знаешь опосредованно, не в качестве свидетеля истинный ответ p на вопрос Q*, так как вопросы обычно ставятся в связи с опосредованным знанием слушателя, а не в связи с его умозаключениями, когда у говорящего нет полной уверенности, что слушатель знает истинный ответ *p* на *Q*. Ср.

(13) Q: *Къде е пел* – IMPF C:3SG:M *дядо ти?*

‘Где пел твой дед?’

В вопросах с ренарративом пресуппозиция означает: *я думаю, что ты знаешь со слов X-а истинный ответ p на вопрос Q*. Например:

(14) Q: *И какво станало* – AOR R:3SG:N *после?*

‘И что случилось потом?’ – так спрашивают дети в форме аориста ренарратива, когда им рассказывают сказку, которая по правилу выражается ренарративом.

Семантика, связанная с сомнением в истинности пропозиции *p*, является причиной того, что дубитатив не используется в вопросах, так как говорящий ожидает истинного ответа на свой вопрос *Q*. (В работах Вежбицкой [Wierzbicka 1994; 1996], с которыми, к сожалению, я сумела ознакомиться лишь после того, как настоящая модель семантики предложений с эвиденциальными граммемами уже была готова, при описании эвиденциальной семантики также используются семантические примитивы *знать* и *думать*, но в обеих моделях в общем и при описании отдельных граммем болгарского языка существуют существенные различия, которые здесь нет возможности обсудить.)

Связь эвиденциальности с когнитивной классификацией информации

Следует подчеркнуть, что эвиденциальность не является просто механическим обозначением источника информации, как, например, записываются источники документов в канцелярской книге. Говорящий творчески использует эвиденциальную информацию, чтобы некоторым образом классифицировать в своем сознании информацию, которой он располагает.

В каждом высказывании говорящий классифицирует информацию сначала на основе того, имеет ли она уже место в фонде его “сильных” *собственных* знаний или нет. В первом случае говорящий использует индикатив, независимо от источника информации, а во втором – другие эвиденциальные граммемы. При этом возможно, как отметили в

известной работе Д. Слобин и А. Аксу [Slobin, Aksu 1982], что после первого получения данной пропозиции она попадает в сознании в определенный “ящик” в зависимости от своего источника, но через некоторое время может перейти в другой ящик. Так, в турецком языке “то, что было выражено формами с *-miş* сегодня, может быть сообщено формами с *-di* на следующей неделе или следующего месяца” [Slobin, Aksu 1982: 196], т.е. опосредованная информация, полученная с чужих слов, перемещается в фонд сильных знаний говорящего и позднее передается директивной формой. В болгарском языке, где эвиденциальная система более расчленена, наблюдается перемещение информации из “ящика” дубитатива или ренарратива, где она может быть поставлена в самом начале ее получения с чужих слов, в “ящик” конклюдива (имеется в виду неинференциальное значение конклюдива, когда выражается собственная опосредованная информация на основе общего опыта), и наконец информация может попасть в “ящик” индикатива, когда говорящий ее классифицирует как “сильное” знание [Ницолова (в печати)]. Например, говорящий получает впервые с чужих слов информацию, которую он воспринимает с сомнением, и поэтому передает дубитативом – *Петров бил станал директор* “(Говорят, что) Петров якобы стал директором”. Когда возникающее позднее сомнение в истинности информации исчезает, говорящий может передать ту же самую информацию ренарративом, обозначая, что он не несет ответственности за истинность информации: *Петров станал директор* “(Х сказал, что) Петров стал директором”. Еще позднее ту же самую информацию можно передать как слабое собственное незасвидетельствованное знание конклюдивом: *Петров е станал директор* “Петров стал директором, хотя я не был свидетелем этого”. Наконец, когда назначение Петрова уже стало общеизвестным фактом и информация о нем вошла в фонд сильных знаний говорящего, он может передать информацию слушателю, используя аорист индикатива: *Петров стана директор миналата година* “Петров стал директором в прошлом году”. Конечно, не всегда в узусе реализуются все эти возможные четыре степени перемещения информации, часто от дубитатива или ренарратива сразу переходят к индикативу.

Связь выражения эвиденциальности с информационно-классифицирующей деятельностью сознания очень затрудняет иностранцев при изучении болгарского языка, так как не всегда легко сформулировать правила выбора эвиденциальных граммем. При этом выборе оказывают влияние такие факторы, как способ получения информации, ее характер, семантика и прагматика текста, фоновые знания говорящего и слушателя о мире, стилистические нормы, если такие существуют и др. Подобное положение наблюдается и в турецком языке (см. [Meuydan 1996: 142]). Вопреки трудностям при формулировании точных правил выбора эвиденциальных граммем, мы не можем согласиться с мнением Фридмана [Friedman 1982], что в подобных случаях речь идет лишь о стилистических вариантах. В болгарском языке эвиденциальные граммемы обладают определенным грамматическим значением, каждое из которых входит в сложные взаимоотношения с множеством лингвистических и экстралингвистических факторов в тексте, так как эвиденциальность в широком смысле слова – это категория текста, а глагольная эвиденциальность – это лишь один из способов ее выражения, хотя этот способ является центральным [Ницолова 1984; 1993; Ницолова (в печати)].

Существует ли у эвиденциальных граммем градация степеней дистанцированности говорящего / адресата от передаваемой / получаемой информации с точки зрения ее достоверности?

В степенях дистанцированности говорящего от передаваемой информации с точки зрения ее достоверности при помощи эвиденциальных граммем намечаются два полюса: индикатив (отсутствие дистанции) и дубитатив (самая сильная дистанция), между которыми находятся конклюдив и ренарратив. С чисто логической точки зрения можно было бы думать, что конклюдив, который обозначает информацию из фонда собственных слабых, опосредованных знаний или информацию на основе собственного умоза-

ключения, выражает меньшую дистанцию, чем ренарратив, который обозначает информацию третьего лица. Оказывается, что в нарративных текстах и в косвенной речи конклюдив в первом указанном значении и ренарратив используются параллельно, что с чисто когнитивно-информативной точки зрения вполне оправдано, так как в обоих случаях реальный источник информации – это чужая речь. Однако при использовании ренарратива говорящий подчеркивает, что он не несет ответственности за истинность передаваемой информации, которую он получил от третьего лица, а при использовании конклюдива – что он не был свидетелем сообщаемого. Кроме того, следует иметь в виду, что конклюдив и ренарратив различаются формально лишь в 3 лице, а в 1 и 2 лицах эти формы совпадают.

Интересно, что слушатель не всегда воспринимает эти различия в дистанции к сообщению говорящим и может разграничивать сообщения по степени достоверности в зависимости от того, верит ли он вообще говорящему или нет, является ли говорящий для него авторитетным источником информации или нет, ср., например, авторитет Библии для верующего человека и авторитет некоторой бульварной газеты. Таким образом, на оценку слушателя могут влиять и разные экстралингвистические факторы. Психолингвистические эксперименты, проведенные Фитневой [Fitneva 2001] с болгарскими детьми, убедительно показывают, что с точки зрения слушателей идея о градации ступеней дистанционности в связи с конклюдивом и ренарративом не соответствует действительности. Мы считаем, что все-таки известная градация эвиденциальных граммем не только с точки зрения говорящего, но и с точки зрения слушателя существует, но лишь с ясно очерченными полюсами – индикатив и дубитатив; средние члены – конклюдив и ренарратив – тяготеют в своих употреблениях то к одному, то к другому полюсу и поэтому существенно не различаются с точки зрения дистанционности. При этом надо иметь в виду, что *интонация* может изменить или усилить дистанционность отдельных эвиденциальных граммем.

Адмиративом в болгарском языке выражается удивление говорящего от внезапно установленного факта непосредственно перед моментом речи, так как знание об этом факте контрастирует с предыдущим состоянием незнания (наше мнение очень близко к мнению Генчевой [Guentchéva 1990a: 51; ср. Guentchéva 1990b; 1993; 1995; 1996a; 1996b]). Адмиратив обозначает два когнитивных состояния говорящего, выраженных пресуппозицией высказывания: состояние незнания и состояние только что приобретенного знания о *p*, которое контрастирует с незнанием, имплицитующим и возможность $\neg p$. В.А. Плунгян пишет даже о выражении специального вида суждения – “суждения, связанного с ожиданиями говорящего” [Plungian 2001: 355]. Семантическую структуру высказывания с адмиративом *Ах, то валяло!* “Ах, оказывается, идет дождь!”, когда в погожий солнечный день говорящий внезапно видит, что идет дождь, можно представить следующим образом:

Пресуппозиция: *Я узнал, что p, и это меня удивляет, так как из-за моего предыдущего незнания считал возможным $\neg p$.*

Ассерция: *Я утверждаю, что p (дождь идет).*

Контраст между обозначаемой ситуацией, трактуемой перед моментом речи как возможной, и действительной ситуацией, обозначенной пропозицией *p*, является причиной удивления говорящего. Это удивление оказывается тем более значительным, чем больше была вероятность существования $\neg p$, по мнению говорящего, в данном случае, например, в погожий день вероятность того, что дождь не пойдет, значительно выше, чем наоборот, как в цитированном примере Вайганда. Другой пример:

Два героя одной повести хотят украсть золотой веночек с иконы, но когда после снятия венка один из них царапает его ножом, оказывается, что веночек в действительности не золотой. Тогда, употребляя форму адмиратива, он выражает свое сильное разочарование:

(15) *Туй не било* – PRS ADM:3SG:N *злато!* *Никакво злато не е* – PRS:IND:3SG.

‘Это оказывается не золото! Это никакое не золото! (Йовков)’ – пример Л. Андрейчина [Андрейчин 1976б: 346].

В этом примере проявляется специфика адмиратива по сравнению с индикативом. Адмиративом обозначается новая, неожиданная информация, а индикативом – информация, которая уже вошла в информационный фонд знаний говорящего, ср. так наз. “подготовленное сознание” (*prepared mind*) [Slobin, Aksu 1982: 197] или “сознание, которое уже включилось в картину мира говорящего” [DeLancey 2001: 379]. Обычно путь познания идет от незнания к знанию, и поэтому выражение этого пути не требует грамматикализации, а индикативом грамматикализируется лишь обозначение уже интегрированных знаний в информационном фонде говорящего, т.е. обозначение результатов познания. Только адмиративом грамматикализуется первая ступень познания – переход от незнания к знанию и связанное с этим удивление.

В последнее время в типологических работах нередко высказывается мнение, что адмиративность и эвиденциальность – это две разные семантические и грамматические категории. При этом следует учесть, что имеются в виду не только языки, где существуют различия между адмиративностью и эвиденциальностью, но и языки, где эти категории не связаны между собой. Таков, в частности, атапаский язык харе, в котором адмиративность выражается без связи с эвиденциальными парадигмами; ср. также английский язык, в котором нет грамматикализации эвиденциальности, а адмиративность как скрытая семантическая категория выражается интонацией [DeLancey 2001; Мельчук 1998: 197; Plungian 2001: 355]. Несомненно, с семантической точки зрения адмиративность и эвиденциальность различаются, так как эвиденциальность указывает на источник информации говорящего, а адмиративность маркирует информацию как новополученную и неожиданную, т.е. в данном случае налицо эпистемическое модальное значение в широком смысле слова. С другой стороны, болгарский язык, как и другие балканские языки, выражает адмиративное значение эвиденциальными формами, что свидетельствует об определенной близости между двумя категориями. В типологических работах и в болгаристике были сформулированы разные объяснения этого положения.

Заслуживает внимания мнение В. А. Плунояна, что адмиратив существует в балканских системах не потому что они маркируют эвиденциальность, а потому что в этих языках налицо тенденция к маркированию эвиденциальности в сочетании с модальностью [Plungian 2001: 355]. Однако его гипотеза, заключающаяся в том, что полисемия между адмиративом и инференциальными и / или квотативными маркерами обусловлена семантическим компонентом ‘низкой уверенности (переход от опосредованной эвиденциальной грамеммы к адмиративу)’, нуждается в доказательствах. Мы считаем, что семантический компонент *низкой уверенности* ни в коем случае не является обязательным для болгарского ренарратива и конклюдива, а в значении адмиратива вообще не имеет места, так как в предложениях с адмиративом ассерция та же самая, что и у индикатива. Кроме того, пока не доказано, что в болгарском языке ренарратив, соответственно, конклюдив перешел в адмиратив, – более вероятно, что в рамках современной глагольной системы формы адмиратива и ренарратива, образованные на основе разных семантических разновидностей перфекта, совпали (см. ниже).

Имея в виду сказанное выше, в чисто синхронном плане следует рассматривать адмиратив в болгарском языке не как самостоятельное наклонение или как самостоятельную грамему, а как контрастную транспозицию ренарратива, т.е. как употребление форм ренарратива в контексте и ситуациях, которые противоречат его значению [Куцаров 1999: 430]. Общее между ренарративом и адмиративом – то, что обе грамеммы обозначают в пресуппозиции высказывания прошедшие когнитивные состояния говорящего, при этом противоположного типа. Ренарратив указывает на предыдущее когнитивное состояние знания, когда говорящий получил информацию от другого лица, тогда как адмиратив, наоборот, указывает на предыдущее состояние незнания, отсутствия информации у говорящего. Кроме того, ренарративом выражается несобственная (старая), известная уже говорящему информация, а адмиративом – собственная, только что полученная новая информация.

Представляет интерес рассмотрение связи составных элементов эвиденциальности и адмиративности с ГК лица и времени. Категорию *лица*, которая во флективных языках переплетается в семантическом и формальном плане с ГК *числа* глагола, обычно называют синтаксической или контекстуальной ГК, так как она согласуется с соответствующими признаками подлежащего (см., например [Kuryłowicz 1964; Booij 2002]) в отличие от ингерентных категорий (например, категории времени), которые имеют независимую значимость признаков. Конечно, можно спорить о том, является ли значимость грамматической категории *время* во всех случаях независимой от контекста (например, при выражении таксиса), ср. также явления, связанные с выбором темпоральных форм на уровне текста (ср., например, выбор разных точек зрения при определении интервала отсчета для темпоральной локализации данного действия), но во всяком случае ГК *время* более контекстуально и ситуационно независима, чем *лицо*.

Взаимосвязи эвиденциальности и ГК лица

ГК *лицо* является реляционной категорией, так как она характеризует предмет, которому приписывается признак при помощи финитной глагольной формы, по отношению к специфически человеческой деятельности – акту коммуникации. Поскольку в этом акте участвуют лишь две стороны – говорящий и адресат, давно уже отмечено в языкознании, что лишь формы 1-го и 2-го лица содержат информацию о “собственно лице”, а 3-е грамматическое лицо – это не лицо. Связанность ГК *лицо* с актом коммуникации является причиной ее взаимодействия с эвиденциальностью и адмиративностью.

В большинстве флективных языков в индикативе обычно не наблюдается больших различий в значении форм одного и того же времени в зависимости от лица. Иначе, однако, обстоит дело в сфере остальных эвиденциальных граммем, у которых в языках с разными типами эвиденциальности наблюдается не только разная частотность при употреблении форм отдельных лиц, нередко связанная и с семантическими различиями, но и ограниченное существование данных эвиденциальных граммем лишь в определенном лице [Ситов 2001]. В болгарском языке нет последнего ограничения, но существует ясно очерченное различие в частотности личных форм отдельных эвиденциальных граммем, некоторые из которых используются лишь в определенных коммуникативно-прагматических условиях. Кроме того, в болгарском языке существует распространенная синкретичность форм (см. табл. 2). Не случайно в прошлом некоторые авторы называли ренарратив “третьеличным наклонением” в связи с тем, что лишь в 3 л. существует формальное различие между формами ренарратива и конклюдива (см. табл. 2.). Это различие выражается присутствием вспомогательного глагола *съм* ‘быть’ в конклюдиве и его отсутствием в 3 л. ренарратива. В 1 и 2 л. формы ренарратива и конклюдива совпадают.

С другой стороны, статистические данные показывают, что в художественной литературе (и в разговорной речи) 88% ренарративных форм – это формы 3 л. [Куцаров 1984: 7], что связано с тем, что говорящий обычно воспроизводит в общении с адресатом информацию, полученную от третьего лица, не о себе и не об адресате, а о ком-то или о чем-то другом, т.е. причины для преобладающего употребления 3 л. в ренарративе – прагматические.

Обычно говорящий передает информацию о себе в индикативе, так как он сам является главным источником такой информации. Он нуждается в ренарративе в 1 л. ед. числ. очень редко – и то лишь в том случае, когда он хочет подчеркнуть, что передает информацию о себе с чужих слов. Например:

(16) *Аз съм бил* – IMPF R:1SG:M *в яхъра при конете и като ме чула как съм викал* – IMPF R:1SG:M, *рекла: Той лош чиялук.* ‘(X сказала, что) я был в конюшне у коней, и когда она услышала, как я кричал, сказала: Он – плохой человек’ (Йовков).

Еще реже говорящий использует форму 1 л. конклюдива. В этом случае на основе известных данных он восстанавливает при помощи умозаключения прошедшие события,

в которых он лишь физически участвовал, но интеллектуально “отсутствовал” – из-за болезни, потери сознания, сна, отсутствия воспоминаний, потери памяти, из-за пьянства, употребления наркотиков и под. Например:

(17) *Мълчах IMPF IND:1SG (...), но по някое време вероятно съм заспал – AOR C:1SG:M и без малко съм цял да падна – FUT PAST C:1SG:M ако майка ми не се бе присегнала – PQP IND:3SG:F да ме задържи.* ‘Я молчал..., но когда-то я, вероятно, уснул и упал бы, если бы моя мать не протянула руку, чтобы меня задержать’ (Б. Райнов) – герой рассказывает эпизод своего детства. Конклюдивными формами передаются действия, которые он не помнит, так как уснул в это время, но восстанавливает их путем умозаключений на основе действий, которые он помнит, и выражает их индикативом как лично засвидетельствованные.

Форма 2 л. ренарратива используется не при повествовании, а при передаче чужих слов о действиях слушателя. Это делается обычно с намерением проверить, считает ли адресат пересказанную о нем информацию истинной. Например:

(18) *Ти си цял да ставаш – FUT R: 2SG началник.*

(Говорят, что) ты станешь начальником / собираешься стать начальником.

Предложения с конклюдивом во 2 л. почти не встречаются по прагматическим причинам.

Иначе реализуется отношение между семантикой дубитатива и ГК лица. В этом случае чаще используются формы 1 и 2 л., чем формы 3 л., так как основное употребление дубитатива наблюдается в диалоге, а не в повествовании, как при употреблении ренарратива и конклюдива, хотя дубитатив встречается и в повествовании. Например:

(19) *Той просто изгони жените, като заяви, че щели били да гуляят – FUT DUB:3PL “по мъжки”.*

‘Он просто выгнал женщин, заявляя, что они, дескать, будут гулять по-мужски’ (Спасов) – (пример Е. И. Деминой [Демина 1959: 355]).

Дубитативная форма 1 л. ед. ч. обозначает, что говорящий не считает истинной чужую информацию о себе, нередко исходящую от адресата: в этом случае сомнение в истинности информации X-а наибольшее, так как естественно, что говорящий располагает знанием о своих действиях. Например:

(20) *Всички ми се смееха. Не съм бил можел – PRS DUB:1SG:M да свържа Черкювското поле със селото.*

‘Все смеялись надо мной. Я, дескать, не могу связать Черкювское поле с деревней’ (Каралийчев).

Употребление формы 2 л. дубитатива имеет место обычно при “передразнивании” для выражения недоверия, несогласия, возмущения, иронии по отношению к сказанному слушателем [Демина 1959: 354]. При “передразнивании” очень часто используется и транспозиция в форме лица – вместо формы личного местоимения 2 л. используется форма 3 л., чтобы дополнительно выразить отрицательное отношение к адресату вместе с отрицательным отношением к его утверждению. Например:

(21) *(... не ца да слушам такива приказки.) ... – Ох, светеца! Ох, непорочната калугерица! Не цял бил – PRS DUB:3SG:M да слуша.*

‘(... я не хочу слушать таких слов.) ... – Ох, святой! Ох, непорочная монахиня! Он (=ты), мол, не хочет слушать’ (Каралийчев).

Эксклазивные предложения с адмиративом употребляются лишь в разговорной речи. Субъект адмиративных форм может быть выражен в трех лицах, но 1 л. встречается реже, чем 3 и особенно 2 л., что объясняется прагматическими факторами: говорящий редко может узнать удивляющие его факты о себе или передать связанные с удивлением оценки собственной персоны; чаще он выражает такого рода информацию, связанную с адресатом или с третьим лицом. Примеры употребления адмиратива в трех лицах:

(22) *Колко съм бил – PRS ADM:1SG:M наивен!*

‘Как же я, оказывается, наивен!’;

(23) *Я. ти вече си (бил) станал PRF ADM: 2SG:M!*

‘Смотри-ка, оказывается, ты уже встал!’;

(24) *Та тоя човек бил* – PRS ADM:3SG:M *светец!*

‘Так этот человек, оказывается, святой!’ (Вазов).

Можно обобщить, что связи между граммемами эвиденциальности и адмиративности и ГК лица проявляются в различной частотности форм, выражающих лицо, а их употребление зависит от разных семантических и прагматических факторов.

Эвиденциальность и адмиративность в их связях с ГК времени

Сложным образом развивались связи между ГК эвиденциальности и адмиративности и ГК времени глагола. В болгарском языке, как и в других языках Балкано-западноазиатского ареала, эвиденциальные системы развивались на основе перфекта индикатива. История возникновения эвиденциальности в болгарском языке в общих чертах известна. Можно привести убедительные примеры того, как, во-первых, значение одной темпоральной грамлемы в связи с определенной конфигурацией в темпоральной системе явилось предпосылкой для возникновения двух новых ГК – эвиденциальности и адмиративности, и во-вторых, как эти новые ГК на основе темпоральной системы индикатива создали свои специфические темпоральные системы.

Болгарский перфект обозначает, что глагольное действие совершилось перед интервалом отсчета (по темпоральной концепции Рейхенбаха [Reichenbach 1966]), а интервал отсчета включает в себя момент речи в основном употреблении перфекта. Понятие *интервал отсчета* вместо *момент отсчета* (point of reference), как было у Рейхенбаха, употребляется в последние десятилетия при описании темпоральных систем многими авторами и его использование является очень удачным для адекватного описания 9-членной болгарской темпоральной системы.

Перфект – это результативное время. Это означает, что результат действия в материальном или абстрактном варианте налично в момент речи [Андрейчин 1976а: 279]. Поскольку у перфекта интервал отсчета включает в себе момент речи, когда налично и результат действия, самое действие не связывается с определенным прошедшим интервалом, что позволяет представлять себе действие просто как факт, как нечто такое, что когда-то совершилось, соответственно, не совершилось, а не как конкретный процесс в его протекании. Не случайно поэтому и название перфекта в болгарской грамматике – это *прошедшее неопределенное время* (болг. *минало неопределено време*).

Кроме перфекта в болгарском языке существовали и существуют и теперь аорист и имперфект, у которых интервал отсчета находится в плане прошлого. Эти два времени, которые противопоставляются одно другому по признаку *континуативность*, обозначают действия в их протекании в связи с прошедшим интервалом отсчета, а не с точки зрения их результата в настоящем, как перфект.

В древнеболгарском (старославянском) языке все эти три времени обозначали действия, которые могли быть *воспринятыми или невоспринятыми* говорящим. При этом для перфекта еще со времени и.-е. праязыка характерно то, что в отличие от аориста и имперфекта, которые передавали объективно действия, перфектом говорящий обозначал в момент речи свое положительное или отрицательное отношение к прошедшему действию другого лица или к своему собственному действию [Добрев 1985: 11].

В современном болгарском языке перфект используется не только для эмоционального маркированного подчеркивания определенного действия в данном ряду последовательных прошедших действий, представленных аористом, но и в тех случаях, когда делается вывод, обобщение, констатация, выражающие обобщенно повторяющиеся или отрицаемые действия, спрашивается о предполагаемых действиях, т.е. когда идет речь не о конкретном протекании данного процесса, а о факте или о его отсутствии (см. [Андрейчин 1976б: 279–286; Маслов 1959: 283; Деянова 1966: 46–55; 1970; Герджиков 1984: 231–236]). В отличие от нормы болгарского стандартного языка в некоторых западноболгарских диалектах перфект употребляется даже и как нарратив вместо аори-

ста. Это, несомненно, связано с тем фактом, что в соседнем сербском языке перфект почти полностью вытесняет синтетические прошедшие времена – аорист и имперфект – и превращается в претерит. Во многих славянских языках перфект является претеритом, т.е. в этих языках определяющим является не признак ‘результативность’, а темпоральный признак ‘антериорность’, так как в этих языках исчезли остальные прошедшие времена – прежде всего аорист и имперфект.

В болгарском языке эти времена не только сохранились, но и приобрели дифференциацию своего значения по сравнению с древнеболгарским языком – они начали использоваться лишь для обозначения *воспринятых* говорящим действий, т.е. при их употреблении говорящий сигнализирует, что его личное восприятие является источником передаваемой глаголом информации. Это стало возможным потому, что и у аориста, и у имперфекта интервал отсчета представляет собой определенный прошедший интервал, в котором протекает действие аориста и который включается в более длительный интервал действия имперфекта. Поскольку глагольные времена образуют систему, и другие времена индикатива с прошедшим интервалом отсчета – плюсквамперфект и будущее в прошедшем, а также будущее предварительное в прошедшем – начали обозначать лишь воспринятые действия. При этом прямая засвидетельствованность в будущем в прошедшем и будущем предварительном в прошедшем – особого вида: она связана не с восприятием говорящим самого действия или его результата, как у плюсквамперфекта, а с его собственной информацией о том, что действие предстояло, подготавливалось, планировалось в определенном прошедшем интервале отсчета, после которого существовала самая большая вероятность его осуществления. Кроме собственной засвидетельствованности говорящим времена индикатива обозначали и действия, известные говорящему из опыта общества.

В то же время (XII–XIII вв.) болгарский перфект стал основой для образования перфектоподобных форм, соответствующих в начале лишь временам индикатива в плане прошлого, а затем и временам во всех темпоральных планах, хотя и в обобщенном виде (за исключением аориста) одна темпоральная форма для опосредованной информации соответствует двум временам индикатива, так как противопоставление между интервалами отсчета в двух разных темпоральных планах аннулируется, например, одна и та же парадигма для выражения настоящего времени и имперфекта, будущего и будущего в прошедшем, перфекта и плюсквамперфекта и будущего предварительного и будущего предварительного в прошедшем. Эти новые формы противопоставлялись индикативу, поскольку выражали обобщенно опосредованную засвидетельствованность с такими значениями, как *невосприятость*, *пересказываемость*, *конклюдентность*, подобно тому, как это имеет место в современном турецком языке, который сыграл роль катализатора при создании болгарской ГК эвиденциальности.

На второй стадии – в языке дамаскинов XVII–XVIII вв. – уже четко проявляется то, что двучленная эвиденциальная система превратилась в четырехчленную: ренарратив и конклюдив разграничились формально в 3 л. отсутствием / присутствием вспомогательного глагола *съм* ‘быть’, а семантическое разграничение проявилось в том, что опосредованное *собственное* знание или мнение на основе умозаключения противопоставляется информации из *речи третьего лица*. На этой стадии образовался и дубитатив путем прибавления причастия *бил*, *-а*, *-о*, *-и* от вспомогательного глагола *съм* ‘быть’ к ренарративным формам во всех случаях, где это было формально возможно. Семантически дубитатив стал отличаться от ренарратива по признаку выражения *сомнения* говорящего по отношению к истинности информации, полученной из речи третьего лица (подробнее об историческом развитии эвиденциальных граммем см. [Демина 1970; 1974; Герджиков 1984: 252–261]). Современная система темпоральных форм болгарских эвиденциальных граммем представлена следующими парадигмами:

Пиша 'писать'

ИНДИКАТИВ	КОНКЛЮЗИВ	РЕНАРРАТИВ	ДУБИТАТИВ
<i>Настоящее время</i>			
1. пиша		пишел съм	пишел съм бил
2. пишеш		пишел си	пишел си бил
3. пише		пишел	пишел бил
1. пишем		пишели сме	пишели сме били
2. пишете		пишели сте	пишели сте били
3. пишат		пишели	пишели били
<i>Имперфект</i>			
<i>Имперфект = Настоящее время</i>			
1. пишех	пишел съм	пишел съм	пишел съм бил
2. пишеше	пишел си	пишел си	пишел си бил
3. пишеше	пишел е	пишел	пишел бил
1. пишехме	пишели сме	пишели сме	пишели сме били
2. пишехте	пишели сте	пишели сте	пишели сте били
3. пишеха	пишели са	пишели	пишели били
<i>Будущее время</i>			
1. ще пиша		щял съм да пиша	щял съм бил да пиша
2. ще пишеш		щял си да пишеш	щял си бил да пишеш
3. ще пише		щял да пише	щял бил да пише
1. ще пишем		щели сме да пишем	щели сме били да пишем
2. ще пишете		щели сте да пишете	щели сте били да пишете
3. ще пишат		щели да пишат	щели били да пишат
<i>Буд. вр. в прошедшем</i>			
<i>Буд. вр. в прои. = Будущее время</i>			
1. щях да пиша	щял съм да пиша	щял съм да пиша	щял съм бил да пиша
2. щеше да пишеш	щял си да пишеш	щял си да пишеш	щял си бил да пишеш
3. щеше да пише	щял е да пише	щял да пише	щял бил да пише
1. щяхме да пишем	щели сме да пишем	щели сме да пишем	щели сме били да пишем
2. щяхте да пишете	щели сте да пишете	щели сте да пишете	щели сте били да пишете
3. щяха да пишат	щели са да пишат	щели да пишат	щели били да пишат
<i>Перфект</i>			
1. писал съм	бил съм писал	бил съм писал	
2. писал си	бил си писал	бил си писал	
3. писал е	бил е писал	бил писал	
1. писали сме	били сме писали	били сме писали	
2. писали сте	били сте писали	били сте писали	
3. писали са	били са писали	били писали	

Окончание

ИНДИКАТИВ	КОНКЛЮЗИВ	РЕНАРРАТИВ	ДУБИТАТИВ
<i>Плюсквамперфект</i>		<i>Плюсквамперфект = перфект</i>	
1. бях писал	бил съм писал	бил съм писал	
2. беше писал	бил си писал	бил си писал	
3. беше писал	бил е писал	бил писал	
1. бяхме писали	били сме писали	били сме писали	
2. бяхте писали	били сте писали	били сте писали	
3. бяха писали	били са писали	били писали	
<i>Будущее предварительное время</i>			
1. ще съм писал		щял съм да съм писал	щял съм бил да съм писал
2. ще си писал		щял си да си писал	щял си бил да си писал
3. ще е писал		щял да е писал	щял бил да е писал
1. ще сме писали		щели сме да сме писали	щели сме били да сме писали
2. ще сте писали		щели сте да сте писали	щели сте били да сте писали
3. ще са писали		щели да са писали	щели били да са писали
<i>Буд. предв. в прошедшем</i>		<i>Бъд. предв. в прощ. = буд. предварительное</i>	
1. щях да съм писал	щял съм да съм писал	щял съм да съм писал	щял съм бил да съм писал
2. щеше да си писал	щял си да си писал	щял си да си писал	щял си бил да си писал
3. щеше да е писал	щял е да е писал	щял да е писал	щял бил да е писал
1. щяхме да сме писали	щели сме да сме писали	щели сме да сме писали	щели сме били да сме писали
2. щяхте да сте писали	щели сте да сте писали	щели сте да сте писали	щели сте били да сте писали
3. щяха да са писали	щели са да са писали	щели да са писали	щели били да са писали
<i>Аорист</i>			
1. писах	писал съм	писал съм	писал съм бил
2. писа	писал си	писал си	писал си бил
3. писа	писал е	писал	писал бил
1. писахме	писали сме	писали сме	писали сме били
2. писахте	писали сте	писали сте	писали сте били
3. писаха	писали са	писали	писали били

Отрицательные формы всех эвиденциальных разновидностей образуются двумя способами: нефутуральные времена образуются путем присоединения к положительной форме частицы *не*, например, *не пиша, не съм пишел, не съм бил пишел* и т.п., будущие времена – путем включения в парадигму отрицательной формы вспомогательного глагола *имам* ‘иметь’, например, *ще пиша – няма да пиша, щял да пише – няма да пише* и т.п.

Как видно из табл. 2, синкретизм широко распространен в формах косвенной засвидетельствованности, особенно в формах 1 и 2 л. Конклюдив представлен временами лишь в плане прошлого, а у дубитатива по чисто формальным причинам (невозможности повторения причастия *бил*, *-а*, *-о*, *-и*) нет специальной формы перфекта / плюсквамперфекта – ее функцию выполняет аористная форма *писал съм бил*.

Еще сильнее проявляется синкретизм форм в причастно-страдательном залоге, где существуют только два вида форм эвиденциальных разновидностей косвенной засвидетельствованности: одни формы – для выражения всех нефутуральных времен, а другие – для всех форм будущего времени. У дубитатива по структурным причинам нет формы для нефутуральных времен [Герджиков 1984: 243].

Таблица 3

ИНДИКАТИВ	КОНКЛЮЗИВ	РЕНАРРАТИВ	ДУБИТАТИВ
Будущие времена ще е/бъде писан щеше да е/бъде писан	щял е да е писан (щял е да бѣде писан)	3 л. ед. ч. щял да е писан (щял да бѣде писан)	щял бил да е писан (щял бил да бѣде писан)
Нефутуральные времена писан е беше/бе/биде писан	3 л. ед. ч. писан е бил	писан бил	

Если рассмотренные эвиденциальные грамемы возникли в связи с тем, что интервал отсчета у перфекта включает в себя момент речи и действие представляется как факт в прошлом, что допускало выражение разного вида косвенной информированности говорящего по отношению к этому факту, то адмиратив возник иным путем. Он восходит к особому употреблению перфекта, так называемому перфекту констатации, в котором отсутствует вспомогательный глагол *съм* ‘быть’ в 3 л., как и в позднее появившемся ренарративе. Перфект констатации обозначает воспринимаемые говорящим в момент речи результаты не воспринятых прошедших действий. В некоторых ситуациях эти неожиданно воспринятые результаты действий контрастировали с предыдущим незнанием говорящего, когда он полагал, что более возможно $\neg p$, т.е. отсутствие действия. Например:

(25) *Какви сърца! Седнали – PRF IND: 3PL в работно време видео да гледат!*

‘Какие сердца! Сели в рабочее время смотреть видео!’ (Г. Мишев) – выражается возмущение говорящей зрительно воспринимаемой ситуацией, которую она считает ненормальной. Этот контраст между двумя когнитивными состояниями говорящего – неожиданно полученного знания и предыдущего незнания – порождает эмоциональную реакцию – адмиратив всегда эмоционально маркирован.

Так как со временем появилось имперфектное причастие в формах ренарратива и конклюдива (вначале это была служащая для опосредованной информации общая парадигма, в которой вспомогательный глагол *съм* ‘быть’ в 3 л. мог присутствовать или опускаться [Герджиков 1984: 255–261]), стало возможным по аналогии с перфектом констатации с аористным причастием употребить и перфектообразную форму с имперфектным причастием, чтобы выразить непрекращенное в момент речи действие (ср. [Иванчев 1976: 359]). Таким образом, формы с имперфектным причастием совпали с формами настоящего времени / имперфекта ренарратива, а формы с аористным причастием – с формами аориста ренарратива, хотя им свойственно подчеркнуто результативное перфектное значение. При этом “нормальные” адмиративные формы с аористным причастием для обозначения перфекта, совпадающие с ренарративными формами, дей-

ствительно, хотя и реже, встречаются как варианты форм без этого причастия, которые непосредственно связаны с перфектом констатации без вспомогательного глагола.

Взаимоотношение между эвиденциальностью и адмиративностью, с одной стороны, и категорией времени, с другой стороны, не исчерпывается периодом возникновения и первоначального развития первых двух ГК. Когда их семантика и формальный состав установились, эвиденциальность и адмиративность определили свой специфический темпоральный состав, отличный от состава индикатива. Как уже упоминалось выше, у ренарратива лишь аорист имеет то же значение, что и аорист индикатива, тогда как во всех остальных случаях ренарратив выступает в синкретических глагольных формах, в которых не различаются противопоставления между интервалами отсчета в двух темпоральных планах. Таким образом, 9 индикативным временам соответствуют 5 темпоральных форм ренарратива. В сфере дубитатива еще меньше различных темпоральных парадигм (4) из-за чисто формальных причин – невозможности еще раз употребить в качестве маркера дубитативности причастие вспомогательного глагола *съм* ‘быть’ в формах ренарратива там, где причастие уже налицо. У конклюдива тоже наблюдается ограничение в темпоральных парадигмах, но в этом случае причина кроется в семантике этой граммемы – ею обозначаются действия лишь в плане прошлого: у конклюдива 5 времен, но в отличие от ренарратива форма имперфекта конклюдива не обозначает и наст. вр., форма буд. в прош. не обозначает и буд вр., форма буд. предв. в прошедшем не обозначает и буд. предв. вр., форма плюсквамперфекта не обозначает и перфект, т.е. формы конклюдива менее синкретичны, чем формы ренарратива.

Семантика адмиратива – противопоставление когнитивного состояния незнания говорящего состоянию внезапно приобретенного нового знания – определяет его темпоральный состав. У адмиратива лишь 2 времени, у которых интервал отсчета включает в себя момент речи, – настоящее время и перфект.

Выводы

Проведенный анализ показывает, каким сложным образом взаимодействуют ГК глагола – время и эвиденциальность – в болгарском языке и как активные факторы в этом взаимоотношении могут меняться местами. Сначала темпоральное значение перфекта в оппозиции к темпоральным значениям имперфекта и аориста позволило развиваться новой оппозиции эвиденциального характера – *прямая засвидетельствованность*: *опосредованная засвидетельствованность*. Позднее отдельные эвиденциальные варианты опосредованной засвидетельствованности этой новой ГК образовали собственные темпоральные парадигмы, отличающиеся от индикативной. Ренарратив, конклюдив и дубитатив по-своему, более упрощенно, чем индикатив, локализируют события на темпоральной оси, а адмиративность связана лишь с темпоральной ориентацией наличного в момент речи результата прошлого действия или действия, еще не прекращенного в этот момент.

При этом оказывали влияние не только семантические, но и чисто формальные факторы, связанные с морфологическим инвентарем и с более общими правилами формообразования, например, с невозможностью в болгарской морфологии дважды использовать в одной форме одну и ту же морфему или одно и то же формальное слово с разными значениями в аналитических формах.

Что касается взаимоотношения ГК эвиденциальности и адмиративности с ГК лица глагола, то здесь основными факторами их сочетаемости являются факторы прагматические, обусловленные употреблением эвиденциальных граммем в нарративных текстах или в разговорной речи. Редко употребляются (и только в специфических прагматических условиях) синкретические формы ренарратива и конклюдива 1 и 2 л., а формы дубитатива используются чаще в 1 и 2 л., так как их употребление наиболее естественно в диалогической речи. Адмиратив употребляется лишь в разговорной речи, поэтому формы 2 л. встречаются чаще, чем формы 1 и 3 л. (в некоторых случаях форма 3 л. является транспозицией – она обозначает слушателя).

A – аорист
 ADM – адмиратив
 C – конклюдзив
 DUB – дубитатив
 F – женский род
 FUT – будущее время
 FUT PAST – будущее в прошедшем
 IMPF – имперфект
 IND – индикатив
 M – мужской род
 N – средний род
 PL – множественное число
 PQP – плюсквамперфект
 PRF – перфект
 PRS – настоящее время
 R – ренарратив
 SG – единственное число

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андрейчин 1976a – *Л. Андрейчин*. Към характеристиката на перфекта (минало неопределено време) в българския език // П. Пашов, Р. Ницолова (сост.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.
- Андрейчин 1976b – *Л. Андрейчин*. Начини на изказване // П. Пашов, Р. Ницолова (сост.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.
- Апресян 1995 – *Ю. Д. Апресян*. Интегралное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. II. М., 1995.
- Бондарко 1996 – *А. В. Бондарко*. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Герджиков 1984 – *Г. Герджиков*. Преизказването на глаголно действие в българския език. София, 1984.
- ГК 2003 – Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции СПб. 22–24 сентября 2003 г., СПб., 2003.
- Демина 1959 – *Е. И. Демина*. Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
- Демина 1970 – *Е. Дюмина*. Към историята на модалните категории на българския глагол // Български език. XX. 1970. № 5.
- Демина 1974 – *Е. Демина*. Место прошедших времен в системе модальных оппозиций болгарского индикатива // В памет на проф. Ст. Стойков (1912–1969). София, 1974.
- Деянова 1966 – *М. Деянова*. Имперфект и аорист в славянските езици. София, 1966.
- Деянова 1970 – *М. Деянова*. История на сложните минали времена в български, сърбохърватски и словенски език. София, 1970.
- Добрев 1985 – *Ив. Добрев*. Произход и значение на старобългарския перфект // Известия на Института за български език. Т. XXII. 1985.
- Иванчев 1976 – *Св. Иванчев*. Проблеми на развитието и функционирането на модалните категории в българския език // П. Пашов, Р. Ницолова (сост.). Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.
- Козинцева 1994 – *Н. А. Козинцева*. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Куцаров 1984 – *И. Куцаров*. Преизказването в българския език. София, 1984.
- Куцаров 1994 – *И. Куцаров*. Едно екзотично наклонение на българския глагол. София, 1994.
- Куцаров 1999 – *И. Куцаров*. Морфологична категория наклонение. Морфологична категория вид на изказването // Т. Бояджиев, И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика, Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. София, 1999.
- Маслов 1981 – *Ю. С. Маслов*. Грамматика болгарского языка. М., 1981.
- Молошная 1995 – *Т. И. Молошная*. Синтаксические способы выражения косвенных наклонений в современных славянских языках // Вяч.Вс. Иванов, Т. И. Молошная, А. В. Головачева, Т. Н. Свешникова. Этюды по типологии грамматических категорий славянских языков. М., 1995.

- Мирчев 1963 – К. Мирчев. Историческа граматика на българския език. София, 1963.
- Мельчук 1998 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. II. Часть вторая: Морфологические значения // Wiener slavistischer Almanach, Sonderband 38/2. Москва; Вена, 1998.
- Ницолова 1984 – Р. Ницолова. Прагматичен аспект на изречението в съвременния български книжовен език. София, 1984.
- Ницолова 1993 – Р. Ницолова. Когнитивни състояния на говорещия, епистемична модалност и темпоралност // Съпоставително езикознание. XVIII. 1993. № 3–4.
- Ницолова (в печати) – Р. Ницолова. Модализованная эвиденциальная система болгарского языка (в печати).
- Плунгян 2003 – В.А. Плунгян. Общая морфология. М., 2003.
- Aikhenvald 2003 – А.У. Aikhenvald. Evidentiality in typological perspective // А.У. Aikhenvald, Р.М.У. Dixon (eds.). Studies in evidentiality. Typological studies in language (TSL). V. 54. Amsterdam; Philadelphia, 2003.
- Booij 2002 – G. Booij. The morphology of Dutch. Oxford; New York, 2002.
- Bybee 1985 – J. Bybee. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
- Curnow 2001 – Т.У. Curnow. Evidentiality and me: The interaction of evidentials and first person. Proceedings of the 2001 Conference of the Australian linguistic society. 2001.
- De Haan 1999 – F. De Haan. Evidentiality and epistemic modality: setting boundaries // Southwest journal of linguistics. 18. 1999.
- Dendal, Tasmowski 2001 – P. Dendal, L. Tasmowski. Introduction: Evidentiality and related notions // Journal of pragmatics. 33. 2001.
- DeLancey 2001 – S. DeLancey. The mirative and evidentiality // Journal of pragmatics. 33. 2001.
- Duchet, Pěrnaska 1996 – J.-L. Duchet, R. Pěrnaska. L'admiratif albanais: recherches d'un invariant sémantique // Zl. Guenchéva (éd.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.
- Fitneva 2001 – S.A. Fitneva. Epistemic marking and reliability judgements: Evidence from Bulgarian // Journal of pragmatics. 33. 2001.
- Friedman 1982 – V.A. Friedman. Reportedness in Bulgarian: Category or stylistic variant? // K.E. Naylor, H.I. Aronson, B.J. Darden, A.M. Schenker (eds.) Slavic linguistics and poetics. Studies for Edward Stankiewicz on his 60-th birthday 17 November 1980. International journal of Slavic linguistics and poetics. XXV / XXVI. 1982.
- Guenchéva 1990a – Zl. Guenchéva. L'énonciation médiatisée en bulgare // Revue des études slaves. LXII. 1990. № 1–2.
- Guenchéva 1990b – Zl. Guenchéva. Valeur inférentielle et valeur "admirative" en bulgare // Съпоставително езикознание. 1990. № 4–5.
- Guenchéva 1993 – Zl. Guenchéva. La catégorie du médiatif en bulgare dans une perspective typologique // Revue des études slaves. LXV. 1993. № 1.
- Guenchéva 1995 – Zl. Guenchéva. L'énonciation médiatisée et les mécanismes perceptifs // J. Bouscaren, J.-C. Franckel, S. Robert (éds.). Langues et langage. Paris, 1995.
- Guenchéva 1996a – Zl. Guenchéva (ed.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.
- Guenchéva 1996b – Zl. Guenchéva. Le médiatif en bulgare // Zl. Guenchéva (ed.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.
- Kuryłowicz 1964 – J. Kuryłowicz. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Lazard 2001 – J. Lazard. On the grammaticalization of evidentiality // Journal of pragmatics. 2001. 33.
- Meydan 1996 – M. Meydan. Les emplois médiatifs de *mış* en turc // Zl. Guenchéva (éd.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.
- Plungian 2001 – V.A. Plungian. The place of evidentiality within the universal grammatical space // Journal of pragmatics. 2001. 33.
- Reichenbach 1966 – H. Reichenbach. Elements of symbolic logic. New York, 1966.
- Squartini 2001 – M. Squartini. The internal structure of evidentiality in Romance // Studies in language. 25. 2001. № 2.
- Slobin, Aksu 1982 – D.I. Slobin, A.A. Aksu. Tense, aspect and modality in the use of the Turkish evidential // Tense – aspect : Between semantics and pragmatics. Amsterdam; Philadelphia, 1982.
- Weigand 1925 – G. Weigand. Der Admirativ im Bulgarischen // Fortsetzung des Jahresberichtes des Instituts für rumänische Sprache. Bd I. Leipzig, 1925.
- Wierzbicka 1994 – A. Wierzbicka. Semantics and epistemology: The meaning of 'evidentials' in a cross-linguistic perspective // Language sciences. V. 16. 1994. № 1.
- Wierzbicka 1996 – A. Wierzbicka. Comparing grammatical categories across languages: The semantics of evidentials // Semantics: primes and universals. Oxford; New York, 1996.

© 2006 г. Г.Е. КРЕЙДЛИН

ИКОНИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ В ДИСКУРСЕ

Даже в тех ситуациях устного общения, когда речевые единицы являются преобладающими, доминирующими способами выражения и трансляции смыслов, последние, как правило, оформляются структурно и кодируются не одними только естественно-языковыми средствами, но также знаковыми элементами поз, мимики и знаковыми движениями различных частей тела. Важную роль здесь играют иконические жесты, которые в акте коммуникации отражают природный символический процесс представления мысли.

В статье описываются структура и дискурсивные функции иконических жестов разных семиотических классов, а также факторы, влияющие на производство, распознавание и интерпретацию иконических жестов в различных коммуникативных ситуациях.

1. ВВЕДЕНИЕ

Многие проблемы лингвистики и семиотики были, как известно, поставлены еще в античные времена. Одна из них фактически была сформулирована Платоном в его диалоге “Кратил” и получила известность в семиотике под именем “проблемы Кратила”. А именно ставится вопрос о том, каким образом мир и его различные фрагменты отображаются в естественном языке. Эту проблему необходимо распространить и на другие знаковые коды, ибо столь же важно сегодня понять, какова невербальная концептуализация мира, то есть как мир преломляется в мозгу человека и отражается в невербальных и, прежде всего, в соматических, или телесных, знаковых кодах. Теоретически на последний вопрос можно предложить два содержательных априорных ответа. Первый состоит в том, что если мы можем говорить о мире, пользуясь каким-то знаковым кодом и не обязательно непосредственно обращаясь к миру, то знаковые коды и реальность в определенной степени должны быть похожи друг на друга. Разумеется, психофизические способности и материально-телесная природа людей накладывают ограничения на концептуализацию мира и обработку знаний о нем, что применительно к телесному коду предполагает наличие рестрикций на свободу выбора жестовых знаков и моделей поведения при разговоре о мире и его фрагментах. Второй ответ заключается в том, что жестовые языки и мир – это абсолютно независимые друг от друга и не похожие одна на другую сущности, вследствие чего языки жестов отражают мир и его фрагменты весьма условно и по-разному причудливо.

Невербальная семиотика готова сегодня утверждать, что существование во всех известных нам языках тела – наряду с символическими и индексальными (по Ч. Пирсу) – жестовых иконических знаков свидетельствует лишь о большей или меньшей степени детерминизма и, если угодно, “иконизации” невербальной концептуализации и знаковой репрезентации мира и его частей. На протяжении истории невербальные знаки проходят долгий и сложный путь от иконических до символических единиц, от выражения конкретных и “простых” значений с помощью иконических форм к выражению сложных абстрактных идей при помощи форм символических. Даже в тех ситуациях устного общения, когда речевые единицы являются преобладающими, доминирующими способами выражения и трансляции смыслов, последние, как правило, оформляются структурно и кодируются не одними только естественно-языковыми средствами, но также знаковыми элементами поз, мимики и знаковыми движениями различных частей тела.

Как известно, термин “иконический” применительно к знакам впервые в семиотику ввел Ч. Пирс. Согласно данному Ч. Пирсом определению понятия **иконического знака**, или, как сам Ч. Пирс называл его, **иконы**, “иконический знак – это знак, который соотносится с обозначаемым объектом только посредством своих собственных характеристик, признаков, которыми знак обладает всегда, вне зависимости от того, существует такой объект в действительности или нет” (“An icon is a sign which refers to the object it denotes merely by virtue of characters of its own, and which it possesses, just the same, whether any such object actually exists or not” [Pierce 1931—1958, 1: 247]. Далее в той же работе (с. 276) Ч. Пирс пишет, что иконический знак служит для того, чтобы “представить объект в основном через сходство с ним, каким бы ни был способ существования объекта” (“to represent its object mainly by similarity, no matter what its mode of being”).

Иконические жесты, или кинемы, в акте коммуникации обычно выступают в функции эмблематических и иллюстративных знаков¹ и отражают природный символический процесс представления мысли. Слово “природный” я употребляю здесь в том смысле, что иконические жесты обычно репрезентируют физиологически естественные, “натуральные” движения тела, которые не поддаются сколько-нибудь содержательной классификации и в процессе означивания, то есть превращения в знаки или цепочки знаков, не нуждаются в каких-то особых социальных конвенциях.

В связи с иконическими жестами возникают исключительно важные и разнообразные по содержанию вопросы. Вот лишь некоторые из них.

Что из себя вообще представляет телесное отображение действительности и насколько человеческое тело пригодно и свободно для семиотической концептуализации мира? Какие концептуальные программы и когнитивные модели реализует данный иконический жест (или целый класс иконических жестов) и какие смыслы при этом выражаются? Какого рода артефакты и признаки выбирают разные культуры и жестовые языки для кодирования иконами? Какие характеристики объектов и действий легко имитировать, а какие трудно, и сколь велика эффективность узнавания и понимания иконических жестов в диалоге? Далеко не все эти проблемы даже поставлены, но все они ожидают своего решения.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И КЛАССЫ ИКОНИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ

В целом ряде работ (см. [Fomel 1987; Rozik 1998; Streeck 1987; Schegloff 1984]) было показано, что невербальные иконы, помимо того, что они выполняют изобразительную, назывную и коммуникативную функции, являются важным средством организации, то есть ориентации, упорядочения и структурирования, актуального коммуникативного взаимодействия людей. Иконический жест может изображать соотносимое с ним действие и получать интерпретацию как при наличии обязательного вербального контекста, выступая в функции иллюстративного жеста (иллюстратора), так и при отсутствии такового, исполняя роль эмблематического жеста, или эмблемы [Крейдлин 2002].

Начну как раз с иконических коммуникативных эмблем. Иконический эмблематический жест кодирует аспекты значения и выполняет коммуникативные функции, передавая смысловую информацию многими разными способами. Здесь можно выделить два крупных подкласса жестов по признаку их связи с референтами. Первый подкласс образуют знаки, у которых связь со своими референтами непосредственная, то есть которые, так сказать, напрямую отображают мир, – данное явление можно назвать **прямой иконичностью**. Такова, например, ситуация, когда человек объясняет или поясняет руками объекты: он рисует руками круг, прямоугольник или какую-либо кривую, изображает руками в воздухе рамку картины или изображает разнообразные по характеру движения, например, поворот ключа, открывающего входную дверь дома, или открыва-

¹ См. об иллюстративных жестах, или иллюстраторах, в книге [Крейдлин 2002].

ние дверцы автомашины. Или жестикулирующий передает движение молотка при забивании гвоздя: сжатая в кулак одна рука имитирует движение молотка в направлении к другой, статичной, руке, тоже сжатой в кулак и как бы держащей невидимый гвоздь. Второй подкласс состоит из коммуникативных икон-эмблем, каждая из которых похожа не на свой референт – объект и действие (событие), а на некоторый другой объект, лишь косвенным образом связанный с соответствующим референтом. Речь идет о так называемой **косвенной иконичности**. Косвенная иконичность чаще всего проявляется в ситуациях, когда референция к предмету или действию осуществляется посредством изобразительной метафоры, то есть когда предмет или действие отображаются не прямо сами по себе, а путем ассоциативной отсылки к другому предмету или событию. Например, это происходит при исполнении жеста, в котором указательный и средний пальцы жестикулирующего располагаются у рта: демонстрируется положение пальцев, которое бывает, в частности, во время курения, или им показывается сама сигарета. Косвенная иконичность проявляется также при реализации жеста, который условно назову “телефон” (изображается либо предмет, который находится у уха, то есть, по ассоциации, телефонная трубка, либо сам телефонный разговор); её можно увидеть и в детском жесте “выстрел”, иначе называемым “пистолет у виска”. Иконы этого подкласса обозначают также количество при счете, размер, объем и другие параметры объектов.

Иконические жесты образуют высказывания или участвуют в высказываниях, в которых одни жестовые знаки функционируют как субъекты пропозиции, а другие исполняют роль предикатов. Изображая поведение человека, можно одним жестом указать референт, то есть объект идентификации, скажем, указать на некоего человека головой или пальцем, а другим жестом сообщить о нем что-то, например, выпятив вперед живот, сказать этим, что данный человек толстый. Или, чуть наклонив вниз голову и подставив ладонь одной руки под глазами, изобразить другой рукой стекающие слезы, то есть показать жестом, что человек плачет.

Большинство русских иконических эмблем, участвуя в коммуникации и отображая некую ситуацию, однако, совмещают сразу обе функции – и субъектную и предикатную. Поднимая над головой вытянутую вертикально вверх руку, человек этим движением описывает, как правило, не человека и не высоту вообще, а обозначает некоего конкретного стоящего высокого человека или длинный вертикально стоящий предмет. Точно так же человек изображает высоту конкретного человека, располагая ладонь поднятой руки параллельно плоскости земли или пола. Имитируя закрытие или открытие форточки, жестикулирующий сообщает этим, либо что сам произведет (а может быть, уже произвел) соответствующее действие, либо что он просит сделать это адресата, и т.п.

Среди иконических жестов, причем не только эмблем, но и иллюстраторов, к которым я постепенно перехожу, выделяются знаки, играющие особенно важную роль в социальной коммуникации. К ним относятся, в частности, многие риторические и этикетные жесты. Примером риторических иллюстративных жестов, относящихся к основам ораторской техники, типичной, например, для Франции XVIII века, служат особые символические движения, иконически отображающие отдельные речевые ораторские приемы. Иконический эмблематический жест **кулак Дантона**² (физическая реализация: вытянутая вперед рука, пальцы сжаты в кулаке) тоже имеет риторическое употребление: оратор, подавляя речь, плотно сжимал губы и, выкатив глаза, устремлял кулак в сторону аудитории. Этот мануальный жест является очевидной невербальной метафорой, выражающей установку на отталкивание и одновременно на вторжение, проникновение в аудиторию, а также, что все эти действия происходят в актуальном настоящем времени. Говоря *Проходите, пожалуйста*, мы можем, даже если в данной конкретной ситуации вполне понятно, куда именно нас приглашают пройти, выразить валентность места-цели и направления невербальным способом, а именно этикетным знаковым движением

² Здесь и далее жесты выделены жирным шрифтом, а их языковые номинации – курсивом.

руки, отображающим одновременно и направление, и место-цель движения. Рука одного человека служит также опорой другому человеку. Так, помогая партнеру выйти из машины, сойти с лестницы, придерживая или ведя ее или его под руку, мы каждый раз совершаем этикетные иконические жесты руки, которая действует во всех перечисленных случаях как твердый предмет, как опора.

В отличие от эмблем, иконы-иллюстраторы, как, собственно, и остальные виды иллюстративных жестов, не способны передавать значение независимо от вербального контекста и никогда не употребляются изолированно от него. Однако в противоположность другим типам иллюстраторов, иконы-иллюстраторы формой и движением **изображают**, а не просто **обозначают** значение. И в тех случаях, когда иконический жест выступает в тексте вместе с речью, “изображаемое” значение весьма сложным образом коррелирует со смыслом сопровождаемых вербальных высказываний.

Важными подклассами иллюстративных (а также, впрочем, и эмблематических) иконических жестов являются **пространственные** и **временные маркеры**, **кинефонографы** и **кинетографы**.

Пространственные маркеры – это жесты, изображающие разнообразные пространственные отношения. В коммуникативном акте они показывают размер или расположение человека или объекта в пространстве, а также, например, дистанцию, отделяющую один объект или одного человека от другого. К пространственным маркерам относятся жесты “**вот какой**” (показывая этим жестом, в частности, рост или размер)³, “**от сих до сих**”, “**здесь**”, “**там**”, “**вон**”, “**вот такого роста**” (форма жеста: рука на нужной высоте расположена горизонтально поверхности земли ладонью вниз на высоте) и т.п.

По своим функциям и семантике некоторые из этих иконических жестов близки к дейктическим, или указательным, жестам.

Временные маркеры отображают временные отношения. Например, при произнесении высказывания *Он сделал это очень медленно (быстро)* скорость движущейся руки (часто наряду с амплитудой) может меняться в соответствии со сказанным. Точно так же разные мануальные движения коррелируют с растягиванием или, наоборот, с убыстрением произносимых слогов. Высказывание учителя математики *Я хочу, чтобы вы не торопились и, внимательно посмотрев на график, определили, с какой скоростью движется машина*, которую мне как-то довелось услышать, ничего не говорит о величине скорости, однако в тот момент рука учителя двигалась довольно быстро, невольно подсказывая учащимся, что скорость движения не была очень маленькой.

Кинефонографами являются жесты, соединяющие изображение движений тела или также отдельных частей тела человека или животного с речью либо с производимыми при этих движениях неречевыми звуками. Ср., например, изображение ходьбы человека попеременным движением указательного и большого пальцев или передачу галопа лошади с помощью быстрого перебирания и постукивания пальцев о некоторую поверхность, то есть с помощью кинемы, которая сопровождает звук, имитирующий стук копыт, изображение полета птицы. Еще один пример кинефонографа – это имитация детьми звука и движения вращающихся колес паровоза или поворачивающегося руля автомобиля. Особый подкласс кинефонографов составляют жесты, которые отображают также путь и движение человеческой мысли.

Кинетографами являются кинемы, изображающие произвольные действия, за исключением собственно движений, и имитирующие траекторию, силу и некоторые другие параметры действий, а также сопровождающие их звучания. Примером кинетографов служат кинемы, иконически изображающие резание или сгибание предмета, резание ножницами, удар молотка, лепку. Имеются кинетографы, имитирующие петлю или другие фигуры высшего пилотажа, которые исполняет самолет. Есть кинетограф “слу-

³ Если жест в данном языке жестов не имеет стандартного обозначения, то последнее берется в кавычки.

шаю” (форма жеста: человек выгибает ладонью руки ухо в направлении собеседника, удерживая ухо некоторое время в таком положении), кинетографы, изображающие закрываемую с силой книгу или показывающие деньги. В последнем случае икона представляет собой жест со следующей формой: указательный и большой пальцы трутся друг о друга, имитируя шелест денег при счете или различных платежных операциях.

З а м е ч а н и е. Д. Эфрон, который, видимо, первый рассмотрел такие жесты, для их обозначения использовал близкие, но не тождественные по объему и содержанию термины **идеографические жесты** и **кинетографические жесты**. Под идеографическими жестами он понимал “gestures which trace or sketch out in the air the path and direction of thought” (‘жесты, которые вычеркивают или схематически изображают в воздухе путь и направление движения мысли’). А под кинетографическими жестами он имел в виду “gestures that depict a bodily action” (‘жесты, которые изображают телесное движение’) [Efron 1941 / 1972: 10–11].

3. ИКОНИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ И ИХ СВОЙСТВА

Способы изображения значения у разных невербальных икон, не важно эмблемы это или иллюстраторы, бывают разными. Несмотря на исходно биологическую, а потому, казалось бы, универсальную природу и способ выражения значения, иконические жесты разных культур в общем случае не совпадают: культурная и языковая специфика сказываются как на физической реализации жестов, так и на особенностях выражаемых ими значений. Именно по этой причине жестовые иконы одних культур не всегда распознаются и понимаются представителями других культур. Так, по данным известной французской исследовательницы Ж. Кальбрис, из 34 французских жестов, большинство которых были иконическими и которые были ею предложены для распознавания венгерским и японским испытуемым, венгры смогли узнать только 11 единиц, а японцы – и того меньше, причем существенно, а именно 6 [Calbris 1990: 38]. Даже введение явной подсказки, очевидного невербального ключа, указывающего на связь жеста с конкретным объектом-референтом или значением, как правило, не приводило к правильной интерпретации жеста. Например, проведение на уровне пояса ребром руки с опущенной вниз ладонью горизонтальной линии поперек туловища, помимо выражения смысла насыщения или пресыщения (примерно значение – ‘наелся’), интерпретировалось информантами также и совсем другими способами. Одни опрашиваемые трактовали данное движение как имеющее форму прямой линии, проведенной на уровне живота и выражающее идею ‘ниже пояса’. Другие видели в этом жесте линию, фиксирующую середину туловища и передающую идею ‘средне, так себе’, то есть рассматривали данную невербальную единицу как эквивалент французского *comme ci, comme ça*. Третьи считали, что такая прямая показывает уровень, который не следует превышать (это семантика ограничения, что-то вроде ‘достал, вот ты где у меня’). Четвертые рассматривали ту же линию как разделительную черту, однако ориентированную на нижнюю половину тела, а само движение интерпретировали как невербальный знак, передающий идею низа, то есть понимали его как вульгарный, обценный жест, связанный своей семантикой с местоположением гениталий.

Существуют, однако, весьма сильные связи и мотивации исполняемых жестовых движений и выражаемых ими значений, являющиеся хорошим диагностическим ключом для понимания скрытых психических процессов. Например, собранные мной данные по разным жестовым языкам и культурам говорят о том, что контакт руки / рук с головой во всех этих языках и культурах актуализирует представление об основных функциях и свойствах именно этих частей тела. Прикладывание ладони или пальцев руки к голове, различные жестовые движения руки в области головы (см. жесты **обхватить голову руками**, **приложить палец к виску** или **приложить ладонь ко лбу**, **погладить по голове**, **хлопать по лбу** и пр.) свидетельствуют о различных функциях, традиционно приписываемых обществом голове. В частности, все эти жесты говорят о том, что голова отвечает за интеллектуальную деятельность человека (ср. смыслы ‘размышление’, ‘вспоминание’, ‘забывание’, ‘осмысление текущей ситуации’ и т.д.). Исполняя жесты **трясти головой** или **потирать голову руками**, человек показывает, что некое событие вызвало у не-

го недоумение или непонимание, и он как бы встряхивает и приводит в движение мысль, чтобы понять случившееся. Таким образом, иконический элемент значения имеется и у всех этих, символических (по Ч. Пирсу), жестов.

Жесты, активным органом при воспроизведении которых является рука, а пассивным – голова, иконически напоминают нам о тех человеческих качествах, которые связаны с реализацией некоей психической деятельности, локализуемой в голове (ср. невербальные выражения таких качеств, как ум, безумство, душевное расстройство, упорство / упрямство, отчаяние и т. п.). Такое движение, как обхватывание рукой горла, свидетельствует о внезапно появившемся комке в горле, о наступившем или подступающем удушье, о боли в горле, а жест **закрыть рукой глаза** говорит о нежелании видеть или желании, чтобы тебя не видели, об усталости глаз и т.д.

Приведенные примеры показывают, что для многих иконических жестов можно обнаружить и описать глубокую внутреннюю и неслучайную связь между формой и значением, хотя, следует признать, что в большинстве случаев поиск мотивации в форме, структуре и особенностях того или иного жестового движения напоминает разгадывание крайне непростой, а то и попросту неразрешимой загадки.

Как мне кажется, последнее происходит по причине, о которой я уже вскользь говорил, а именно потому, что иконические знаки, если воспользоваться терминологией Г. Фреге [Фреге 1952], скорее **показывают** или **изображают** (show, depict) значение, чем **обозначают** (denote) его. Вместе с тем ни форма иконического знака-жеста, ни характер движения не позволяют на все сто процентов правильно извлечь значение из физической реализации, то есть формы, жеста. Почти всегда дополнительно требуется соотнести и отождествить какой-то фрагмент контекста, как правило, вербального, с жестовыми коррелятами.

В связи с этим можно задаться вполне естественным вопросом: а зачем люди вообще тогда производят иконические жесты? Ведь получается, что иконические жесты – это знаки, очевидным образом избыточные и не нужные для выполнения тех обычных коммуникативных задач, которые стоят перед участниками диалогического общения.

Чтобы попробовать ответить на поставленный вопрос, я приведу сначала три примера употребления иконических жестов западных культур, которые я взял из разных статей по кинесике⁴. Я привожу здесь эти примеры с одной-единственной целью – продемонстрировать формальное и смысловое разнообразие и самих иконических жестов и ситуаций их употребления.

Первый пример заимствован мной из статьи [Riseborough 1981].

“Что-то вроде длинной цилиндрической шляпы”. Эта фраза произносится в сопровождении такого жеста: руки сложены вместе на уровне груди, каждая отображает цилиндрическую форму, затем руки постепенно разъезжаются, раздвигаются в горизонтальном направлении до тех пор, пока каждая не вытянется во всю длину.

Второй пример взят из статьи [McNeil 1986].

Рассказывая о сети проводов, установленных на фуникулере, человек поднимает вверх обе руки вместе, пальцы моментально складываются в замок.

Третий пример содержится в работе [Kendon 1980].

Фраза *У них был во какой* (или: *вот такой*) **большой торт!** сопровождается круговым движением или серией круговых движений предплечьем и кистью руки с направленным вниз выпрямленным указательным пальцем. Высказывание *Какой большой торт!* уместно лишь в той ситуации, когда торт находится в поле зрения говорящего и слушающего, а жест, изображающий большой торт, уместен лишь тогда, когда слушающий не видит торт и чтобы восполнить это упущение, говорящий показывает слуша-

⁴ Примерами русских иконических жестов, отличные от тех, что даны выше, являются жесты **надутые щеки**, **выпятить живот**, “**плавание**”, “**спать хочется**” (форма: руки под голову, голова наклонена, будто покоится на подушке, глаза закрыты), “**бинокль**”, “**подзорная труба**”, “**клавиатура (печатной машинки или компьютера)**”, “**игра на барабанах (или ксилофоне)**” и др.

ощему, как выглядит торт. Фраза, сопровождающая описанный жест, может звучать, например, так: *У них был вот такой большой торт!*

Теперь обращусь к некоторым факторам, влияющим на распознавание и интерпретацию иконических жестов.

4. ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИКОНИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ

И при синтезе устного текста, когда принимается во внимание взаимодействие словесного и жестового кодов, и при анализе встречающихся в таком тексте употреблений иконических иллюстраторов и иконических эмблем необходимо учитывать фактор времени, прежде всего, временного тактиса. В частности, опережение, синхронность или запаздывание жеста, аккомпанирующего речи или иллюстрирующего речь⁵, помогают уточнить, а иногда и дополнить выражаемый жестом смысл.

Исходное предположение здесь у большинства исследователей жестов по сути дела одно и то же, поскольку оно представляется довольно естественным. Его можно сформулировать примерно так: если когнитивная связь вербального и жестового каналов существует, то процессы вербализации и жестикуляции должны хотя бы частично перекрываться по времени. Известный американский психолог и специалист по невербальной семиотике А. Кендон в своей работе [Kendon 1985] приводит пример использования иконических иллюстраторов, соотносимых с целым блоком идей, и наложения смыслового содержания, выражаемого жестом, на содержание, кодируемое языковыми единицами. Когда дочь говорит матери *You don't know anything about it* 'Ты ничего об этом не знаешь' и, как бы отгалкивая её, сопровождает сказанное жестом – движением руки в сторону с ладонью, повернутой к лицу матери, – то, как пишет А. Кендон, можно думать, что этот жест дополняет сразу же последовавшую за первой вторую фразу дочери *Don't interfere it with business* 'Не путай это с бизнесом' и частично накладывается на него.

Было неоднократно и вполне убедительно показано, что обычно слова, идущие в дискурсе задолго до или много позже воспроизводимого жеста, с ним не связаны. Установлено также, что если неиконические иллюстраторы, такие как, например, жестовые ударения, взаимодействуют преимущественно с супraseгментными (ударением, тоном) и отдельными сегментными фонологическими единицами, в частности с встречающимися на границах морфем, то иконические иллюстраторы связаны главным образом с лексикой текста.

У большинства иконических иллюстраторов есть подготовительная фаза, или **экзкурсия** [Крейдлин 2002], во время которой рука движется к стартовому положению со сравнительно небольшой скоростью [Nadar, Butterworth 1997: 154]. Иконические иллюстраторы, как утверждают в указанной работе У. Хадар и Б. Баттерворф, обычно начинаются перед речевым сообщением, но не сразу, а с небольшой временной задержкой. Среднее временное запаздывание (mean time lag, в терминологии авторов) по их данным составило порядка 1 сек, а вариативность запаздывания находилась в пределах от 0 до 2,5 сек. Заканчивались же иконы спустя примерно 1,5 сек после того, как начинались их лексические спутники (affiliates).

5. СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИКОНИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ

Теперь посмотрим, имеются ли общие структурные характеристики, объединяющие все иконические жесты. Тут на помощь приходят исследования специалистов в области биологии и математической теории сложности движений. Как это не раз предлагалось

⁵ Об аккомпанирующих и собственно иллюстративных жестах – этих двух важнейших дискурсивных типах иллюстративных жестов – см. [Печерская 2002].

делать, сложность движения можно измерять количеством векторных поворотов при его производстве, то есть количеством смен направлений в геометрии движения, и геометрическим образом или схемой траектории движения.

Иконические иллюстраторы по меньшей мере тремя структурными характеристиками отличаются от еще более высокочастотных аккомпаниаторов – жестов-ударов.

Во-первых, все иконы-иллюстраторы имеют не менее чем два векторных компонента и несколько поворотов, что противопоставляет их более простым в этом отношении жестовым ударам, имеющим обычно один векторный жестовый компонент или, в крайне редком случае два, производимым с одной и той же силой, но в противоположных направлениях.

Во-вторых, в отличие от жестов-ударов, иконы-иллюстраторы имеют довольно широкую амплитуду [Nadar, Butterworth 1997: 151].

В-третьих, по причине своей широкой амплитуды они являются единицами, относительно продолжительными в воспроизведении: большинство из них длится, как правило, более чем полсекунды⁶.

Рассмотрю здесь лишь один пример. Среди русских иконических иллюстраторов есть жест “то ли так, то ли так” (по форме совпадающий с английским “so-so”), отражающий колебания в выборе одного из членов альтернативы. Однократный или двукратный поворот кисти руки вправо-влево (либо наоборот, сначала влево, потом вправо) с широкой для кисти амплитудой поворота и не очень быстрый по времени, в особенности, если выбор решения затруднителен, иконически передает это мысленное колебание жестулирующего.

6. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИКОНИЧЕСКИХ ЖЕСТОВ

Закljučая анализ иконических жестов, я рассмотрю отдельно важнейшие контекстуальные характеристики икон-иллюстраторов.

Иконические жесты-иллюстраторы, по крайней мере русские жесты, возникают обычно по соседству с теми участками устного дискурса, где у адресанта теряется беглость речи. По своему происхождению и по роли в контексте иконические иллюстраторы, видимо, делятся на два класса.

Одни жесты, по-видимому, рождаются в ходе **концептуального планирования речи**, отражая сам процесс планирования, тогда как другие являются внешней манифестацией иного процесса – процесса **порождения речи**. То, что иллюстратор, соседствующий с речью, демонстрирует смысловую соотнесенность со своим лексическим спутником, означает не только то, что какой-то аспект семантики данного высказывания определен до лексического выбора и до порождения жеста, но и что в замысел говорящего уже входило то, каким, вербальным или жестовым, способом будет передан данный смысл.

Иконические иллюстративные жесты выполняют несколько контекстных функций.

Прежде всего, (1) они облегчают порождения речи, и проявляется это в целом ряде внешне наблюдаемых фактов. Так, человек, не желающий употребить в речи некоторое слово или выражение и пытающийся не допустить возникновения в разговоре нежелательной паузы, так сказать, “тянет время”. Употребляя вместо слова жест (обычно это неопределенный по направлению и амплитуде жест руки), он делает общение непрерывным или более гладким.

Далее, (2) с помощью иконических иллюстраторов и жестуляции один партнер может подсказать другому нужное, но сейчас забытое слово (“помню, но забыл”).

(3) Наконец, исполняемые иллюстративные жесты, отображающие изобразительно самые разнообразные элементы и аспекты ситуации, существенно способствуют по-

⁶ Соответствующие данные о невербальном поведении носителей русской культуры содержатся в работе [Печерская 2002], французский материал по этой теме частично представлен в статье [Рико-Кассар 2005].

рождению устного текста. Например, пытаясь вспомнить реплику из некогда имевшего место диалога или желая подобрать точно выражающее мысль слово, жестикулирующий человек восстанавливает в памяти разнообразные аспекты репрезентируемой ситуации и вспоминает, кто были участники того диалога, как они были одеты, что делали, а также более наглядно представляет внешний контекст диалога, происходившего в прошлом. Он **чесет голову, морщит лоб, приоткрывает рот, щелкает пальцами, смотрит в одну точку**, например, вбок или вверх, как бы прерывая связь с миром, **закрывает лицо руками** и др.

Согласно существующим представлениям о том, как происходит порождение речи, и моделям порождения, поиск необходимой лексической единицы проходит две стадии.

На первой стадии, исходя из имеющейся к данному моменту концептуальной и смысловой спецификации (конкретизации), ищется абстрактная лексическая единица соответствующего содержания. Этот первый промежуточный этап на пути к окончательному выбору адекватного поверхностного имени лексемы в литературе часто называют «построением семантического лексикона»⁷, или лемматизацией (lemma retrieval)⁸.

На второй стадии информация, полученная на первом этапе, используется для поиска адекватной фонологической или графической формы слова (или отдельной лексемы в случае полисемии) в существующем фонологическом или графическом фонде языка, то есть предполагается, что форма берется из имеющихся лексиконов⁹.

В терминах данной модели порождения лексики устного текста семантическая приемлемость жеста может зависеть, таким образом, от смысловой спецификации, которая открывает путь к лексикону или облегчает к нему доступ. И вероятный функциональный кандидат на роль жеста – это тот знак, который может демонстрацией отдельных смысловых комплексов облегчить лексический поиск.

Иконические иллюстративные жесты, как было показано в целом ряде экспериментов и как отмечается в работе [Nadar, Butterworth 1997: 159–161], связывают речь на обоих стадиях обработки – и, так сказать, на постсемантической, и на предречевой. Тесная связь жестов с ситуацией затрудненности или дефицита речи дает основания полагать, что они активно участвуют в процессе облегчения порождения речи и отражают некоторые особенности этого процесса.

Первое фундаментальное допущение, которое здесь неявным образом принимается, таково: в процессе производства устной речи концептуальная обработка информации активизирует визуальные, жестовые, тактильные и другие невербальные каналы передачи информации и соответствующие образы. Делается это, предположительно, автоматически и, предположительно, в той мере, в которой признаки, участвующие в такой обработке, помогают вызвать мысленный образ объекта.

Некоторое подтверждение сформулированной гипотезы можно найти в реально наблюдаемых фактах, показывающих, что иконические жесты и мимика являются самыми ранними формами жестовой коммуникации как в онтогенезе (см. информацию на сей счет, в частности, в книгах [McNeil 1992; Крейдлин 2002]), так и в филогенезе [Kimura 1979: 197–220]. Например, с жестами и мимикой мы можем встретиться еще до словесных выражений, подобно тому, как мы наблюдаем движения глаз или губ еще до чтения вслух или во время чтения. Такие телесные движения не являются результатом всецело интенционального процесса, но после того, как они начались, их волевым усилием можно прекратить.

⁷ См., например, работы [Howard, Franklin 1988; Butterworth 1989].

⁸ См., в частности [Kempen, Huijbers 1983; Levelt 1989].

⁹ В действительности, ситуация выглядит несколько более сложной: фонологические и графические единицы могут тоже конструироваться из имеющихся или даже из частей имеющихся единиц. Ср. образование аббревиатур, неологизмов, сложных единств типа окказиональных имен *Никуда-не-годник*, *Как-бы-чего-не вышло*, паразыковых единиц – аналогов междометий типа *мммм!*, *ц-ц-ц* либо производных от междометий слов, не представленных в словарях, таких как *о.охоношки*, *<все эти> хихаханьки*, *огогошеньки* и т.п.

Второе, столь же важное, допущение состоит в том, что визуальный, тактильный или иной сенсорный образ являются посредниками между концептуальной обработкой информации и порождением иконических жестов. Предполагается, например, что возникающий визуальный образ облегчает поиск и нахождение слова при синтезе устного текста. Это происходит благодаря трем разным операциям: (а) фокусированием внимания на каком-то аспекте или фрагменте при концептуальной обработке, (б) постоянным наблюдением за ключевыми признаками во время смыслового отбора и (в) отслеживанием того, как проходит непосредственная активизация форм слов в фонологическом лексиконе. Неудачи при поиске слова дают возможность выявить черты образа или мысленного представления и определить, что представляют собой связанные с этими чертами жесты.

Д. МакНил [McNeil 1992] утверждает, что жесты возникают на ранней стадии построения сообщения, или, в его терминологии, “коммуникативной динамики” (“communicative dynamics”), то есть тогда же, когда порождается и языковой материал (“linguistic production”). По словам ученого, жестовые знаки проходят путь от когнитивного представления через образную репрезентацию смысла к выражающей его моторной артикуляции, при этом постоянно соединяясь и взаимодействуя с речью. Однако жесты, как считает Д. МакНил, совсем не обязательно связаны с лексическим выбором.

Его оппоненты У. Хадар и Б. Баттерворф [Nadar, Butterworth 1997] с таким выводом Д. МакНила не согласны, и я к ним присоединяюсь. Они полагают, что их представление, закрепленное в модели порождения устного текста, которую они предлагают, гораздо лучше объясняет факты соединения вербальной и жестовой продукции. Они проверили свою гипотезу (и подтвердили ее на большом материале), что жесты с низкой смысловой конкретизацией, то есть жесты более абстрактные и менее определенные по смыслу, должны давать большие временные задержки и с большей вероятностью появляться в “предсловных” и “предсентенциальных” позициях, чем жесты с высокой смысловой конкретизацией. Нарушение этой закономерности употребления обычно порождает коммуникативный конфликт.

Модель, предлагаемая У. Хадаром и Б. Баттерворфом, объясняет также и то, почему люди, испытывающие семантические трудности, производят больше пред-лексических (до-семантических) жестов, а люди, испытывающие затруднения в поиске фонологического оформления смысла, производят больше пост-лексических (пост-семантических) жестов.

Иконические иллюстраторы могут, разумеется, выполнять отдельные коммуникативные функции, но по отношению к той совокупности когнитивных функций, которые они выполняют, передача информации является не основным, а вторичным, второстепенным их назначением. Однако еще до того, как рассматривать значение и поведение иконических жестов в контексте, в котором они встречаются или могут встретиться, и строго описать их функциональное назначение, следовало бы для каждого из этих жестов определить, что представляют собой те смыслы и когнитивные идеи, которые они призваны кодировать и передавать. К сожалению, приходится констатировать, что сегодня ни для одной культуры и ни для одного языка жестов не существует ни объяснительных словарей, ни хотя бы отдельных описаний основных иконических телесных единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Крейдлин 2002 – Г.Е. Крейдлин. Невербальная семиотика. М., 2002.
Печерская 2001 – И.Б. Печерская. Семантика лекторского жеста. Дипломная работа слушателя 2 курса. Институт европейских культур. М., 2001 (рукопись).
Рико-Кассар 2005 – Ф. Рико-Кассар. Сопоставительный анализ невербального знакового поведения французских и русских лекторов во время лекций // Московский лингвистический журнал. Т. 8. № 2. 2005.
Фреге 1952 – Г. Фреге. О смысле и значении. М., 1952.

- Butterworth 1989 – *B. Butterworth*. Lexical access in speech production // W. Marslen-Wilson (ed.). Lexical representation and process. Cambridge (Mass.), 1989.
- Calbris 1990 – *G. Calbris*. The semiotics of French gestures. Bloomington, 1990.
- Efron 1941 / 1972 – *D. Efron*. Gesture and environment. New York, 1941 (2-nd edition – Gesture, race and culture. New York, 1972).
- Fornel 1987 – *M. de Fornel*. The relevance of gesture to repair in conversation // International pragmatics conference. Abstracts. Antwerp, 1987.
- Hadar, Butterworth 1997 – *U. Hadar, B. Butterworth*. Iconic gestures, imagery, and word retrieval in speech // *Semiotica*. V. 115. № 1–2. 1997.
- Howard, Franklin 1988 – *D. Howard, S. Franklin*. Missing the meaning. Cambridge (Mass), 1988.
- Katz 1975 – *J. Katz*. Semantic theory. New York, 1975.
- Kempen, Huijbers 1983 – *G. Kempen, P. Huijbers*. The lexicalization process in sentence production and naming: Indirect selection of words // *Cognition*. 14. 1983.
- Kendon 1980 – *A. Kendon*. Gesticulation and speech: Two aspects of the process of utterance // M.R. Key (ed.). The relationship of verbal and nonverbal communication. The Hague, 1980.
- Kendon 1985 – *A. Kendon*. Some uses of gesture // D. Tannen, M. Saviile-Troike (eds.). Perspectives on silence. Norwood (New Jersey), 1985.
- Kimura 1979 – *D. Kimura*. Neuromotor mechanisms in the evolution of human communication // H.D. Steklis, M.J. Raleigh (eds.). Neurobiology of nonverbal communication in primates: An evolutionary perspective. New York, 1979.
- Levelt 1989 – *W.J. Levelt*. Speaking: From intention to articulation. Cambridge (Mass), 1989.
- McNeil 1986 – *D. McNeil*. Iconic gestures of children and adults // *Semiotica*. 62. 1/2. 1986.
- McNeil 1992 – *D. McNeil*. Hand and mind. Chicago, 1992.
- Pierce 1931–1958 – *Ch.S. Pierce*. Collected papers of Charles Sanders Pierce / Ch. Hartshorne, P. Weiss, A.W. Burks (eds.). V. 1–8. Cambridge (Mass), 1931–1958.
- Riseborough 1981 – *M.G. Riseborough*. Physiographic gestures as decoding facilitators: Three experiments exploring a neglected facet of communication // *Journal of nonverbal behavior*. 5. 1981.
- Rozik 1998 – *E. Rozik*. Ellipsis and surface structures of verbal and nonverbal metaphor // *Semiotica*. 119. № 1/2. 1998.
- Schegloff 1984 – *E.A. Schegloff*. On some gestures' relation to talk // J.M. Atkinson, J.S. Heritage (eds.). Structures of social action. Cambridge, 1984.
- Streeck 1988 – *J. Streeck*. The signification of gesture: how it is established // *Papers in pragmatics*. II. № 2. 1988.

© 2006 г. С.И. БУРКОВА

К ВОПРОСУ О БАЗОВОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ ПРИЧАСТИЙ В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ*

Ненецкие причастные формы имеют неоднозначную трактовку в научной литературе, что связано со сложностью их внутреннего содержания и многообразием синтаксических функций. В статье обсуждаются следующие вопросы: какие значения причастных форм являются исходными, служащими базой для развития других значений; в каких условиях реализуются те или иные семантические варианты причастий; чем отличаются синонимичные на первый взгляд конструкции с причастием и конструкции с другими формами глагола в той же позиции. Исследование показывает, что система причастий в ненецком языке основана на противопоставлении двух семантически симметричных фазовых значений – континуатива и ретардатива, и двух семантически симметричных значений качественной аспектуальности – проспектива и перфекта.

1. ВВЕДЕНИЕ

В ненецком языке имеются четыре причастные формы¹:

1) причастие с аффиксом =на/ =да/ =та (т)², =на/ =та/ =ча (л): *тилди=на* (л) [жить=PrP] ‘живущий’;

2) причастие с аффиксом =вы/ =вэ/ =мы/ =мэ (т), =мы/ =мэ/ =мый/ =мэй (л): *тилди=мы* (л) [жить=PP] ‘живший’;

3) причастие с аффиксом =ванда/ =внда/ =манда (т), =ванта/ =внта/ =манта/ =мнта (л): *тилди=внта* (л) [жить=PrD] ‘тот, кто будет жить’;

4) причастие с аффиксом =вадавэй/ мадавэй (т), =ватамэй/ =втамэй/ =ватамы/ =ватмы (л): *тилди=ватамэй* (л) [жить=PrC] ‘тот, кто еще не жил’.

Причастные формы отмечались всеми исследователями ненецкого языка, начиная с М.А. Кастрена [Castrén 1854: 368]. В отечественной научной литературе категория причастия в ненецком языке рассматривалась в работах Г.Н. Прокофьева, Н.М. Терещенко, А.М. Щербаковой, К. Лабанаускаса [Прокофьев 1937; Терещенко 1952; Щербакова 1960; Лабанаускас 1974]. Однако в настоящее время ни функционирование ненецких причастий, ни, в особенности, выражаемую ими грамматическую семантику нельзя считать достаточно исследованными. Сложность задачи истолкования граммем связана с тем, что “важнейшие элементы их значений спрятаны в трудно уловимые компоненты: пресуппозиции, модальные рамки, рамки наблюдения” [Апресян 1985: 64]. Ненецкие причастия отличаются высокой полифункциональностью, каждая из названных форм

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ (грант № 01-04-273а) и Президиума СО РАН (экспедиционные гранты 2001–2004 гг.).

¹ Вопрос о терминологическом обозначении ненецких причастий будет обсуждаться далее, поэтому пока для удобства изложения мы будем обозначать причастные формы по их базовым алломорфам в тундровом диалекте ненецкого языка: форма =на, форма =вы, форма =ванда и форма =вадавэй. В глоссах мы используем соответствующие условные обозначения, принятые в работах по ненецкому языку: PrP, PP, PrD и PrC. Полный список условных обозначений см. в конце данной статьи.

² (т) – тундровый диалект; (л) – лесной диалект.

может выражать разные, порой достаточно далекие друг от друга значения. При выводе их грамматической семантики необходимо учитывать комплекс различных факторов: синтаксическую функцию причастия, выражаемое им при этом значение, сочетаемость с лексической и аспектуальной семантикой глагольной основы, сочетаемость с обстоятельствами временной детерминации, наличие показателей модальности в предложении, контекст. Целью данной статьи является попытка ответить на следующие вопросы: 1) какие значения причастных форм считать исходными, служащими базой для развития других значений; 2) в каких условиях реализуются те или иные семантические варианты причастий; 3) чем обусловлен выбор говорящего между синонимичными на первый взгляд конструкциями с причастием и с другими формами глагола в той же позиции в предложении.

Материалом для исследования послужила сплошная выборка из текстов на тундровом диалекте ненецкого языка, а также данные лесного диалекта, полученные нами во время экспедиций (п. Варьеган Нижневартовского района Тюменской области Ханты-Мансийского АО, 2001–2004 гг.; Пуровский район Ямало-Ненецкого АО, 2003 г.).

Справка

Ненецкий язык, наряду с энецким, нганасанским и селькупским языками, принадлежит к самодийской ветви уральской языковой семьи и является языком наиболее многочисленной народности из числа говорящих на самодийских языках³.

В морфологическом отношении ненецкий язык относится к агглютинативному типу. Вместе с тем ему свойственны черты внутренней флексии, поэтому структура слова не всегда оказывается прозрачной. В синтаксическом отношении это язык номинативного строя. Характерен устойчивый порядок слов SOV, при котором подчиняемые слова располагаются перед подчиняющими. Подлежащее, как правило, помещается перед сказуемым, замыкающим предложение. Обычный порядок слов может нарушаться – тот член предложения, на который падает логическое ударение, передвигается ближе к сказуемому.

По территориально-фонетическому принципу в ненецком языке выделяются два диалекта – тундровый и лесной.

Наиболее существенные различия между диалектами, значительно затрудняющие взаимопонимание их носителей, наблюдаются в области фонетики. В лесном диалекте, в отличие от тундрового, отсутствует противопоставление согласных по звонкости/глухости: все согласные, кроме сонорных, являются глухими; имеется переднеязычный глухой латеральный [ɮ], который употребляется, в частности, на месте тундрового [p], а также ряд среднеязычных согласных [Попова 1978].

В области грамматики также отмечается ряд расхождений: 1) различается система косвенных склонений – в тундровом диалекте, в отличие от лесного, имеются суперпробабилитив и второй облигатив, а показатели пробабилитива в диалектах имеют различное происхождение; 2) не совпадает набор инфинитных глагольных форм – в тундровом диалекте, в отличие от лесного, имеются супин и эвазив; 3) различаются способы выражения некоторых обстоятельственных отношений в полипредикативных конструкциях, связанные с различиями в составе инфинитных форм; 4) в лесном диалекте, по сравнению с тундровым, гораздо чаще отмечается неформальность прямого дополнения показателем аккузатива и т. д.

Расхождения между диалектами в области лексики наблюдаются как по линии словообразования с использованием общего лексического запаса, так и по линии происхождения ряда знаменательных и служебных слов.

Причастия в тундровом и лесном диалектах не различаются по составу и происхождению и практически не различаются по своему функционированию (исключение составляет сочетаемость причастных аффиксов с показателем пробабилитива). Указанное отсутствие различий дает

³ Общая численность ненцев – 34 тыс. 665 чел. (перепись 1989 г.). Ненцы расселены на обширной территории, западной границей которой является восточное побережье Белого моря, восточной – нижнее течение Енисея. Северная граница расселения ненцев проходит по побережью Северного Ледовитого океана с прилегающими островами: Колгуевым, Вайгачем, Новой Землей, а южная – по водоразделу сибирских рек (притоки Оби).

возможность в данной статье, при анализе грамматической семантики ненецких причастий, опираться на данные обоих диалектов.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕНЕЦКИХ ПРИЧАСТИЙ

Причастные формы в ненецком языке могут образовываться от производных и непроизводных глагольных основ, управлять падежом имени и сочетаться с наречиями.

Ненецкие причастия, как и причастия других самодийских языков, полифункциональны – они могут выступать в предложении в атрибутивной, актантной, предикативной и, реже, сирконстантной функциях (см. [Терещенко 1952; Коваленко 1992; Сорокина 1986]). В отличие от других инфинитных форм, в частности от деепричастия, причастие в ненецком языке может выступать как в позиции зависимой, так и независимой предикации, самостоятельно или в качестве лексического компонента аналитической конструкции.

Причастия с показателями *=на* и *=вы* часто субстантивируются или адъективируются. Утрачивая управление падежом имени и возможность сочетаться с наречиями места, времени и образа действия, они приобретают значение предметности или качественно-го признака. Например, *каллитана* (л) ‘рыбак’, *париденя* (т) ‘черный’, *виви’’та* (л) ‘умный, разумный’ *ва’’ламы* (л) ‘остаток’, *патмы* (л) ‘пестрый’ – это бывшие причастия от соответствующих глагольных основ *каллита=* (л) ‘ловить рыбу’, *париде=* (т) ‘быть черным, чернеть’, *виве’’=* (л) ‘думать’ *ва’’ла=* (л) ‘браковать, лишать чего-л.’, *пата=* (л) ‘написать, нарисовать’.

Причастия в ненецком языке морфологически не различаются в отношении залога. Залоговое значение той или иной формы определяется общим контекстом и переходностью/непереходностью глагола. Так, например, причастие от глагола *четимьяш* (л) ‘знать’ в словосочетании *четимья =на неша* может иметь две интерпретации: ‘знающий человек’ и ‘знакомый человек’.

3. ПРИЧАСТИЕ С ПОКАЗАТЕЛЕМ =НА

В работах по ненецкому языку причастие с аффиксом *=на* интерпретируется либо как форма с имперфективным⁴ значением: причастие совершающегося действия [Прокофьев 1937; Терещенко 1952; Серебренников 1964; Вербов 1973], *imperfective participle* [Hajdú 1988; Salminen 1997]; либо как форма с временным значением: причастие неопределенного времени [Куприянова, Бармич, Хомич 1985], *aorist participle* [Sammallahti 1974].

Основные синтаксические функции этого причастия – зависимое сказуемое определительной и обстоятельственной полипредикативной конструкции. Реже эта форма используется в одном из типов изъяснительных конструкций, а также в качестве компонента аналитической формы зависимого сказуемого основной конструкции. Причастный формант *=на* может также включаться в состав глагольной словоформы предположительного наклонения и наклонения кажущегося действия.

Интерпретация причастия *=на* как формы с имперфективной семантикой не объясняет всех случаев его употребления. Во-первых, для передачи значений, связанных с выражением внутренней структуры ситуаций, имеющих длительность, т.е. состояний и процессов, в ненецком языке имеется богатый арсенал глагольных аффиксов. Рассматриваемое причастие образуется, как правило, от производных или непроизводных ос-

⁴ Имперфективные значения представляют ситуацию как находящуюся в развитии в момент наблюдения, безотносительно к ее временным пределам в противоположность перфективным значениям, которые представляют ситуацию как целое, или выделяют из структуры ситуации какой-либо момент в ее развитии, ограниченный временными пределами (см. [Буе, Perkins, Pagliuca 1994; Плунгян 2000]).

нов, уже имеющих различные имперфективные значения – дуратива, прогрессива, фреквентатива, хабитуалиса. Например:

(1л) *Чики мя'кана тилдина пу'ша шичий маңа: "Ка-ма, нинюн кай'!"* [ААК]⁵

чики	мя'=кана	тил и=на	пу'ша=∅	шичий
тот	чум=LOC/Sg	жить=PrP	старуха=NOM/Sg	меня
ма=ңа=∅		ка-ма ни=ню=н		кай=''
сказать=ңа ⁶ =SUBJ/3Sg		INTJ NEG=RDPL=IMP/SUBJ/2Sg		уйти=CONNeg

'Хозяйка того дома (букв.: в том доме живущая женщина) мне сказала: "Эй, не уезжай!"'

(2т) *Җоб'' яляхана сэдбадади' тоди'' сидя юд'' мальця'' – мальци''*

сэдрисетьхы' [НЭ: 43]⁷.

Җоб''	яля=хана	сэд=ба=да=ди'	то=ди''	сидя юд''
один	день=LOC/S	сшить=DUR=PrP=3Du	каждый=POSS/3Du	два
мальця''=мальци''		сэд=ри=сеты=хы'		десять
малица=RDP		сшить=PRTCL=HAB=SUBJ/3Du		

'Когда они шьют, за один день каждая из них шьет 20 малиц'.

(3л) *Шича кэвманта хыңысумпи неткум манэ'э, сохохат дюлкутана* [ТПГ: 17].

шича	кэв=ман=та			
два	сторона=PROLAT/Sg=POSS/3Sg			
хыңысу=мпи=∅		не=т=ку=м		манэ=∅='э
смотреть=DUR=CONV		женщина=DIM=DIM=ACC/Sg		видеть=SUBJ/3Sg=PRTCL
сохо=хат		дюл ку=та=на		
сопка=ABL/Sg		выйти=PROGR=PrP		

'По сторонам огляделся и видит: из сопки молодая женщина выходит'.

(4т) *Җопой пархалъе – ядэрта наркамбой хасава ңатекэңэ хая* [ФН: 136].

Җопой	пар=хал=ъе	ядэ=р=та	ңарка=мбой
один	отряхнуть=SMLF=REFL/3Sg	идти=FR=PrP	большой=DEGR
хасава=∅		ңатекэ=ңэ	хая=∅
мужчина=NOM/Sg		ребенок=TRANS	стать=SUBJ/3Sg

'Мужчина раз встряхнулся – ходячим большим ребенком стал'.

(5л) *Манишотата ңамы тачипя пу'ша, шеншелди мэн* [ПИК].

ман=што=та=та	ңамы	тачипя	пу'ша
сказать=HAB=PrP=POSS/3Sg	какой	шаман	старуха
шеншелди=∅	мэ=н		
прийти в гости=SUBJ/3Sg	это=DAT/Sg		

'Старуха-шаманка, о которой он рассказывал, в гости он пришел к ней'.

Во-вторых, ситуация, обозначенная причастной формой =на, не обязательно представляет собой процесс или состояние. Это причастие, хотя и редко, может образовыв-

⁵ Здесь и далее см. список сокращений имен информантов.

⁶ Поскольку функция аффикса =ңа не ясна и по-разному оценивается в работах по ненецкому языку, мы не присваиваем ему в глоссе терминологического имени, а приводим его в том виде, в котором он употребляется в составе ненецкой словоформы.

⁷ Здесь и далее см. список источников.

ваться и от основ с перфективным значением. При этом ситуация не концептуализируется как длительная и не имеющая завершения.

(6т) *Ңыланд еремда тью'уй ялямда сянэ манэ́та* [НЭ: 45].

ңыла=нд	ерем=да=∅	тью'уй	яля=м=да
под=POSS/2Sg	попасть=PrP=NOM/Sg	верхний свет=ACC/Sg=POSS/3Sg	
сянэ	манэ=та=∅		
когда	увидеть=FUT=SUBJ/3Sg		

‘Кто с тобой свяжется (букв.: под тебя попадет), живым не останется (букв.: верхний свет когда увидит)’.

(7л) *Ңың тилди: ным тетымана паңкалты вит чикең ма'авнан* [ЭМ-7: 53].

ны=ң	тилди	ны=м	теты=мана
загородка=GEN/Sg	месяц	загородка=ACC/Sg	новый=PROLAT/Sg
паңкал=ты	ви=т	чикең	ма'авна=н
сплести=PrP	вода=DAT/Sg	сюда	ставить=SUBJ/2Sg

‘Месяц загородок⁸: сплетенную по-новому загородку тогда в воду ставишь’.

Способность рассматриваемого причастного форманта сочетаться с перфективными основами и послужила, по-видимому, основой для другой интерпретации этой формы – временной. Н.М. Терещенко, которая в целом придерживалась аспектуальной трактовки природы ненецкого причастия, отмечала, что форме =на “свойственна та же особенность употребления, что и неопределенному времени – у глаголов со значением несовершенности она обозначает действие, совершающееся в данный момент, а у глаголов со значением совершенности – действие, совершившееся в недалеком прошлом” [Терещенко 1965: 909]. Речь идет, как видим, о значении относительного времени: причастие =на указывает на одновременность или близкое предшествование ситуации, названной данной формой, по отношению к некоторой другой ситуации. Например:

(8т) *Пэ́бтана нгацекы ярума* [Тер-52: 371].

пэ́бта=на	нгацекы=∅	ярума=∅
завернуть=PrP	ребенок=NOM/Sg	заплакать=SUBJ/3Sg

‘Только что завернутый ребенок заплакал’.

На первый взгляд можно было бы согласиться с такой трактовкой рассматриваемой формы. Во многих определительных и обстоятельственных конструкциях, где причастие =на выступает в качестве зависимого сказуемого и при этом образовано от имперфективных основ, выражается отношение одновременности – ситуации в зависимой и главной предикативных единицах конструкции (ЗПЕ и ГПЕ соответственно) укладываются в один временной план:

(9л) *Четимянай вайсы'ку нэмэй, Ханя вайсы'ку* [ААК].

четимя=на=й	вайсы'ку=∅	нэмэй=∅	Ханя вайсы'ку=∅
знать=PrP=POSS/1Sg	старик=NOM/Sg	быть=PP=SUBJ/3Sg	Ханя старик=NOM/Sg

‘Это оказался мой знакомый дяденька, Ханя’.

⁸ Так в лесном диалекте ненецкого языка называется август. В это время вода в реках поднимается, и приходится переделывать запоры (загородки) для ловли рыбы.

(10т) *Юнггодахани' хибяри тарчари тубсу* [НФ-95: 14].

юнгго=да=ха=ни' хибяри=Ø тарча=ри
отсутствовать=PrP=DAT/Sg=POSS/1Du человек=NOM/Sg такой=PRTCL
ту=бсу=Ø
прийти=OBL₁=SUBJ/3Sg
'Во время нашего отсутствия придет один человек'.

Имеются в нашем материале и единичные примеры, в которых причастие, образованное от перфективных основ, выражает близкое предшествование:

(11л) *Тай''ня немяхатёй, апахатёй чики нешаң, тотан тяңдвуоуч''* [ААК].

тай''ня немя=хатё=й апа=хатё=й
потом мать=D_u=NOM/Sg/POSS/1Sg старшая сестра=D_u=NOM/Sg/POSS/1Sg
чики нешаң=Ø то=та=н тяңд=вуо=ч''
тот человек=NOM/Sg прийти=PrP=DAT/Sg заплакать=AUD=3D_u
'Потом мать с теткой, как только тот человек приехал, заплакали, слышно'.

Однако в ненецком языке обнаруживается множество таких примеров употребления рассматриваемой формы, которые не укладываются в рамки темпоральной интерпретации ее грамматической семантики:

1) В случаях, когда причастие образуется от перфективных основ, не всегда можно говорить о выражаемом этой формой близком предшествовании. Так, в следующих двух предложениях один и тот же глагол *сярась* (т) 'привязать' выступает в первом случае в форме причастия =на, а во втором случае в форме причастия =вы (называемого в работах по ненецкому языку перфективным причастием или причастием прошедшего времени). Из контекста примера (12) видно, что человека привязали давно. Вряд ли, сопоставляя предложения (12) и (13), можно говорить о том, что в них имеются какие-либо указания на то, что в одном случае действие произошло недавно, а во втором давно относительно времени главного действия. Скорее, в примере (12) указывается на то, что состояние, являющееся результатом действия, описываемого в ЗПЕ, сохраняется на момент осуществления действия в ГПЕ. В примере (13) признак сохранности результирующего состояния остается невыраженным:

(12т) *Мань пэна сярда ненэць' эдамазь.* (Тикы нюдя Сэв Сэр' эвысь. Нюдя Сэв Сэр' мэдаркана не хадархавэда. Ани' сер' хада я'мада, пэн' сярвэда юд' по' сярвы.) [ЭПН: 358]

мань пэ=на сяр=да ненэць' эда=ма=зь
я камень=LOC/Sg привязать=PrP человек отпустить=SUBJ/1Sg=PAST
'Я отпустила мужчину, привязанного к камню. (Это был Младший Сэв Сэр. Когда-то Младшего Сэв Сэр, оказывается, погубила хромая женщина. Она убить его не могла, привязала его к камню, он был привязан десять лет.)'

(13т) *Тикы' сярвын хибяри' харто' тырасеты'* [ЭПН: 376].

тикы=' сяр=вы=н хибяри=' хар=то'
тот=Pl связать=PP=POSS/1Sg человек=NOM/Pl сам=3Pl
тыра=сеты='
высохнуть=HAB=SUBJ/3Pl
'Привязанные здесь мною люди сами высыхают'.

2) Причастие =на может выступать в качестве сказуемого ЗПЕ модус-диктумной⁹ конструкции, служащей для формирования верификативных высказываний. В качестве сказуемого ГПЕ выступает отрицательный предикат. Модус-диктумные конструкции с причастием экспрессивно подчеркивают существование или несуществование того или иного факта [Кошкарёва 2004: 59]. При сопоставлении этих конструкций с предложениями с простым отрицанием при глаголе видно, что временная отнесенность ситуации не меняется. Ср.:

(14л) *Чикехэты пилюм, ыды пилютай дику* [ТПГ: 14].

чике=хэты	пилю=м	ыды	пилю=та=й
это=ABL/Sg	бояться=SUBJ/1Sg	другой	бояться=PrP=POSS/1Sg
дику=Ø			
отсутствовать=SUBJ/3Sg			

‘(У Лэхэ огромный топор есть и огромная мохнатая собака.) Этого боюсь, больше ничего не боюсь (букв.: боящийся мой отсутствует)’.

(15л) *Шит нит пилюс* [АЗО].

шит	ни=т	пилюс
тебя	NEG=SUBJ/1Sg	бояться:CONNEG

‘Я тебя не боюсь’.

3) Причастие =на может выступать в качестве компонента аналитической формы зависимого сказуемого условной конструкции (УК), сочетаясь с условной формой вспомогательного глагола *нэсь* (т)/*нэши* (л) ‘быть’. Из сопоставления таких УК с условными конструкциями, в которых зависимое сказуемое выражено просто условной формой глагола, видно, что и здесь причастие =на никак не меняет временной отнесенности описываемой ситуации:

(16т) *Тарана нгэбта, чикар ханад!* [НФ–95: 173]

тара=на	нгэ=б=та	чика=р	хана=д
быть нужным=PrP	быть=COND=3Sg	этот=POSS/2Sg	увезти=IMP/OBJ/2Sg

‘Если [этот человек тебе] нужен, возьми его к себе!’

(17т) *Нянант тарабата ханахэюд* [НФ–95: 62].

нянант	тара=ба=та	хана=хэю=д
тебе	быть нужным=COND=3Sg	увезти=obj/du=IMP/OBJ/2Sg

‘Если [эти две туши] тебе нужны, ты их увези’.

Как показывает анализ контекстов УК, в случае, когда зависимое сказуемое выражено только условной формой глагола, возможности осуществления или неосуществления ситуации, обозначенной протазисом, оцениваются говорящим как равновероятные. В случае, когда зависимое сказуемое УК выражено аналитической конструкцией “причастие =на + условная форма глагола”, ситуация в протазисе оценивается говорящим как менее ожидаемая, т.е. протазис сдвигается в сторону меньшей вероятности осуществления *P*. Например, в контексте предложения (16) женщина просит пощадить человека,

⁹ Модус-диктумные конструкции служат для передачи отношений между пропозицией и ее интерпретацией говорящим. В русском языке ведущим синтаксическим способом выражения модус-диктумных отношений являются изъяснительные сложноподчиненные предложения. В уральских языках Сибири эквивалентом русского изъяснительного предложения являются полипредикативные конструкции с инфинитивной формой глагола в зависимой части [Кошкарёва 2004].

убившего ее братьев и предавшего ее саму. Такое положение дел противоречит ожиданиям говорящего. Более точный перевод этого предложения должен быть ‘Если он все еще тебе нужен, возьми его к себе’. Приведем еще примеры. В контексте предложения (18) говорящий обращается к своим немногочисленным соратникам перед началом битвы с огромным войском. Шансы уцелеть невелики. В высказывании также присутствует модальный смысл ‘все еще’. Сказуемое ЗПЕ выражено аналитической конструкцией с причастием. В примере (19) говорящий, отправляясь в дальнее странствие, оценивает свои шансы остаться в живых или умереть как равновероятные. Сказуемое ЗПЕ выражено просто условной формой глагола. Ср.:

(18т) *Иленя эб'на' ань' тарем' амдгуна'* [ЭПН: 247].

иле=ня э=б'=на' ань' тарем' амд=гу=на'
жить=PrP **быть=COND=1PI** опять так сесть=FUT=REFL/1PI
 ‘(Некоторые из нас умрут.) Если будем живы, опять так же сядем угощаться. (Может быть, и все умрем)’.

(19т) *Илеб''нани харни тутадм'* [НЭ: 89].

иле=б''=на=ни хар=ни ту=та=дм'
жить=COND=PRTCL=1S сам=POSS/1Sg прийти=FUT=SUBJ/1Sg
 ‘Если буду жив, сам приеду’.

Причастие в условных конструкциях может образовываться и от основ с перфективной семантикой. В этом случае также сохраняется значение нарушенного ожидания. По сравнению с УК, в которых зависимое сказуемое выражено просто условной формой глагола, в таких предложениях присутствует смысл ‘если вдруг случится так, что...’. Ср.:

(20т) *Хуна мальцгана џамгэ ялян' тэвна нэб''ни сидя' сив ханм', ханм' хано''идм'* [НЭ: 199].

хуна мальцгана џамгэ яля=н' тэв=на џэ=б''=ни
 когда во время какой свет=DAT/Sg **достичь=PrP** **быть=COND=1Sg**
 сидя' сив хан=м' хан=м' хано''=и=дм'
 два семь жертва=ACC/Sg жертва=ACC/Sg принести жертву =CONJ=SUBJ/1Sg
 ‘Если когда-нибудь доживу до (букв.: достигну) светлого дня, обязательно принесу два раза по семь кровавых жертв’.

(21т) *Я' сярт' тэвба''ни ханеванч' хантанакэдм'* [НФ-95: 20].

я=' сяр=т' тэв=ба''=ни хане=ванч'
 земля=GEN/Sg поверхность=DAT/Sg **достичь=COND=1Sg** охотиться=SUP
 хан=та=на=кэ=дм'
 отправляться=FUT=PrP=PROB=SUBJ/1Sg
 ‘Когда/если дойду до поверхности земли, я, конечно, пойду охотиться’.

Предлагаемая нами интерпретация базовой грамматической семантики причастия с аффиксом =на состоит в следующем. Для смысла, выражаемого данной формой, существенно не внутреннее временное устройство ситуации и не ее временная локализация, а то, что обозначенная ей ситуация началась до момента времени *t* и **продолжает существовать** в момент времени *t*, где *t* – момент речи или другая ситуация. Формы с подобным значением имеются в некоторых дагестанских языках, эскимосско-алеутских языках, в нивхском языке и в языках банту (см., например [Кибрик 1999; Недалков 1983; Аксенова 1997; Плунгян 2000]). Применительно к ним используются термины “пердуратив” и “континуатив”. В данной статье мы в дальнейшем будем пользоваться термином

континуатив, подразумевая под ним указание на то, что ситуация, имевшая место в некоторый предшествующий момент, имеет место и в данный момент времени.

Континуатив относят к фазовым значениям, основным компонентом семантики которых является указание на распределение ситуации по различным временным фазам. “Фазовость в первую очередь характеризует не внутреннюю структуру ситуации, а сам факт существования или несуществования описываемой ситуации по отношению к некоторому более раннему моменту времени” [Плунгян 2000: 307]. Фазовые значения близки, но не тождественны значениям качественной аспектуальности. Так, континуатив близок к значениям дуратива и прогрессива, но, в отличие от последних, включает в себя указание не только на данный момент (т. е. момент наблюдения), но и на момент, предшествующий ему.

Фазовая интерпретация семантики причастия с аффиксом =на, как нам представляется, способна объяснить различные аспекты функционирования этой формы в ненецком языке.

Возможность сочетаемости с имперфективными и перфективными основами. Сочетаемость континуатива с имперфективными значениями не требует дополнительного объяснения – эта возможность вытекает из самой семантики континуатива. Следует, правда, отметить, что, поскольку фазовые значения указывают на размещение ситуации в двух временных планах, нормально они не должны сочетаться с глаголами, обозначающими постоянные свойства или отношения: “...очевидно, что сочетаться с этими (фазовыми. – С.Б.) значениями могут глаголы, обозначающие действия, которые локализируются во времени и по своей природе могут прерываться и возобновляться” [Храковский 1987: 155]. Другое дело, что граница, которая отделяет значения постоянных свойств и отношений от значений свойств и отношений изменяющихся, довольно зыбкая и субъективная. Каждый язык по-своему классифицирует окружающую действительность, и явление, которое в одном языке представлено как постоянный признак, в другом может восприниматься как признак изменчивый. Так, свойства, которые, например, для носителя русского языка воспринимаются как постоянные, в языковом сознании ненцев и носителей других северно-самодийских языков зачастую интерпретируются как способные изменяться во времени (см. [Терещенко 1952: 377; Рыжова 1982: 205]). В ненецком языке причастия легко образуются от глаголов качественного состояния: *тецясь* (т) / *чешиш* (л) ‘быть холодным’, *няръясь* (т) / *кэмчаш* (л) ‘быть красным’, *няяць* (т) / *няй’и* (л) ‘быть жирным’ и т.п. Поэтому вопрос об ограничениях на сочетаемость причастного форманта =на с имперфективными основами пока остается открытым, для этого необходимо более глубокое исследование языковой картины мира ненцев.

Возможность сочетания континуатива с перфективными значениями имеет типологическое подтверждение (см. [Недялков, Яхонтов 1983: 37; Недялков 1983: 82–83]). Общим семантическим признаком перфективных глаголов является обозначение перехода к другому состоянию. Показатель континуатива, присоединяясь к основе такого глагола, выражает значение продолжения итогового состояния, вызванного предшествующим действием. В контексте приведенного ниже примера лесная ненка по имени *Нёню* рассказывает, как когда-то маленький ребенок назвал (букв.: дал) ее словом *нё-нё-о*, которое и стало впоследствии ее именем. В предложении присутствует смысл ‘тем (словом), что мне дали, я обладаю и сейчас’:

(22л) *Хома таняй чики ватам мань нимтай шулядицатуң* [ЭМ–7: 19].

хома	та=ня=й	чики	вата=м	мань
хороший	дать=PrP=POSS/1S	этот	слово=ACC/Sg	я
ним=та=й		шуля=ли=ца=туң		
имя=DEST=POSS/1Sg		вертеть=INCH=ца=OBJ/3Pl		

‘Это сказанное (букв.: данное) мне хорошее слово превратили в мое имя’.

В целом примеры, в которых причастный аффикс =на сочетается с перфективными основами, достаточно редки. Очевидно, что на такую сочетаемость в ненецком языке существуют ограничения, связанные с лексической семантикой глагольной основы. Предварительно можно лишь высказать некоторые предположения по поводу характера этих ограничений. По-видимому, в семантике перфективных глаголов, способных сочетаться с причастием =на, итоговое состояние должно быть либо неустойчивым, либо легко обратимым. Например, рассматриваемый причастный формант не сочетается с основой глагола *хась* (т) / *каш* (л) 'умереть'. Поскольку итоговое состояние 'быть мертвым' в семантике этого глагола является стабильным и необратимым, нет необходимости подчеркивать его сохранение.

Выражение таксисного значения. Возможность развития таксисного значения у рассматриваемого причастия объясняется его временной двуплановостью: фазовые значения, как и таксисные, включают в себя два соотносимых между собой момента времени. Таксисное значение причастия с аффиксом =на получает, выступая в функции сказуемого ЗПЕ обстоятельственной полипредикативной конструкции. Причастие оформлено показателем дательного падежа и обозначает продолжающуюся ситуацию, на фоне которой совершается ситуация, описываемая в ГПЕ:

(23л) *Мыдичуң тамна тюпа нэтан чепяштума*'' [ААК].

мыдичу=ң тамна **тюпа** нэ=та=н чепя=шту=ма''
 осень=GEN/Sg еще **теплый** быть=PrP=DAT/Sg приниматься=HAB=SUBJ/1Pl
 '(И мы возили груз в зимние холода.) А начинали осенью, когда было еще тепло'.

(24л) *Маня'' тум чутиңама'' чештаханта* [АЗО].

маня'' тум чути=ңа=ма'' **чеш=та=хан=та**
 мы:Pl огонь=ACC/Sg разжечь=ңа=SUBJ/1Pl **быть холодным=PrP=DAT/Sg=POSS/3Sg**
 'Мы развели костер, потому что очень холодно'.

Выражение фактообразующего значения. В модус-диктумных конструкциях причастие выражает не событийное, а фактообразующее значение. Это подтверждается и верификативной семантикой таких конструкций, и развитием у них модального смысла невозможности. Именно к фактам, в отличие от событий, применима истинностная оценка: "Факт требует, чтобы пропозиция могла быть верифицирована простым и прямым сличением с действительностью" [Арутюнова 1999: 496].

(25т) *Тюку енермамди' эвадалари', тад о' эсь о' пиднари' ягу* [ЭПН: 356].

тюку енер=ма=м=ди' эвадала=ри'
 этот стрелять=VN_{imp}=ACC/Sg=POSS/2Du прекратить=IMP/OBJ/2Du
 тад о' эсь о' **пид=на=ри'** **ягу=Ø**
 также **оспаривать=PrP=NOM/Sg/POSS/2Du** **отсутствовать=SUBJ/3Sg**
 'Прекратите эту стрельбу, да к тому же вам и делить-то нечего'.

(26л) *Лэхэнт чукилды ня'' амнана ни ца''* [ТПГ: 15].

Лэхэ=нт чуки=лы **ня''м=на=на=Ø**
 Лэхэ=GEN/Sg/POSS/2Sg этот=POSS/2Sg **поймать=PROGR=PrP=NOM/Sg**
ни=Ø **ца=''**
NEG=SUBJ/3Sg **быть=CONNNEG**
 'Поймать этого воспитанника Лэхэ невозможно'.

В лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что связь между типом значения, выражаемого подчиненной пропозицией (“факт” или “ситуация”), и способом ее синтаксического оформления зачастую неочевидна. Во многих случаях критерием для разграничения значений факта и события является семантика подчиняющего предиката (см., например [Зализняк Анна 1990: 28–29; Арутюнова 1999: 444–449]). Однако, как отмечает Е.В. Падучева, некоторые типы пропозиций могут соотноситься, будучи в подчиненной позиции, только с фактами. В частности, если в пропозиции главный логический акцент сосредоточен на предикате “имеет место”, она может в подчиненном положении обозначать только факт [Падучева 1986: 27]. На наш взгляд, форма =на за счет своей фазовой семантики как раз и создает названный логический акцент.

Выражение значения нарушенного ожидания в условной конструкции. Материал языков, в которых имеется морфологический континуатив, свидетельствует, что, как правило, значение континуатива выступает кумулятивно со значением нарушенного ожидания [Аксенова 1997: 75; Плунгян 2000: 307–308]. Следует подчеркнуть, что в немецком языке названный модальный смысл актуализируется в случае, когда рассматриваемое причастие взаимодействует с показателем эпистемической возможности, условной формой глагола:

(27т) *Пумнани нён ту’’, иленя нгэб’’нани харни тобсакэд’* [НФ-95: 199].

пумнан=ни	нё=н	ту=’’	иле=ня
вслед=POSS/1Sg	NEG=SUBJ/2Sg	прийти=CONNEG	жить=PrP
нгэ=б’’=на=ни	хар=ни	то=бсакэд=д’	
быть=COND=PrTCL=1Sg	сам=POSS/1Sg	прийти=OBL ₂ =SUBJ/1Sg	

‘За мной не приезжай, если (все еще) жив буду, сам вернусь’.

(28т) *Пуй нумнанд тода нэб’’нанд, нудани лембям’ таир* [НЭ: 228].

пуй	нум=на=нд	то=да	нэ=б’’=на=нд
назад	след=PROLAT/Sg=POSS/2Sg	прийти=PrP	быть=COND=PrTCL=2Sg
нуда=ни	лембям=м’	та=и=р	
рука=GEN/Sg/POSS/1Sg	кисть=ACC/Sg	дать=CONJ=OBJ/2Sg	

‘Если тебе случится вернуться, принеси кисть моей руки’.

Формальное сходство с показателем прогрессива. Обращает на себя внимание внешнее сходство причастного форманта =на/ =дал/ =та (т), =на/ =та/ =ча (л) с аспектуальным показателем =н(а)/ =д(а)/ =т(а) (т), =н(а)/ =т(а)/ =ч(а) (л). Последний обычно трактуется как “форма, выражающая наиболее общее значение несовершенности действия” [Терещенко 1965: 904]. Однако по его употреблению данный аффикс скорее можно интерпретировать как показатель прогрессива, поскольку он обычно выражает качественно неоднородную, динамическую длительность (см., например, предложение (3л)). Континуатив и прогрессив семантически близки, не случайно выделение серединной фазы действия, т.е. “интратерминальное” рассмотрение действия во многих языках часто сливается со значением недостижимости предела, незавершенности [Маслов 1978: 18]. Авторы “The evolution of grammar” предлагают гипотезу, согласно которой более узкое значение прогрессива, соотносящегося с динамическими предикатами, может развиваться из более общего значения континуатива, соотносящегося как со стативными, так и с динамическими предикатами [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994: 166]. В немецком языке показатели континуатива и прогрессива также могут иметь общее происхождение. На это указывают и данные Б. Коллиндера, который возводит показатель причастия -на в самодийских языках и аспектуальные аффиксы со значением континуатива или имперфектива к двум омонимичным, по мнению автора, формам *ntV [Collinder 1960: 269, 277]. Конечно, возможность родства указанных показателей является лишь предварительным предположением, она требует отдельного этимологического исследования и не входит в рамки данной статьи.

Грамматическая семантика причастия с аффиксом =вы также не имеет однозначной трактовки в работах по ненецкому языку. Эта форма интерпретируется то как аспектуальная: причастие совершившегося действия [Прокофьев 1937; Терещенко 1952; Серебренников 1964; Вербов 1973], перфектное причастие [Лабанаскас 1974], perfective participle [Hajdú 1988; Salminen 1997], то как темпоральная: причастие прошедшего времени [Куприянова, Бармич, Хомич 1985: 185], past participle [Sammallahti 1974].

Основные синтаксические функции рассматриваемой формы – сказуемое ЗПЕ определительной конструкции и финитное сказуемое. Кроме того, данное причастие довольно часто выступает в качестве компонента зависимого или независимого аналитического сказуемого, сочетаясь с условной формой глагола.

Причастие с показателем =вы свободно образуется от перфективных и имперфективных основ и может обозначать события, процессы или состояния. Таким образом, трактовать его как форму с перфективной семантикой возможно далеко не всегда. Покажем это на примерах употребления рассматриваемой формы в определительной функции.

(29л) *Тың канхана тоштунаш, таштунаш чи хылу’’ тамы калина’’* [АНК].

ты=ң	кан=хана	то=шту=ма=ш	
олень=GEN/Sg	нарта=LOC/Sg	прийти=HAB=SUBJ/IPI=PAST	
та=шту=на=ш	чи	хылу’’та=мы	кали=на’’
дать=HAB=OBJ/IPI=PAST	тот	засолить=PP	рыба=ACC/PI/POSS/IPI

‘На оленьих упряжках мы приезжали, привозили ту засоленную рыбу’.

(30т) *Няби мэва’ сеней турмы Нядако тэта* [ЭПН: 348].

няби	мэ=ва=’	сеней	ту=р=мы
другой	находиться=VN _{имп} =GEN/PI	прежний	прийти=FR=PP
Нядако	тэта		
Нядако	оленовод		

‘Это оленовод Нядако, (неоднократно) приезжавший раньше’.

(31т) *Ханундавы’’ хасава’’ һопой’ төревонду’* [Щ-73: 150].

ханун=да=вы=’’	хасава=’’	һопой
принести жертву=PROGR=PP=PI	мужчина=NOM/PI	вместе
төре=вон=ду’		
закричать=AUD=3PI		

‘Приносившие жертву мужчины хором закричали (слышно)’.

(32л) *Чикехет чу’пей тюлкудтет’’’, чики тёшитами’’ ней чу’пей тюлкудтет’’* [ААК].

чике=хет	чу’пей	тюлку=л=те=т’	чики	тёшита=мы=’’
тот=ABL/Sg	весь	встать=INCH=refl=REFL/3PI	тот	лежать=PP=PI
не=й		чу’пей	тюлку=л=те=т’	
родственник=NOM/PI/POSS/1Sg	весь	встать=INCH=refl=REFL/3PI		

‘Потом все начали вставать, все те родственники мои, которые лежали, начали вставать’.

Приписывание причастию =вы в качестве базового значения прошедшего времени также противоречит употреблению этой формы. Данное причастие, выступая в пози-

ции финитного сказуемого, может относить действие к настоящему, будущему или прошедшему временному плану, принимая соответствующие показатели времен¹⁰.

(33л) *Нумта дядя дячамай* [ТПГ: 11].

нум=та дядя=Ø дяча=май=Ø
небо=GEN/Sg/POSS/3Sg солнце=NOM/Sg греть=PP=SUBJ/3Sg
'(На улице весна наступила.) Солнце припекает'.

(34т) *Нэрэй нэвы* [Щ-73: 152].

нэрэй=Ø нэ=вы=Ø
осень=NOM/Sg быть=PP=SUBJ/3Sg
'Была осень'.

(35т) *Авхона нин таявэць* [ЭПН: 321].

авхона ни=н тая=вэ=ць
прежде брат=NOM/Pl/POSS/1Sg иметься=PP=SUBJ/3Pl/PAST
'Когда-то у меня были братья'.

(36т) *Тюку яхана илехэваба''н хаңгодавэм'* [НФ-60: 46].

тюку я=хана иле=хэва=ба''=н
этот место=LOC/Sg жить=PRCL=COND=1Sg
ха=ңго=да=вэ=м'
умереть=IMPF=FUT=PP=SUBJ/1Sg
'Если я тут останусь, то пропаду, оказывается'.

Рассмотрим подробнее функционально-семантические особенности формы =вы.

1) Выступая в позиции сказуемого ЗПЕ определительной полипредикативной конструкции, форма =вы, как правило, обозначает ситуацию, относящуюся к более раннему моменту времени по сравнению с ситуацией, обозначенной в ГПЕ. Однако нередки случаи, когда ситуация, обозначенная данным причастием, укладывается в один временной план с ситуацией в ГПЕ [пример (39)]. Анализ примеров употребления формы =вы в указанной функции позволяет предположить, что ситуация, обозначенная причастием, независимо от ее временной отнесенности, является актуальной для ситуации в главной части в аспекте своих прямых либо косвенных последствий. Иными словами, причастие =вы в атрибутивной функции выражает значения стательного или акционального перфекта.

(37т) *Пудна яхвы артин' хаям'* [ЭПН: 319].

пудна ях=вы арти=н' хая=м'
последний разделать тушу=PP морской заяц=DAT/Sg плавно двинуться=SUBJ/1Sg
'Я [по льду] отправился к морскому зайцу, которого убил последним'.

(38л) *Тың копахатта немяй хэтмы пемахана тятэштут* [ААК].

ты=ң копа=хат=та немяй хэт=мы
олень=GEN/Sg шкура=ABL/Sg=POSS/3Sg мать=GEN/Sg/POSS/1Sg сшить=PP
пема=хана тятэ=шту=т
обувь=LOC/Sg ходить=HAB=SUBJ/1Sg
'Я ходила в обуви, сшитой мамой из оленьих шкур'.

¹⁰ Показателем неопределенного времени является нулевой аффикс. В глоссах мы его не указываем.

(39л) *Тайня чикехёна тясамы тилдмы вайсы' кутяай, Ульк нимча''*, чикехёна тилдмэхэты пухупы няхатта, малама: [АПЯ].

тайня	чике=хёна	тя=самы	тиди=мы	вайсы' ку=тяай=Ø
там	тот=LOC/Sg	место=QUAL	жить=PP	старик=AUG=NOM/Sg
Ульк	нимча=''	чике=хёна	тиди=мэ=хэты	
Ульк	называть=SUBJ/3Pl	тот=LOC/Sg	жить=PP=ABL/Pl	
пухупы	ня=хат=та		малама=Ø	
старый	товарищ=ABL/Pl=POSS/3Sg	сказать=SUBJ/3Sg		

'Тогда старик, который жил на этом месте, Ульк его звали, он самый старый был среди тех, кто там жил, сказал.'

(40г) *Ты танырмы сидя вэнекоча* [НФ-95: 61].

ты	таныр=мы	сидя	вэнеко=ча=Ø
олень:ACC/Pl	пригнать=PP	два	собака=DIM=NOM/Sg

'(Около чума пасутся олени.) Тут и две собачки, которые пригнали оленей'.

2) Выступая в позиции независимой предикации, форма =вы преимущественно выражает значения косвенной эвиденциальности (см. [Буркова 2004]): инференциальности (41), ренарратива (42) и миратива (43).

(41л) *(Мят ниня кумши тадя.) Мя'кта чуниташей кумшимта халваң ниң момьта* [ТПГ: 13].

мя'=к=та	чунита=шей	кумши=м=тэ
чум=DAT/Sg=POSS/3S	входить=CONV	кумши=ACC/Sg=POSS/3Sg
халва=ң	ниң	мо=мы=та
крыша=GEN/Sg	на	бросить=PP=OBJ/3Sg

'(На чуме кумши¹¹ лежит.) Кто-то, когда в чум входил, кумши на крышу чума повесил'.

(42г) *Тикэва хавысь, маць: "Хась"* [ЭПН: 326].

ти=кэва=Ø	ха=вы=Ø=сь	ма=ць
тот=PRTCL=NOM/Sg	умереть=PP=SUBJ/3Sg=PAST	сказать=SUBJ/3Pl/PAST
ха=Ø=сь		
умереть=SUBJ/3Sg=PAST		

'(Когда-то мы отвезли женить нашего брата и оставили его там.) Этот-то умер, нам сказали: "Он умер" '.

(43л) *Ка-ма, чуки лы, кайман лы, намсата дикумай!* [ПИК]

ка-ма	чуки	лы=Ø	кайман	лы=Ø
INTJ	этот	кость=SUBJ/3Sg	костный мозг	кость=SUBJ/3Sg
Ѓамса=та			дику=май=Ø	
мясо=NOM/Sg/POSS/3Sg			отсутствовать=PP=SUBJ/3Sg	

'Ого, это кость, одна мозговая кость, а мяса (оказывается) нет!'

¹¹ Вид мужской верхней одежды.

Причастие =вы в функции финитного сказуемого может также выражать результативное или перфектное¹² значения, но реализация последних, как правило, требует значительной контекстной поддержки:

(44т) Ям' талвы [ЭПН: 318].

ям'=Ø тал=вы=Ø
 море=NOM/Sg закрыть=PP=SUBJ/3Sg
 'Море покрыто [льдом]'.

3) В функции лексического компонента аналитической формы зависимого и независимого сказуемого рассматриваемое причастие, как правило, сочетается с условной формой глагола *нэсь* (т)/*нэши* 'быть'. Такой аналитической формой может выражаться: а) зависимое сказуемое условной конструкции; б) зависимое сказуемое модус-диктумной конструкции с косвенным вопросом в ЗПЕ; в) независимое сказуемое предложений с семантикой вопроса или предположения.

а) В условной конструкции причастие выражает временную разноплановость ситуаций в аподозисе в протазисе. Для сравнения приведем УК, в которой зависимое сказуемое выражено синтетической формой – условной формой глагола:

(45л) *Томы нэшта чептаң ней'' тятанаңай''* [ААВ].

то=мы нэ=п=та чептаң не=й''
 прийти=PP быть=COND=Sg завтра друг=ACC/Sg/POSS/1Du
 тята=на=ңа=й''
 повстречать=FUT=ңа=SUBJ/1Du
 'Если наш друг приехал, завтра мы с ним встретимся'.

(46л) *Тилдюнт топ маня'' хомана мячинлаптаңама''* [АЗО].

тилдю=нт то=п маня'' хомана мячинлапта=на=ңа=ма''
 друг=GEN/Sg/POSS/2Sg прийти=COND мы:PI хорошо угостить=FUT=ңа=SUBJ/1PI
 'Если твой друг приедет, мы хорошо его угостим'.

б) В модус-диктумных конструкциях с косвенным вопросом в ЗПЕ рассматриваемое причастие выражает предшествование ситуации в ЗПЕ ситуации в ГПЕ, само же модальное значение незнания выражается условной формой глагола. Ср.:

(47т) *Юндартам', аво сатие'е тавы'эбто'* [ЭПН: 219].

юндар=га=м' 'аво=Ø сатие='е
 спросить=FUT=SUBJ/1S какой=GEN/Sg силач=AUG:ACC/PI
 та=вы=' э=б=то'
 дать=PP=PI быть=COND=3PI
 'Я спрошу у них, каких богатырей они привезли с собой'.

(48т) *Юндартам' хуед' тарабта* [ЭПН: 70].

юндар=га=м' хуед' тараб=б=та
 спросить=FUT=SUBJ/1Sg куда быть нужным=COND=3Sg
 'Я спрошу, куда нужно [идти]'.

¹² При разграничении значений результатива и перфекта мы опираемся на определения В.П. Недялкова и С.Е. Яхонтова: "Результативом именуется форма, обозначающая состояние предмета, которое предполагает предшествующее действие" [Недялков, Яхонтов 1983: 7]; "Перфектом именуется форма, обозначающая действие в прошлом, последствия которого сохраняются в настоящем" [Там же: 12].

в) В качестве компонента независимого сказуемого причастие выполняет ту же функцию, что и в двух указанных выше типах конструкций. Модальную нагрузку несет условная форма глагола, а причастие лишь относит обозначаемую ситуацию к временному плану, предшествующему моменту речи. Ср.:

(49т) *Еваз' мяеку', нюдя Тасиний ха' мамы эбта?* [ЭПН: 279]

еваз'	мяеку'	нюдя	Тасиний=∅
милый	невестка	младший	Тасиний=NOM/Sg
ха'ма=мы	э=б=та		
что сказать=PP	быть=COND=3Sg		

'Дорогая невестка, что сказал Младший Тасиний?'

(50т) *Валакада няхар'' манто' не ня ха'' мамбата?* [НФ-95: 210]

валакада	няхар''	манто='	не	ня=∅
только	три	энец=GEN/Sg	женщина	товарищ=NOM/Sg
ха''мам=ба=та				
что сказать=COND=3Sg				

'Но что скажет сама она, сестра трех энцев?'

Итак, причастная форма =вы может выражать следующие значения: предшествования, прошедшего времени, эвиденциальности, акционального перфекта и результата. Мы полагаем, что исходным значением данной формы, таким, которое может служить базой для развития всех остальных указанных значений, является перфект, стальной или акциональный. Во-первых, перфект сочетается с перфективными и имперфективными основами [Маслов 1987: 197]. Во-вторых, во многих языках перфектные формы являются исходными для образования форм косвенной эвиденциальности [Vuhce, Perkins, Pagliuca 1994: 95]. Это отмечалось и применительно к уральским языкам [Серебренников 1964: 113 и сл.]. В-третьих, эволюция перфекта в сторону развития таксисного значения предшествования или значения прошедшего времени также является типологически распространенной [Маслов 1984: 32 и сл.; Плунгян 299–300].

5. ПРИЧАСТИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ =ВАНДА И =ВАДАВЭЙ

Причастие с аффиксом =ванда называется исследователями причастие действия, которому надлежит совершиться в будущем [Терещенко 1952; 1965; Прокофьев 1937; Серебренников 1964; Вербов 1973], причастие будущего времени (futurative participle) [Salminen 1997]. В литературе по родственному ненецкому энецкому языку форму с аналогичным значением обозначают термином *дебитивное причастие* [Сорокина 1986: 253].

Причастие с аффиксом =вадавэй называют причастием еще не совершившегося действия [Терещенко 1952; 1965; Прокофьев 1937; Серебренников 1964; Вербов 1973]. Т. Салминен обозначает указанную форму negative participle (отрицательная форма причастия) [Salminen 1997: 114]. В энецком языке аналогичная форма носит название *каритивного причастия* [Сорокина 1986: 254].

В учебном пособии "Ненецкий язык" обе формы – =ванда и =вадавэй – представлены как алломорфы одной морфемы и обозначены термином причастие будущего времени [Куприянова, Бармич, Хомич 1985: 185].

Оба рассматриваемых причастных форманта объединены общим компонентом модального значения – они выражают эпистемическое ожидание говорящего по поводу осуществления некоторой ситуации.

Как видно из примеров, во всех употреблениях рассматриваемой формы в ее семантику входит указание на predeterminedенную внешними обстоятельствами, свойствами самого субъекта действия или онтологическими закономерностями окружающего мира взаимосвязь между положением дел в момент времени *t* и в момент времени позже *t*. Можно сделать вывод, что базовая семантика причастия =*ванда* состоит в выражении проспектива – аспектуального значения, маркирующего внешнюю, подготовительную, стадию развития ситуации. Проспектив включает в себя отсылку к некоторому положению дел, соотносимому с последующим событием [Маслова 2004: 212], и этим он симметричен перфекту, включающему в себя отсылку к некоторому положению дел, соотносимому с предшествующим событием [Comrie 1976: 64–65]. В пользу проспективной трактовки семантики формы =*ванда* говорит также ее способность свободно сочетаться со значением прошедшего времени [см. примеры (51) и (56)], что является важным отличительным признаком проспектива [Плунгян 2000: 298].

Е.С. Масловой было высказано предположение о том, что в языках мира может существовать оппозиция интенционального и провиденциального проспективов, разграничивающая два типа ситуаций, связанных с последующими событиями. В случае провиденциального проспектива такой ситуацией является некоторая совокупность обстоятельств, внешних по отношению к субъекту, а в случае интенционального проспектива – внутреннее состояние самого субъекта последующего события (в частности, его намерение совершить действие) [Маслова 2004: 213–214]. По нашим данным, форма =*ванда* может выражать значения как провиденциального, так и интенционального проспектива [ср., например (54) и (56)], причем эти значения не всегда возможно четко дифференцировать. Тем не менее, имеются основания предполагать, что в ненецком существуют два показателя проспектива. Форма =*ванда*, по нашим данным, употребляется только в зависимой предикации, исключением является возможность включения этого аффикса в состав финитной глагольной словоформы наклонения кажущегося действия. В остальных случаях в системе финитного глагола в ненецком языке используется форма =*бцу*/=*су*/=*зу*/=*цу* (т), =*нсу*/=*всу*/=*су* (л), функционирующая как показатель должностовательного наклонения (или, в другой терминологии, первого облигатива [Hajdú 1968; Labanauskas 1992]): *то* = *бцу* = *дм*' (т) 'придется мне пойти'. Во всех употреблениях формы =*бцу* описываемая ей ситуация относится к будущему временному плану, и зачастую ее переводят на русский язык просто формами будущего времени. Однако в предложениях с глаголом в форме первого облигатива обязательно присутствует смысл неизбежности осуществления ситуации в будущем, обусловленной внутренним состоянием (обычно намерениями) субъекта действия, либо внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. Часто значение predeterminedенности ситуации в будущем осложнено модальным значением эпистемической достоверности – подчеркнутой уверенности говорящего в осуществлении ситуации [пример (58)].

(57т) *Хаба'ан хабцум, нибан'ан нибцум* [Щ-54: 202].

ха=ба''=ан	ха=бцу=м'
умереть=COND=1Sg	умереть=OBL ₁ =SUBJ/1Sg
ни=ба''=ан	ни=бцу=м'
NEG=COND=1Sg	NEG=OBL ₁ =SUBJ/1Sg

'Умру – так умру, не умру – так не умру (букв.: Если умру, придется мне умереть, если не умру, не придется мне умереть)'

(58л) *Кали'та калсупёлци мантысу* [ПИК].

кали'=та	калсупё=л=ш	манты=су=Ø
сам=POSS/3Sg	извиваться=INCH=CONV	упасть=OBL ₁ =SUBJ/3Sg

'(О человеке, висящем на дереве) Он сам, когда начнет дергаться, наверняка упадет'.

В пользу проспективной семантики аффикса =*бцу* говорит и тот факт, что в нгансанском и селькупском языках имеются причастные формы с проспективным значением, обнаруживающие явное формальное сходство с ненецкой формой =*бцу*. Это нгансанское причастие будущего времени с показателем =*сузэ/сутэ*: *доане =сутэ сүрү* ‘снег, который должен растаять’ [Коваленко 1992: 50], селькупское дибитивное причастие с показателем =*ps̄t̄il’/s̄t̄il’*: *qo = ps̄t̄il’* ‘такой, который должен найти/быть найденным’ и селькупское дестинативное причастие с показателем =*psol’/psa*: *qo=psol’* ‘предназначенный для нахождения’ [Хелимский 1993: 369].

Таким образом, в ненецком языке отсутствует оппозиция “провиденциальный/интенциональный проспектив”, но при этом имеются два показателя проспектива, оппозиция которых основана на их функционировании в зависимой и независимой предикации.

5.2. Причастие с показателем =*вадавэй*

Причастная форма =*вадавэй* обозначает ожидаемую ситуацию, которая еще не осуществилась, но, по представлениям говорящего, уже должна была иметь место.

Данная причастная форма используется в предложении в следующих функциях:

1) зависимое сказуемое определительной полипредикативной конструкции:

(59л) *Кыдаватмы хала’ку тадя, нинькватмы хала’ку тадя* [ТПГ: 51].

кыла=ватмы	хала’ку=Ø	тадя=Ø
ободрать=PrC	зверь=NOM/Sg	иметься=SUBJ/3Sg
ниньк=ватмы	хала’ку	тадя=Ø
ощипать=PrC	зверь=NOM/Sg	иметься=SUBJ/3Sg

‘(В чум вошла, напротив входа посмотрела: а там) неободранные звери и нетеребленные птицы лежат’.

(60т) *Няръявадавэй’ тохос’ мале няръялтавы’* [Тер-56: 177].

няръя=вадавэй=’	тохос=’	мале	няръялта=вы=O
быть красным=PrC=Pl	ткань=NOM/Pl	уже	покраснеть=PP=SUBJ/3Pl

‘Материи, которые не были красными, уже окрашены в красный цвет’.

2) зависимое сказуемое обстоятельственной полипредикативной конструкции. В указанной функции причастием =*вадавэй* участвует в формировании нескольких типов обстоятельственных отношений:

а) временных – ситуация, представленная в ГПЕ, непосредственно предшествует ситуации в ЗПЕ, при этом в конструкции присутствует смысл ‘ситуация ожидается раньше момента времени *t* (= время ситуации в ГПЕ) или в момент времени *t*, но не осуществляется’:

(61т) *Эдалёда мят’ тэвувадавэй’ мякан тюм’, ва’ван ни’ та хонаюв’* [ЭПН: 347].

эдалё=да=O	мя=т’	тэву=вадавэй=’	
ехать на нарте=PrP=NOM/Sg	чум=DAT/Sg	дойти=PrC=GEN/Sg	
мя=ка=н	тю=м’	ва’ва=нни’	ни’
чум=DAT/Sg=POSS/1Sg	войти=SUBJ/1Sg	постель=GEN/Sg	на
та	хона=ю=в’		
и	улечься=refl=REFL/1Sg		

‘Ездок еще не успел доехать до чума, я вошел в чум и улегся на постель’.

(62л) *Тодяй маташ че’ мал дякадаты, тодяйц, матаватмыц, че’ мты нинюл шад* [ТПГ: 50].

то=дяй	мата=ш	че’ма=л
озеро=AUG	пересечь=CONV	подвязка кивов=NOM/Sg/POSS/2Sg

дякала=ты=Ø	то=даяй=н	мата=ватмы=н
развязаться=FUT=SUBJ/3Sg	озеро=AUG=GEN/Sg	пересечь=PrC=GEN/Sg
че''м=ты	ни=ню=л	шал=Ø
подвязка=ACC/Sg/POSS/2Sg	NEG=RDPL=IMP/OBJ/2S	завязать=CONNeg

‘Когда озеро будешь переходить, подвязки кисов развяжутся, но пока озеро не перейдешь до конца, эти подвязки не завязывай’.

б) образа действия – причастие =вадавэй в таких конструкциях характеризует образ протекания главного действия, указывая на отсутствие нормально ожидаемого предшествующего действия:

(63т) *Сив яля хонёвдавэй сьяйнава''* [ФН: 156].

сив	яля	хонё=вдавэй	сяйна=ва''
семь	день	спать=PrC	быстро двигаться=SUBJ/1Pl

‘Семь дней не спавшие едем’.

(64л) *Тяля'' капи'' мя'к'' ништуна'' тэв'', шайватмы миньштума'' пэмшами тэвмана тэдыша''т* [ААК].

тяля=''	капи=''	мя'=к''	ни=шту=на''
день=GEN/Pl	ханты=GEN/Pl	чум=DAT/Pl	NEG=HAB=REFL/1Pl
тэв=''	шай=ватмы	минь=шту=ма''	пэмшам=ш
достичь=CONNeg	пить чай=PrC	двигаться=HAB=SUBJ/1Pl	свечереть=CONV
тэв=ма=на''		тэдыша''т	
достичь=VN _{impf} =POSS/1Pl		до	

‘(Если по дороге доезжаем к каким-нибудь чумам хантов, там чайку попьём) [А если] в течение дня до хантыйских чумов не доезжаем – не попив чаю, едем до самого вечера’.

в) заместительных, как правило, заместительное значение выражается в ненецких поипредикативных конструкциях другими средствами – именем действия в сочетании с послелогом или эвазивом (последняя форма употребляется только в тундровом диалекте) [Буркова 2003]. Тем не менее, в обоих диалектах имеются примеры употребления причастия =вадавэй для выражения указанных отношений. Формально причастие является в таких конструкциях определением при имени, а функционально выражает нерелевантную, но ожидаемую, с точки зрения нормативных представлений говорящего, ситуацию, вместо которой осуществляется другая, ненормативная, ситуация.

(65т) *Тарця сава нумгана хане ядэрмадавэй һацекеы хасава мякана ваңглы* [Тер-65: 43].

тарця	сава	нум=гана	хане=Ø	ядэр=мадавэй
такой	хороший	погода=LOC/Sg	охотиться=CONV	ходить=PrC
һацекеы	хасава=Ø		мя=кана	ваңглы=Ø
ребенок	мужчина=NOM/Sg		чум=LOC/Sg	сидеть дома=SUBJ/3Sg

‘В такую хорошую погоду, вместо того чтобы идти на охоту, молодой человек сидит дома (букв.: ... охотиться не ушедший парень дома сидит)’.

(66л) *Уроката шелтаватмэхэнта шанакманта мэт пин шулвай* [ПИК].

урока=та	шелта=ватмэ=хэн=та	шанак=ма=нта	мэт
уроки=ACC/Pl	сделать=PrC=DAT/Sg=3Sg	играть=VN _{impf} =3Sg	для
пи=н	шулва=й		
улица=DAT/Sg	побежать=REFL/3Sg		

‘Вместо того чтобы уроки делать, он на улицу играть побежал (букв.: Уроки еще не сделавший он играть на улицу побежал)’.

3) финитное сказуемое: рассматриваемое причастие указывает на то, что осуществление ситуации ожидалось к моменту времени t (= момент речи), но в момент t все еще не имеет места.

(67т) *Ямда ибэй нэвы, тамна ханимадавэй* [ФН: 110].

ям=да	ибэй	нэ=вы=∅	тамна
большая река=NOM/Sg/POSS/3Sg	талый	быть=PP=SUBJ/3Sg	еще
хани=мадавэй=∅			
замерзнуть=PrC=SUBJ/3Sg			
‘Большая река пока еще не замерзла’.			

(68л) *Мяма’’ шелтаватмы* [ААК].

мя=ма’’	шелта=ватмы=∅
дом=NOM/Sg/POSS/1Pl	сделать=PrC=SUBJ/3Sg
‘Наш дом еще не достроен’.	

Таким образом, во всех употреблениях формы =вадавэй присутствуют следующие семантические признаки: 1) указание на два временных плана – предшествующий (t_1) и последующий (t_2); 2) значение эпистемического ожидания – по представлениям говорящего, ситуация должна осуществиться к моменту времени t_2 ; 3) модальное значение ‘все еще не’ – вопреки ожиданию говорящего ситуация не имеет места в момент времени t_1 и не имеет места в момент времени t_2 . Морфологические показатели с подобной семантикой имеются в некоторых алтайских языках Сибири – якутском, тувинском, хакасском, шорском¹³ [Убрятова 1976: 54–56; Сат 1997: 390; Донидзе 1997а: 467; Донидзе 1997б: 502], а также в языках банту. В бантуистике они обозначаются термином р е т а р д а т и в или, в англоязычной литературе, носят название *pot-yet forms* [Аксенова 1997: 78]. В.А. Плуменян предложен также термин к у н к т а т и в. В нашей работе мы будем в дальнейшем использовать термин р е т а р д а т и в (от лат. *retardare* ‘замедлять, задерживать’). Ретардатив относят к фазовым значениям [Плуменян 2000: 306]. Семантически он симметричен фазовому значению континуатива – континуатив содержит указание на существование ситуации в предшествующий момент времени t_1 и последующий момент времени t_2 , а ретардатив указывает на несуществование ситуации в моменты времени t_1 и t_2 . Как и континуатив, ретардатив, как правило, осложнен модальным значением нарушенного ожидания [Плуменян 2000: 308]. Указанное модальное значение присутствует и в семантике формы =вадавэй.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИЧАСТНЫХ ФОРМ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ НАКЛОНЕНИЙ

Выше мы уже рассматривали возможность некоторых причастий входить в состав аналитического предиката, сочетаясь с показателем эпистемической возможности – условной формой глагола. Причастия могут также включаться в состав словоформ двух косвенных наклонений, выражающих отношение говорящего к истинности пропозиции – пробабилитива и аппроксиматива (наклонения кажущегося действия). С показателем пробабилитива сочетаются формы =на и =вы, с показателем аппроксиматива – формы =на, =вы и =ванда. Проанализируем функции причастий в составе эпистемических наклонений с точки зрения предложенной нами трактовки базовой семантики причастных форм.

Пробабилитив имеется только в тундровом диалекте ненецкого языка. Формы этого наклонения служат для выражения предположений о ситуациях в настоящем, прошед-

¹³ Например, форма на =галак в тувинском языке: *быи=калак тараа* ‘еще не созревший хлеб’ [Сат 1997: 390].

шем или будущем. При этом непосредственное восприятие ситуации говорящим отсутствует, и он строит предположение на основании логического вывода.

(69т) *Тев' ёльңгана нинекы́ иле'* [ФН: 242].

тев' ёльңгана	ни=не=кы=Ø	иле=''
теперь	NEG=PrP=PROB=SUBJ/3Sg	жить=CONNЕG
'Теперь, может быть, его и в живых уже нет'.		

Порядок аффиксов в глагольной словоформе пробабилитива следующий: Tv=(FUT)=*на/вы=кы=//*=(PAST), где Tv – основа глагола, FUT – показатель будущего времени, =кы – показатель предположительного наклонения, // – лично-предикативный аффикс, PAST – показатель прошедшего времени.

Как видим, причастные аффиксы =на и =вы занимают одну и ту же позицию в словоформе. Функция этих показателей в составе формы предположительного наклонения не ясна и по-разному оценивается исследователями: как временных формантов [Haidú 1968: 64], как аспектуальных показателей [Терещенко 1952: 372], как специализированных показателей времен в системе косвенных наклонений [Лабанаускас 1981: 53]. Невозможность аспектуальной трактовки семантики данных аффиксов мы уже обсуждали. Что касается их временной интерпретации, то аффикс =на может употребляться по отношению к ситуациям в настоящем, прошедшем и будущем, а аффикс =вы – по отношению к ситуациям в прошедшем и, редко, в настоящем времени. Таким образом, корреляция употребления данных показателей с временной отнесенностью ситуации не вполне очевидна, и, кроме того, она не объясняет того факта, что в структуре словоформы имеются специализированные показатели времен.

По нашему предположению, данные аффиксы являются показателями наличия/отсутствия трактовки говорящим информации, лежащей в основе логического вывода. Функции аффиксов =на и =вы в составе эпистемических наклонений связаны с семантикой соответствующих причастий. Форма =вы способна выражать значение инференциальности. В составе пробабилитива эта форма и реализует указанную семантику, когда "в случае поиска причины наблюдаемой ситуации говорящий восстанавливает ситуацию, о которой делается сообщение, по некоторым наличным признакам" [Козинцева 1994: 94]. Иначе говоря, в основе выводного знания лежит некоторое непосредственно воспринимаемое говорящим положение дел.

Форма =на способна выражать фактообразующее значение. По нашему предположению, именно это значение данная форма и реализует в составе пробабилитива – основанием для логического вывода является информация, входящая в область знаний (память) говорящего. Ни одна пропозиция памяти не является верифицируемой, память подвержена ошибкам, поэтому в каждом конкретном случае трудно чувствовать такую же степень уверенности, как при восприятии [Дмитровская 1988: 173].

С точки зрения предложенной нами гипотезы структурно-семантически форма пробабилитива организована следующим образом. Аффикс =на указывает на отсутствие однозначной трактовки ситуации, т.е. говорящий лишь высказывает гипотезу: 'Из того, что я знаю, я делаю вывод: может быть, *P*, может быть, не *P*'. Аффикс =вы указывает на наличие трактовки: 'Из того, что я знаю, я делаю вывод, что *P*. Общее значение эпистемической оценки, выражаемое аффиксом =кы, указывающее на нехарактерный¹⁴

¹⁴ При анализе эпистемических модальных значений и средств их выражения, мы опираемся на работу Е.С. Яковлевой [Яковлева 1994], в которой введены следующие характеристики информации, лежащей в основе эпистемической оценки. Информация о *P* является х а р а к т е р н о й с точки зрения говорящего, если она позволяет ему судить о *P* непосредственно, без привлечения логического вывода. Такая информация содержит характерные, индивидуализирующие черты, например, информация, полученная говорящим путем чувственного восприятия уже знакомого по предыдущему опыту – 'кажется, что *P*', 'как будто *P*', 'вроде *P*'. Информация о *P* является н е х а р а к т е р н о й, если на ее основе говорящий не может судить о *P* без привлечения логического вывода.

формы пробабилитива он невозможен. Нехарактерная информация, выражаемая пробабилитивом, требует привлечения логического вывода. Поэтому в пробабилитиве указание на источник выводного знания является обязательным. Характерная информация, выражаемая аппроксимативом, не требует обязательного привлечения логического вывода, этим и объясняется факультативность показателей =на и =вы.

Отдельно следует рассмотреть роль причастного аффикса =ванда. В составе аппроксиматива он употребляется в том случае, когда действие относится к будущему времени. Возникает вопрос, почему в пробабилитиве, при отнесенности действия к будущему, используется показатель будущего времени, а в аппроксимативе – причастный аффикс =ванда. Выше мы показали, что базовая семантика этой формы состоит в выражении значения проспектива. В составе аппроксиматива аффикс данного причастия также указывает, что в текущем положении дел наблюдаются предпосылки (чаще всего физическое состояние субъекта), предопределяющие положение дел в будущем. Проспективная семантика данной формы, при отнесенности ситуации к будущему, согласуется с характерным типом информации, выражаемой аппроксимативом.

(76т) *Едян табир эб' хувы ялумдат' нив' тэвзу', хавндархам'* [ЭПН: 223].

едя=н	табир	э=б'	хувы	ялумда=т'
боль=GEN/Sg	такой же	быть=COND	утренний	заря=DAT/Sg
ни=в'		тэв=гу='	ха=вида=рха=м'	
NEG=REFL/1Sg	дойти=FUT=CONNEX		умереть=PrD=APPROX=SUBJ/1Sg	

'Если у меня так же будет болеть голова, я не доживу до утренней зари, кажется, я умру'.

(77л) *Мань шильши'' нэшалмэт чики мань'ку нивнтлахаңам мини''* [ЛАО].

мань	шильши''	нэшал=мэ=т	чики	мань'ку
я	слишком	устать=PP=SUBJ/1Sg	этот	мешок
ни=внт=лаха=ңа=м			минил=''	

NEG=PrD=APPROX=ha=OBJ/1Sg **унести=CONNEX**

'Я слишком устал, этот мешок, кажется, не унесу'.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из проведенного анализа ненецких причастий, можно сделать следующие выводы.

Базовая семантика всех четырех причастных форм связана с выражением аспектуальности: это два семантически симметричных фазовых значения – континуатива (форма =на) и ретардativa (форма =вадавэй), и два семантически симметричных значения качественной аспектуальности – проспектива (форма =ванда) и перфекта (форма =вы).

При том, что ненецкий язык отличается исключительно богатым глагольным словообразованием, значения причастных форм не дублируют значения аспектуальных показателей глагола, а лишь взаимодействуют с ними, т.е. между причастиями и аспектуальными глагольными показателями наблюдается определенное разделение "сфер влияния". Глагольные аффиксы выражают значения количественного аспекта, характеризующие ситуацию с точки зрения ее повторяемости, и значения качественного аспекта, характеризующие внутренние стадии структуры ситуации. Причастные же формы характеризуют ситуацию как бы "снаружи" – они описывают внешние стадии структуры ситуации или выражают утверждение о существовании или несуществовании ситуации по сравнению с некоторым более ранним моментом времени.

Аспектуальные значения причастных форм находятся на периферии аспектуальности, сближаясь с другими семантическими зонами – темпоральной и модальной. Все четыре значения причастных форм объединены общим семантическим признаком – в них содержится указание на два соотносимых между собой временных плана. Это объясняет возможность развития у данных форм темпоральных значений. Характеристика ситуа-

ции “снаружи” является фактором, благоприятствующим развитию у причастий модальных значений, связанных с оценкой ситуации с точки зрения ее истинности, или взаимодействию причастных показателей с показателями эпистемической модальности.

Предложенная нами интерпретация грамматической семантики ненецких причастных форм позволяет также объяснить, как нам кажется, тот факт, что субстантивизируются только формы =на и =вы. Эти формы характеризуют ситуацию, которая имеет место, т. е. принадлежит реальному миру, в то время как две другие причастные формы – =ванда и =вадавэй – относят ситуацию к одному из возможных миров.

Имеются также основания предполагать, что и в других самодийских языках – энецком, нганасанском и селькупском – системы причастий организованы на оппозиции фазовых и аспектуальных значений.

В заключение мы предлагаем следующее терминологическое обозначение ненецких причастных форм: =на – континуативное причастие, =вы – перфектное причастие, =ванда – проспективное причастие, =вадавэй – ретардативное причастие.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГПЕ – главная предикативная единица; ЗПЕ – зависимая предикативная единица; л – лесной диалект; т – тундровый диалект; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; APPROX – аппроксиматив (наклонение кажущегося действия); AUD – аудитив; AUG – аугментатив; COND – условная форма глагола; CONJ – конъюнктив; CONNEG – коннегатив; CONV – неопределенно-деепричастная форма; DAT – датив; DEGR – аффикс степени обладания признаком; DEST – предназначительный аффикс; DIM – диминутив; Du – двойственное число; DUR – дуратив; FR – фреквентатив; FUT – будущее время; GEN – генитив; HAB – хабитуалис; IMP – императив; INCH – инхоатив; INTJ – междометие; LOC – локатив; NEG – отрицательный глагол; NOM – номинатив; OBJ – субъектно-объектное спряжение; obj/du – аффикс двойственного числа объекта; obj/pl – аффикс множественного числа объекта; OBL₁ – облигатив I; OBL₂ – облигатив II; P – пропозиция; PAST – прошедшее время; PrC – причастие с показателем =вадавэй; PrD – причастие с показателем =ванда; Pl – множественное число; POSS – притяжательный аффикс; PP – причастие с показателем =вы; PROB – пробабилитив; Progr – прогрессив; PROLAT – пролатив; PrP – причастие с показателем =на; PRTCL – модальная частица; QUAL – аффикс качественных отыменных прилагательных со значением обладания признаком; RDPL – редупликация; teŋl – показатель субъектно-безобъектного спряжения; REFL – субъектно-безобъектное спряжение; Sg – единственное число; SMLF – семьelfактив; SUBJ – субъектное спряжение; SUP – супин; TRANS – транслатив; Tv – основа глагола; VN_{impf} – имя процесса действия; VN_{prf} – имя прошлого действия; // – лично-числовой аффикс.

ИСТОЧНИКИ

- НФ-60 – Ненецкий фольклор. М., 1960.
НФ-95 – Ненецкий фольклор. Красноярск, 1995.
НЭ – *Н.М. Терещенко*. Ненецкий эпос. Материалы и исследования по самодийским языкам. Л., 1990.
Тер-52 – *Н.М. Терещенко*. О развитии грамматических категорий ненецкого языка (на примере категории причастия) // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
Тер-56 – *Н.М. Терещенко*. Материалы и исследования по языку ненцев. М.; Л., 1956.
Тер-65 – *Н.М. Терещенко*. Ненецко-русский словарь. М., 1965.
ТПГ – *П.Г. Турутина*. Нешаһ ванлат шотпялс (Легенды и сказки лесных ненцев). Новосибирск, 2003.
ФН – *Фольклор ненцев*. Новосибирск, 2001.
Щ-54 – *А.М. Щербакова*. Формы отрицания в ненецком языке // Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Т. 101. Л., 1954.
Щ-73 – *А.М. Щербакова*. Ненецкая сказка “Искры, несущие смерть” // Языки и фольклор народов Крайнего Севера. Л., 1973.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ИМЕН ИНФОРМАНТОВ ЛЕСНОГО ДИАЛЕКТА

- ААВ – Айваседа Алексей Вальчевич (п. Варьеган Нижневартовского р-на Тюменской обл.).
ААК – Айваседа Айты Кольчевна (п. Варьеган Нижневартовского р-на Тюменской обл.).
АЗО – Айпина Зоя Осевна (п. Варьеган Нижневартовского р-на Тюменской обл.).
АНК – Айваседа Нёню Кольчевна (п. Варьеган Нижневартовского р-на Тюменской обл.).
АПЯ – Айваседа Павел Янчевич (п. Варьеган Нижневартовского р-на Тюменской обл.).
ЛАО – Логаны Алла Осевна (п. Нумто Белоярского р-на Тюменской обл.).
ПИК – Пяк Ирина Кайлевна (стойбище Ваенто, Пуровский р-н Ямало-Ненецкого АО).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксенова 1997 – *И.С. Аксенова*. Категории вида, времени и наклонения в языках банту. М., 1997.
- Апресян 1985 – *Ю.Д. Апресян*. Принципы описания значений грамем // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
- Арутюнова 1999 – *Н.Д. Арутюнова*. Язык и мир человека. М., 1999.
- Буркова 2003 – *С.И. Буркова*. Заместительные конструкции в ненецком языке // Языки народов Сибири. Вып. 11. Новосибирск, 2003.
- Буркова 2004 – *С.И. Буркова*. Эвиденциальность и эпистемическая модальность в ненецком языке // Ирреалис и ирреальность. Исследования по теории грамматики. Вып 3. М., 2004.
- Вербов 1973 – *Г.Д. Вербов*. Диалект лесных ненцев // Самодийский сборник. Новосибирск, 1973.
- Дмитровская 1988 – *М.А. Дмитровская*. Знание и достоверность // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
- Донидзе 1997а – *Г.И. Донидзе*. Хакасский язык // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997.
- Донидзе 1997б – *Г.И. Донидзе*. Шорский язык // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997.
- Зализняк Анна 1990 – *Анна А. Зализняк*. О понятии “факт” в лингвистической семантике // Логический анализ языка: противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
- Кибрик 1999 – *А.Е. Кибрик*. Арчинский язык // Языки мира: Кавказские языки. М., 1999.
- Коваленко 1992 – *Н.Н. Коваленко*. Инфинитные формы глагола нганасанского языка. Новосибирск, 1992.
- Козинцева 1994 – *Н.А. Козинцева*. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Кошкарева 2004 – *Н.Б. Кошкарева*. Способы выражения модус-диктумных отношений в уральских языках (на материале хантыйского и ненецкого языков) // Вестник НГУ. Т. 3. Вып. 1. Новосибирск, 2004.
- Куприянова, Бармич, Хомич 1985 – *З.Н. Куприянова, М.Я. Бармич, Л.В. Хомич*. Ненецкий язык. Учебное пособие для педагогических училищ. Л., 1985.
- Лабанаускас 1974 – *К. Лабанаускас*. Ненецкий перфект // Советское финно-угроведение. Вып. X. Таллин, 1974. № 1.
- Лабанаускас 1981 – *К. Лабанаускас*. Предположительное наклонение в ненецком языке // Советское финно-угроведение. Вып. XVII. Таллин, 1981. № 1.
- Маслов 1978 – *Ю.С. Маслов*. К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
- Маслов 1984 – *Ю.С. Маслов*. Очерки по аспектологии. Л., 1984.
- Маслов 1987 – *Ю.С. Маслов*. Перфектность // Теория функциональной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Маслова 2004 – *Е.С. Маслова*. К типологии проспектива: категория провиденциалиса // Ирреалис и ирреальность. Исследования по теории грамматики. Вып 3. М., 2004.
- Недялков 1983 – *В.П. Недялков*. Результатив и континуатив в нивхском языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
- Недялков, Яхонтов 1983 – *В.П. Недялков, С.Е. Яхонтов*. Типология результативных конструкций // Типология результативных конструкций. Л., 1983.

- Падучева 1986 – *Е.А. Падучева*. О референции языковых выражений с непредметным значением // Автоматизация обработки текста. НТИ. Сер. 2. № 1. М., 1986.
- Плунгян 2000 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.
- Попова 1978 – *Я.Н. Попова*. Фонетические особенности лесного наречия ненецкого языка. М., 1978.
- Прокофьев 1937 – *Г.Н. Прокофьев*. Ненецкий (юрако-самоедский) язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. I. М.; Л., 1937.
- Рыжова 1982 – *Е.Ю. Рыжова*. Система причастий в северном диалекте энецкого языка // Советское финно-угроведение. Вып. XVIII. № 3. Таллин, 1982.
- Сат 1997 – *Ш.Ч. Сат*. Тувинский язык // Языки мира. Тюркские языки. М., 1997.
- Серебрянников 1964 – *Б.А. Серебрянников*. Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках. М., 1964.
- Сорокина 1986 – *И.П. Сорокина*. Конструкции с причастной определительной ЗПЕ в энецком языке // Структурные типы синтетических полипредикативных конструкций в языках разных систем. Новосибирск, 1986.
- Терещенко 1952 – *Н.М. Терещенко*. О развитии грамматических категорий ненецкого языка (на примере категории причастия) // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
- Терещенко 1965 – *Н.М. Терещенко*. Ненецко-русский словарь. М., 1965.
- Убрятова 1976 – *Е.И. Убрятова*. Исследования по синтаксису якутского языка. Ч. II: Сложное предложение. Новосибирск, 1976.
- Хелимский 1993 – *Е.А. Хелимский*. Селькупский язык // Языки мира. Уральские языки. М., 1993.
- Храковский 1987 – *В.С. Храковский*. Семантика фазовости и средства ее выражения // Теория функциональной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Щербакова 1960 – *А.М. Щербакова*. Причастные и деепричастные обороты в ненецком языке // Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Т. 167. Л., 1960.
- Яковлева 1994 – *Е.С. Яковлева*. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М., 1994.
- Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 – *J. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca*. The evolution of grammar. Chicago; London, 1994.
- Castrén 1854 – *M.A. Castrén*. Grammatik der samojedischen Sprachen. SPb., 1854.
- Collinder 1960 – *B. Collinder*. Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960.
- Comrie 1976 – *B. Comrie*. Aspect. New York, 1976.
- Hajdú 1968 – *P. Hajdú*. Chrestomatia Samoedica. Budapest, 1968.
- Hajdú 1988 – *P. Hajdú*. Die Samojedischen Sprachen // Handbuch der Orientalistik. Achte Abteilung. The Uralic languages. V. 1. Leiden; New York; København; Köln, 1988.
- Labanauskas 1992 – *K. Labanauskas*. Der Obligativ II im Nenzischen // Linguistica Uralica. XXVIII. № 2. Tallinn, 1992.
- Salminen 1997 – *T. Salminen*. Tundra Nenets inflexion. Helsinki, 1997.
- Sammallahti 1974 – *P. Sammallahti*. Material from forest Nenets. Helsinki, 1974.

© 2006 г. А.Ю. УРМАНЧИЕВА

ВРЕМЯ, ВИД ИЛИ МОДАЛЬНОСТЬ?*
ГЛАГОЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА

В данной работе будет рассмотрена глагольная система энецкого языка, прежде всего – те формы, которые традиционно связываются с временной референцией. Этот материал интересен тем, что позволяет наглядно продемонстрировать, что адекватная семантическая интерпретация отдельных показателей может быть дана только с учетом общих принципов организации глагольной системы. А именно, будет показано, что глагольные формы энецкого языка адекватнее интерпретируются как выражающие модальные, а не темпоральные значения. Данная реинтерпретация не только позволяет уточнить описание энецких глагольных форм, но и затрагивает также некоторые проблемы более общего характера, связанные с типологией глагольных систем и с проблемой однонаправленности путей грамматикализации. Эти проблемы рассматриваются во втором, заключительном разделе статьи.

1. ГЛАГОЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА

Энецкий язык относится к северной ветви самодийских языков. Представители этой немногочисленной народности (по данным переписи 1989 года, энцами считают себя около 200 человек) живут в двух поселках в нижнем течении Енисея. В поселке Потапово (Дудинский р-н Таймырского АО) живут носители лесного диалекта (“хантыйские самоеды”; самоназвание *нэ-бай*), в поселке Воронцово (Усть-Енисейский р-н Таймырского АО) – носители тундрового диалекта (“камасинские самоеды”; самоназвание *со-мату*; лесные энцы называют их *маду*). Наибольшие отличия между диалектами принадлежат фонетической сфере: в речи лесных энцев сильно редукция, тогда как тундровый диалект характеризуется сохранением более полной слоговой структуры энецкого слова. Лексические различия незначительны, и диалекты в целом остаются взаимопонятными (настолько, насколько об этом вообще можно говорить в условиях, когда полноценными носителями языка остаются только люди старшего поколения, которых в каждом поселке можно пересчитать по пальцам одной руки). Примеры приводятся в фонетической транскрипции на основе латинского алфавита. Исследование проводилось на материале фольклорных текстов, прежде всего – на материале сказания *Soldai? kaxa* ‘Шайтан¹ нашего рода Солда’, включающего 1167 фраз (тундровый диалект). Русский вариант этого сказания был опубликован Б. О. Долгих [Долгих 1961]; в семидесятые годы в рамках экспедиционного проекта МГУ это сказание было записано Е.А. Хелимским в обратном переводе на энецкий язык от Холю Каплина, которого он характеризовал как, “вероятно, последнего человека, который говорил на тундровом диалекте энецкого лучше, чем на каком-либо другом языке” [Helimski 2001]. В 1990-х гг. в РГГУ под руководством Е. А. Хелимского проводился ряд самодийских экспедиций, в которых участвовал также автор данной статьи. В это время, параллельно с полевой работой, нами был осуществлен перевод этого сказания в электронный формат с поморфем-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 04-04-00111а “Типология глагольных систем”.

¹ Словом *шайтан* мы, вслед за Е. А. Хелимским, переводим слово *kaxa*, обозначающее родовой оберег, который энцы хранят в специальной “шайтанской” нарте.

ной нотацией. Дополнительным материалом для данной статьи послужила коллекция текстов, опубликованных в [Лабанаускас 2002] (тундровый и лесной диалекты).

Структура финитной глагольной формы энецкого имеет следующий вид:

R-Suff₁-Suff₂-Suff₃-Suff₄,

где R – глагольный корень, а Suff – суффиксальные позиции для глагольных показателей. Необязательную позицию Suff₁ занимают словообразовательные глагольные показатели, выражающие прежде всего аспектуальные значения (эта позиция может разветвляться на несколько подпозиций – иными словами, одна глагольная словоформа может содержать несколько словообразовательных глагольных показателей). Позицию Suff₂ занимают словоизменительные показатели, выражающие различные глагольные грамматические значения, позицию Suff₃ – показатели актантного согласования², позицию Suff₄ – показатель *-s'i*, традиционно описываемый как суффикс прошедшего времени.

Помимо универсального критерия обязательности, отделить словоизменительные показатели от словообразовательных в энецком глаголе позволяет также отрицательная конструкция, состоящая из отрицательного глагола и нефинитной формы смыслового глагола (так называемого коннегатива; показатель коннегатива *-(o)ʔ* присоединяется к глагольной основе). В отрицательной конструкции все словообразовательные показатели входят в состав смыслового глагола, а все словоизменительные присоединяются к финитной форме отрицательного глагола (присоединение словообразовательных показателей к основе отрицательного глагола невозможно):

(1) bôðdaguadäs'i

/bôð=m=ta=gu-ŋa-ðä-s'i/

плохой=Inc.Stat=Caus=Dur-Praes-3SgObj-Praet

'он его обвинял'

(2) n'ieðäs'i bôðdaguʔ

/n'i-e-ðä-s'i

bôð=m=ta=gu-ʔ/

Neg-Praes-3SgObj-Praet

плохой=Inc.Stat=Caus=Dur-Conneg

'он его не обвинял'

² В энецком языке имеется три глагольных спряжения, традиционно называемые субъектным, объектным и рефлексивным. Во всех трех спряжениях глагол согласуется по лицу (1-е, 2-е и 3-е) и числу (Sg, Du и Pl) с субъектом действия в именительном падеже; кроме того, в объектном спряжении глагол согласуется по числу (Sg ~ Pl) с объектом действия. Правила употребления спряжений зависят от нескольких параметров, в частности, от переходности / непереходности глагола:

Таблица 1

	Тип спряжения		
	Субъектное	Объектное	Рефлексивное
Непереходные глаголы	основная масса непереходных глаголов	–	некоторые непереходные глаголы, в основном со значением неконтролируемого действия, единственный участник которого часто имеет скорее роль пациента, чем агенса
Переходные глаголы	употребляется с неопределенной именной группой в роли объекта	употребляется с определенной именной группой в роли объекта	употребление рефлексивного спряжения изменяет диатезу глагола, который в этом случае получает значение рефлексивной ситуации

В примере (1) к основе *bôô-* ('плохой') прибавлены суффиксы *-m* со значением начала состояния (> 'стать плохим'), *-ta* со значением каузатива (> 'заставить быть плохим' = 'обвинить'), *-gi* со значением дуратива, *-ra* со значением неопределенного времени, *-ða* со значением 3 лица единственного числа объектного спряжения и *-s'i* со значением прошедшего времени. При образовании отрицательной формы к спрягаемому отрицательному глаголу отходят последние три суффикса, все остальные остаются при основе смыслового глагола. Таким образом, к словоизменительным показателям относятся показатели, занимающие позиции *Suff₂*, *Suff₃* и *Suff₄*, из них несинтаксические глагольные значения выражают показатели в позиции *Suff₂* и *Suff₄*.

Словоизменительные глагольные показатели в энецком, согласно традиционным описаниям, выражают значения времени и наклонения. Начнем с показателей времени. Традиционно в энецком противопоставляются три временных формы: настоящее (неопределенное) время с показателем *-ra*, прошедшее время с показателем *-s'i* (это единственный показатель, занимающий позицию *Suff₄*), будущее время с показателем *-do*. Некоторые самодисты причисляют к временным показателям также показатель *-bi*³. У последнего показателя четко выделяется значение инференциальности, однако некоторые исследователи выделяют у него значение прошедшего отдаленного, другие же считают основным значением значение перфекта⁴.

Прежде всего,стораживает второе название формы настоящего времени: неопределенное время. Проведенный анализ текстов показал, что неопределенное время очень часто соотносится не только с событиями в настоящем, но и с событиями в прошлом. Таким образом, в энецком ситуация в прошлом может быть описана при помощи одной из трех форм: "неопределенного времени" (*-ra*), собственно "прошедшего времени" (*-s'i*) и "прошедшего отдаленного" (*-bi*). Каковы отличия между этими формами?

1.1. Форма "неопределенного времени"

Форма так называемого неопределенного времени используется для описания событий как в прошлом (3), так и в настоящем (4). С ее помощью можно также описать ситуацию, начавшуюся в прошлом и продолжающуюся в настоящем (5) и (6):

- (3) *Solda baxu?o kitaða, eseda kitaða.*
Solda-Ø baxu?o-Ø kita-ða, ese-Ø-ða
 Солда-Nom старик-Nom *рассказать.Praes-3SgObj* отец-Nom-3Sg

³ Необходимо сказать несколько слов об алломорфах данных суффиксов. Они имеют различную форму в зависимости от предшествующего звука:

Таблица 2

Суффиксы	Алломорфы суффиксов		
	После гласного	При слиянии со звонким согласным	При слиянии с глухим согласным
<i>-ra</i>	<i>-Ø/-a</i>	<i>-ra</i>	<i>-ʔa</i>
<i>-s'i</i>	<i>-s'i</i>	<i>-d'i</i>	<i>-t'i</i>
<i>-do</i>	<i>-do/-ðo</i> (вариант <i>-ðo</i> используется у граничного количества основ)	<i>-do</i>	<i>-to</i>
<i>-bi</i>	<i>-bi</i>	<i>-bi</i>	<i>-pi</i>

⁴ В строке грамматического разбора глагольные показатели глоссируются в соответствии с традиционными названиями: *-ra* – *Praes*, *-s'i* – *Praet*, *-do* – *Fut*, *-bi* – *Infer*.

kita-*да*.

рассказать. *Praes-3SgObj*

‘Это рассказал старик Солда, это рассказал его отец’.

- (4) Tomoone ruado? *pos'uri*.

Tomoone ruado? *pos'uri-∅*.

Там всё время *крутятся. Praes-3Sg.Subj*

‘Он там все время *находится* (досл. “крутится”)’.

- (5) <...> nexu? s'ide d'ere d'aboone *soodi-o*.

<...> nexu? s'ide d'ere d'aboone *soodi-o*.

<...> трид два день[-Gen] длина-Prol *видеть.Praes-1SgObj*

‘<...> я *вижу* это уже на протяжении двух-трех дней’.

- (6) D'edos'ida kod'ekudona? *biixado-do?* *ka?e-do?*

D'edos'ida kod'e = ku-do-na? *biixado-do?*

Енисей. Nom-3Sg возле = Dim-Abl.Adv-1Pl море-Dat

ка?е-до?

упасть.Praes.Refl-3SgRefl

‘Енисей недалеко от нас в море *впадает* (досл. “упал”)’.

1.2. Форма “прошедшего времени”

Для описания событий в прошлом приведенная выше форма используется даже чаще, чем форма с суффиксом *-s'i*, называемая собственно прошедшим временем. Спектр употребления последней формы гораздо уже в сравнении с формой неопределенного времени, при помощи которого в повествовательном тексте обозначаются практически все события в прошлом. Форма “прошедшего времени” с суффиксом *-s'i* возможна только в ограниченном числе контекстов. Она употребляется для описания ситуаций, имевших место до времени основного повествования (7); ситуаций, относящихся к предшествующей сцене повествования (8); имевших место в прошлом и прекратившихся к описываемому моменту (9) и (10).

- (7) Kuo duboxuane d'uroi η as'i eseba? eeba? kaadorena?.

- Kuo₁ duboxuane₂ d'uroi. η a- \emptyset -s'i

- Когда-то_{1,2} *говорить.Praes-3SgSubj-Praet*

ese- \emptyset -ba? ee- \emptyset -ba? kaado = re-na?

отец-Nom-1Pl мать-Nom-1Pl болеть = Inch.Refl-1PlRefl

[Мальчик осматривает свое тело, покрытое коростой, и умерших от болезни членов своей семьи:] ‘- Когда-то отец и мать *говорили*, что мы бодем’.

- (8) Kuunaad'u mona noon'i? teba? Odeoxoda *leu η as'i*.

- Kuunaad'u mona noon-n'i? teba- \emptyset ?

- Как яйцо[-Acc] к-1Sg принести.Praes-3SgSubj

Odeoxoda *leu. η a- \emptyset -s'i*

Поэтому кричать. *Praes-3SgSubj-Praet*

[Чайка навещает героя повествования и просит его на время выйти из чума. Стоя снаружи, он слышит, что она кричит в чуме, а возвращаясь, обнаруживает, что его постель сложена по-другому. Некоторое время спустя, когда чайка уже улетила, он, укладываясь спать, обнаруживает возле себя в постели яйцо:] ‘- Как это она яйцо мне принесла? Вот потому-то тогда и *кричала*’.

- (9) Kuo duboxuane ud'ena? δ kat'i, tiena? δ kat'i. T' η ad'i t'uku med'e kadeba.

Куо ₁ duboxuane ₂	ud'e.na?	<i>ōka.t'i,</i>	
Когда-то _{1,2}	мясо.NomPl.1Pl	<i>много.Pl.Praet</i>	
tie.na?	<i>ōka.t'i.</i>		
олень.NomPl.1Pl	<i>много.Pl.Praet</i>		
T'iqad'i	t'uku	med'e-∅	kade-δa.
Теперь	всѣ[-Acc]	ветер-Nom	унести.Praes.ObjPl-3SgObj.

‘Когда-то мяса у нас *было много*, оленей *было много*. Теперь все это ветер унес’.

(10) Kuunad'uxua peeδoda kōa, piodo? kani. *D'axareδas'i monuos'ii meδo?*

Kuunad'uxua	pee-δo-da	kō-a-∅,
Как-то	бакарь-Dest[-Acc]-3Sg	найти-Praes-3SgSubj
pio-do?	kani-∅.	

улица-Dat идти.Praes-3SgSubj

D'axar.e-δa-s'i monuo-s'ii meδo-?

Не.знать-Praes.ObjPl-3SgObjPl упать-PartPraet чум[-Acc]-Pl

‘Какие-то бакари себе отыскал, на улицу вышел. <До того, как вышел,> он *не знал*, что чумы развалились’.

Таким образом, форма с суффиксом *-s'i* представляет засвидетельствованное также и в других языках мира специальное значение прошедшего времени, которое в определенном смысле является антагонистом перфекта, а именно, значение “*п р е к р а щ е н н о г о п р о ш л о г о*”: ‘ситуация имела место в прошлом и не является релевантной для настоящего момента’. Это значение впервые выделено и подробно описано в [Плунгия 2001]; см. также [Plungian, van der Auwera 2006].

Хотя отсутствие релевантности для настоящего момента часто имплицитно подразумевает более отдаленное прошлое, чем то, которое разворачивается во времени основного повествования и, таким образом, тесно связано с идеей предшествования, тем не менее временные рамки не предопределяют употребления этой формы. Таким образом, неверно было бы считать ее формой отдаленного прошедшего. Так, в примере (8) чайка принесла яйцо одновременно с тем, как она кричала. Тем не менее, чайка улетела, и крики ее полностью принадлежат прошлому, в то время как яйцо продолжает находиться рядом с героем повествования. Ср. также следующий пример:

(11) Nenedo n'ieδo? iredo?. Toroe kitaan'i? noo? *tōaδod'i.*

Nene-do	n'ie-δo?	ire-do-?
C-1Sg	Neg.Praes-1SgSub	жить-Fut-Conneg
Toroe	kita-a-n'i?	noo? <i>tō-a-δo-d'i.</i>
Так	сказать-VN-1Sg	к <i>npiūmu-Praes-1Sg.Subj.Praet</i>

[Чайки улетели, оставив героя повествования одного в своем стойбище.

Через некоторое время чайка, наставлявшая и оберегавшая его, прилетает и говорит, что ее отец поручает ему стеречь оленей. Она также объясняет, как с ними следует обращаться. Затем она говорит:] ‘Я с тобой жить не буду. Я *приходила*, чтобы рассказать <про оленей...>’.

Чайка говорит это в то время, когда она еще даже не ушла, но ее приход “аннулируется” тем, что она не останется. Именно поэтому употребляется форма прекращенного прошлого, хотя чисто формально ситуация является перфектной: ‘чайка пришла и находится здесь’.

Значение прошедшего времени – не осложненное никакими дополнительными семантическими компонентами – эта форма может выражать только в диалоговом регистре, то есть в прямой речи (12). При этом необходимо, чтобы фраза выражала новую для собеседника информацию. В противном случае, при обсуждении ситуаций, которые

предполагаются известными для обоих участников диалога, употребление формы с суффиксом *-s'i* регулируется теми же правилами, что и ее употребление в нарративном регистре (13) и (14).

- (12) Bunel'a kereta mekoda kaneada noo? mua. Aga pe D'ut'i monaa: – An'i sego-bu-ti?.

Уде pe D'ut'i Кабутато? *nobodabos'i*.

Bunel'a kere-ta me-ko-da kane-a-da noo? mu-a-Ø.

Бунеля свой-3Sg чум-Lat-3Sg идти-VN-3Sg к сделать-Praes-3SgSubj

Aga pe-Ø D'ut'i-Ø mona-a-Ø:

большой брат-Nom Дючи-Nomс сказать-Praes-3SgSubj

– An'i sego-bu-ti? Уде pe D'ut'i

– еще ночевать-VACond-2Du Маленький брат[-Acc] Дючи[-Acc]

Кабута-do? *nobod.a-bo-s'i*.

Дудинка-Dat *послать-Praes-1SgObj-Praet*

‘Бунеля домой собрался. Старший Дючи говорит: – Еще одну ночь у нас провели бы. Я младшего брата в Дудинку *послал*’. [Он выменяет у русских две телачьи шкуры на четыре бочонка вина. Если сегодня к вечеру вернется, то мы опять хорошо угостимся.]

- (13) Aga pe D'ut'i aburida irada: – Bunel'a tiarego, kudahado taabido. Bui pue? d'aboone *niedos'i d' aduro?*

Aga pe D'ut'i aburi-da ir.a-da:

Большой брат Дючи голова-Acc.3Sg поднять.Praes-3SgObj

– Bunel'a tiarego, kudahado ta-a-bi-do.

Бунеля оленевод издалика прийти-Infer-2Sg

Bui' pue-? d'aboone *nie-do-s'i d' adur-o?*

Десять год-GenPl протяжение *Neg.Praes-2Sg-Praet ходить-Conneg*

‘Старший Дючи голову поднял: – Бунеля-олeneвод, ты, должно быть, издалика пришел. Десять лет *не приходил*’.

В данном примере суффикс *-s'i* употребляется потому, что своим визитом Бунеля “отменил” то, что он десять лет не приходил.

- (14) Neda sonete?оходода ne кадахата monaa: – D'abo? d'igua. Ne *muadodi*, kaa.

Ne-da sonete=?o-ходо-da ne kaasa-xa-da

Жена-Gen.3Sg хоронить = NDV-AblSg-3Sg женщина женщина брат-Lat-3Sg

mona-a-Ø: – D'abo-j? d'igu-a-Ø.

сказать-Praes-3SgSubj – Счастье-1Sg не.иметься-Praes-3SgSubj

Ne *mu-a-do-di*, kaa-Ø.

Женщина[-Acc] *зять-Praes-1SgSubj-Praet умереть.Praes-3SgSubj*

‘Похоронив жену, он сказал своей сестре: – Нет мне счастья. Жену себе *взял <было>*, а она умерла’.

Во всех рассмотренных употреблениях формы с суффиксом *-s'i* семантический компонент ‘отсутствие результата’ реализовывался как ‘аннулированный результат’. Однако отсутствие результата у некоторой предельной ситуации может иметь место не только из-за того, что достигнутый результат был аннулирован, но и из-за того, что он так и не был достигнут (это значение, получающее отдельное грамматическое выражение в ряде языков, носит название “к о н а т и в а”). Показатели аннулированного результата и недостигнутого результата (объединенные термином “а н т и р е з у л ь т а т и в н ы е п о к а з а т е л и”) рассматриваются в статье [Плунгян 2001]. В этой статье, в частности, приводятся примеры совмещения конативного значения и значения аннулированного результата в одном показателе. Такая же ситуация имеет место и в энецком языке – см.

пример (15), где показатель *-s'i* употребляется в конативном значении (это значение часто реализуется в сочетании со словообразовательным показателем инхотатива):

- (15) Aburida *idokas'i*, leʔida *idoe*.
 Aburi-da *ido=ka-Ø-s'i*.
 Голова-Acc.3Sg *поднять=Inch.Praes-3SgSubj-Praet*
 leʔida-Ø *ido-e*
 не.мочь.Praes-3SgSubj *поднять-Inf*
 ‘Голову ей *хотел* было *поднять*, но *поднять* не может’.

1.3. Форма инференциалиса, или “прошедшего отдаленного”

Как показал анализ текстов, значение прошедшего времени, не осложненное никакими дополнительными модальными компонентами, у этой формы можно выделить только в одном очень специальном случае. Указанное значение форма с суффиксом *-bi* принимает только в рамках одной из возможных стратегий организации нарратива, причем эта стратегия засвидетельствована – как одна из возможных – только в лесном диалекте. Речь идет о чередовании форм с суффиксом *-ɬa* в функции *praesens historicum* и форм с суффиксом *-bi* в функции нарративного прошедшего. Эта стратегия ограничена лесным диалектом, находящимся в тесном контакте с ненецким языком. Необходимо отметить в связи с этим, что тундровые энцы занимают несколько обособленное положение в ненецко-энецкой общности: культурные отличия между группами лесных и тундровых энцев сильнее собственно лингвистических, и в то время, как лесные энцы (или бай) имеют единую материальную культуру с ненцами, носители тундрового диалекта (или сомату) по своей материальной культуре ближе к нганасанам. Таким образом, в более тесном контакте с ненцами находятся именно носители лесного диалекта. Более того, по данным имеющихся в нашем распоряжении текстов, указанная стратегия распространена прежде всего в речи тех носителей, которые демонстрируют ненецко-энецкое двуязычие. В ненецком же форма с суффиксом *-vy*, соответствующая энецкой форме с суффиксом *-bi*, также может употребляться в функции нарративного прошедшего в рамках аналогичной нарративной стратегии. Подробно функционирование этой формы в ненецком языке описано в работе [Буркова 2004]; основным значением данной формы автор указанной работы считает инференциальное, однако описывает и ренарративные употребления формы с суффиксом *-vy*. Таким образом, мы считаем, что использование формы с суффиксом *-bi* в функции нарративного прошедшего в лесном диалекте энецкого языка может объясняться ненецким влиянием.

Вообще же при помощи формы с суффиксом *-bi* описываются ситуации, свидетелем которых говорящий не был, и о которых он судит прежде всего по наблюдаемым результатам. Это, инференциальное, значение представлено примером (16):

- (16) Sekonedu? nõide ud`adu? digua, totorio kas`araxa?. Ou?, ekiðo kuunaad`u *kaadobi*?
 Se.kone-du? nõide ud`a-Ø-ðu? digu-a-Ø,
 лицо.Loc-3Pl *целый* мясо-Nom-3Pl *не.иметься-Praes-3SgSubj*
 totorio kas`a=ɣaxa-?.
 тоже каша=Comp-3PlSubj
 Ou?, ekiðo kuunaad`u *kaado-bi-?*
 О, вот как *болеть-Infer-3PlSubj*
 [Мальчик, очнувшись после болезни, которой он не помнит, осматривает своих умерших родителей.] ‘На лице у них целого мяса нет, лица все, как каша. О, вот как тяжело они *болели*!’.

Инференциальное значение часто подразумевает, что ситуация – в силу незасвидетельствованности – относится к периоду, предшествующему времени основного повествования (это значение присутствует и в приведенном примере). Однако это значение в

действительности является имплицативным и реализуется не во всех контекстах, и выделение у этой формы значения отдаленного прошедшего также было бы неправомерно. Против такого решения говорит и тот факт, что форма с суффиксом *-bi* выражает в некоторых случаях также значение перфекта. Перфект же, с одной стороны, противоположен по значению прошедшему отдаленному, обычно подразумевающему разрыв между настоящим моментом и описываемой ситуацией, с другой стороны, естественно связан с собственно инференциальным значением (связь эта хорошо засвидетельствована для различных языков мира). Действительно, эти два значения достаточно близки, поскольку и в инференциальном, и в перфектном употреблении акцент делается на результирующем состоянии:

(17) Soona, d'uroiŋa: [...] Noona? taabiido? irede ŋa! Pe baḍibi piinoo?.

Soo.ŋa-Ø,		d'uroi. ŋa-Ø: <...>	
смотреть.Praes-3SgSubj,		говорить.Praes-3SgSubj	
Noo-na?	<i>taa-bi-ḍo?</i>	ire-de	ŋa-Ø!
к-1Pl	<i>nodoimu-Infer-3SgRefl</i>	жить-PartPraes	небо-Nom
Pe-Ø	<i>baḍi-bi-Ø</i>	piinoo?.	
дерево-Nom	<i>pacmu-Infer-3SgSubj</i>	ночью.	

‘Смотрит, говорит: [– Потому-то я и хотел сделать вчера шайтанскую нарту.] Живое божество к нам *пришло!* Дерево за ночь *выросло!*’

Инференциальная форма может использоваться также в том случае, если описываемая ситуация является для говорящего неожиданной. В этом случае выражается значение адмиратива. Необходимо отметить, что перфектное значение реализуется практически всегда одновременно с адмиративным значением. Оно присутствует также в описанной в примере (17) ситуации: несмотря на то, что говорящий хотел с вечера подготовить шайтанскую нарту, он не знал наверняка, в чем конкретно проявит себя божественное начало, и потому появление божества и выросшее за ночь дерево в какой-то мере явились для него неожиданностью.

Как уже говорилось, перфектное значение реализуется практически всегда в контексте адмиративного – в то же время, обратное неверно: адмиративное значение может выражаться и вне связи с перфектным (23):

(18) Uḍeḍa *totubebi?*, agaane *sixiḍibi?*

Uḍe-Ø-ḍa	<i>totube-bi-?</i> ,	agaane	<i>sixiḍi-bi-?</i>
рука-NomPl-3Sg	<i>tesno-Infer-3PlSubj</i>	сильно	<i>быть.связанным-Infer-3PlSubj</i>

[Отец и мать долго не могли успокоить плачущего младенца: мать клала его в колыбель, качала на руках, кормила грудью, но все это не помогало. Когда отец развязал туго спеленутого ребенка, он сразу успокоился. Отец говорит: – Давно руки развязать надо было!] ‘*Оказывается, рукам тесно было, они туго спеленуты были, оказывается.*’

Возможно сочетание суффиксов *-bi* и *-s'i* в пределах одной глагольной формы. При помощи формы с суффиксами *-bi* и *-s'i* можно обозначить, что описываемая ситуация составляет контраст с текущим положением дел (19) либо что описываемая ситуация₁ является причиной, по которой ситуация₂ не достигла результата (20), (21):

(19) Sexotei d'ere-xine d'urako? somatuxine *saadubit' i.*

Sexotei	d'ere-xine	d'urako-?	somatu-xine	<i>saadubit' i.</i>
старый	день-Loc	ненец-NomPl	сомату-LocPl	<i>воевать-Infer-Praet</i>

‘В прежние времена ненцы *воевали* с энцами-сомату’.

(20) T'uimoda nexaado? komabos'i, t'uimoda mekoneda d'urotabiḍas' i.

T'uimo-da	nexa-a-do?	koma-bo-s'i,
-----------	------------	--------------

ружье-Acc.3Sg взять-VN-Dat хотеть.Praes-1SgObj-Praet
 t'ui mo-da me-kone-da d'urota-bi-*da-s'i*.
 ружье-Acc.3Sg чум-Loc-3Sg забыть-Infer-3SgObj-Praet

‘Я хотел взять у него ружье, но оказалось, что он ружье забыл дома’.

(21) T'io d'ere pogadoba? t'iado? komabat'i, kaina? orit'una? t'io bidud'i.

T'io d'ere poga-do-ba? t'i-a-do? koma-ba-t'i,
 Вчера день сеть-Dest[-?Gen]-1Pl ставить-VN-Dat хотеть.Praes-1PlSubj-Praet
 kai-na? orit'u-na? t'io-bi-*du-d'i*.
 товарищ[-NomPl]-1Pl раньше-1Pl ставить-Infer-3PlSubj-Praet

‘Вчера мы хотели было поставить сеть для себя, но оказалось, что наши товарищи уже поставили ее раньше нас’.

Если в примере (19) форма *saadubit'i* демонстрирует аддитивность инференциального и антирезультативного значений, то в примерах (20) и (21) в прямом значении употребляется только суффикс адмиратива *-bi*, в то время как нерезультативность ситуации, выраженная суффиксом *-s'i*, оказывается чисто субъективной: речь идет о н а п р а с н о м результате. В действительности ситуации, описанные в (20) и в (21), являются результативными (‘ружье забыто’, ‘сеть поставлена’), однако результат этот не является успешным с точки зрения прагматически главной ситуации, так как он представляет собой помеху для ее развития. Особенно показательным в этом отношении оказывается пример (21): если в примере (20) ситуация (‘ружье забыто’) может быть одинаково неуспешной и с точки зрения того, кто ружье забыл, и с точки зрения того, кто хотел его попросить, то в примере (21) ситуация (‘сеть поставлена’) вполне успешна с точки зрения тех, кто ее осуществил, но неуспешна с точки зрения тех, чьи планы она нарушила.

Суффикс *-bi* с адмиративным значением может также входить в состав формы будущего времени с показателем *-do*:

(22) Kun'i an'i kaadobido?

Kun'i an'i kaa-do-bi-do?
 Как еще умереть-Fut-Infer-2Sg

‘Как это ты <вдруг> умрешь?’

1.4. Формы с референцией к будущему времени

Итак, форма с показателем *-ga* может относиться к ситуациям в прошлом и в настоящем, форма с показателем *-s'i* может описывать только очень узкий класс ситуаций в прошлом, а форма с показателем *-bi* является прежде всего эвиденциальной. Таким образом, ни одна из них не выражает собственно глагольного времени. В энецком языке существует еще две финитные формы, в семантику которых входит компонент временной референции, а именно, две формы будущего времени. Первая форма – форма с суффиксом *-do* (определенное будущее время, см. (23)). Форма будущего времени с суффиксом *-do* является в действительности частично грамматикализовавшейся формой имперфектива: с одной стороны, показатель *-do* является обязательным при выражении значения будущего времени (23), с другой стороны, он продолжает выражать также и имперфективное значение (24). Кроме того, в отрицательной конструкции он сохраняет свою позицию при смысловом глаголе, не переходя к отрицательному. Таким образом, этот показатель нельзя с полным основанием отнести к парадигме грамматических глагольных форм:

(23) N'ieo mod' e δ ado?

N'ie-o mod' e δ a-do-?
 Neg.Praes-1SgObj шевелить-Fut-Conneg

‘Не буду ее тормошить.’

(24) Удахане *lobit'euta?*

Уда-хане

lobit'eu.ta-?

Рука-Лос

взмахнуть.Ipf.Praes-3PlSubj

'<Вот они> руками *машут*'. (*lobit'eus-* 'взмахнуть' > *lobit'eus-do-* 'махать')

Вторая форма – форма с суффиксом *-mi* (будущее с оттенком неуверенности):

(25) *Tukađina? pexoguaba?, kodođina? meiba?*

Tuka-đi-na?

пехо-gua-ba?,

kodo-đi-na?

топор-Dest-[Acc]Pl-1Pl

взять-Hort-1PlSubj

нарта- Dest-[Acc]Pl-1Pl

me-i-ba?

делать-Irr-1PlSubj

[Старик говорит своим спутникам: – Пойдемте-ка завтра втроем в лес.]

'Возьмем-ка топоры, *может быть, сделаем себе нарту*'. [Может быть,

шайтанскую нарту сделаем. Я, может быть, во сне кое-что видел...]

Употребление неопределенного будущего в примере (25) связано с тем, что говорящий не может наверняка обещать, что они сделают новую нарту для шайтана, которого у них пока нет (появление собственного родового шайтана – процесс магический), так как он руководствуется при планировании своих действий только своими сновидениями.

Форма будущего неопределенного в сочетании с суффиксом *-s'i* выражает нереализованную ситуацию. Временная локализация нереализованной ситуации может быть любой: она может локализоваться в настоящем (26), прошедшем (27) или будущем (28). Морфологическая композиция этой формы достаточно точно отражается в ее семантической композиционности: 'гипотетическая ситуация [-*mi*], не достигающая результата [-*s'i*']'. Эта форма является обязательной в синтаксической конструкции, выражающей ирреальное следствие, см. (26):

(26) *Ixutosii abun'i? ixukoe d'ad'uio-s'i.*

Ixuto-sii

a-bu-n'i?

ixukoe

d'ad'u-i-o-s'i

курить-PartPraet

быть-VACond-1Sg

курить-Inf

закончить-Irr-1SgObj-Praet

'Если бы я курил, курить уже закончил бы'.

(27) *Tod'i ogonen'i? adađairo-s'i.*

Tod'i

ogone-n'i?

adađa-i-ro-s'i.

Ты

раньше-1Sg

понять-Irr-2SgObj-Praet

'Ты раньше меня *понять* могла бы'.

(28) *Nenedo ireiđod'i, kuunaad'uxorii? n'ieo d'odiso?*

Nenedo

ire-i-đo-d'i,

kuunaad'u-xorii?

с-2Sg

жить-Irr-1SgSubj-Praet

как-Emph

n'ie-o

d'odis-o?

Neg.Praes-1SgSubj

мочь-Conneg.

'Я с тобою *жила бы*, но никак не могу'.

1.5. Характеристика энецкой глагольной системы в целом

Подведем итог рассмотрению тех форм энецкого языка, которые можно связать со значением временной референции. Действительно, временная локализация выражается при помощи этих форм – однако это, так сказать, "побочный эффект" их употребления. Прежде всего эти формы выражают модальные значения: актуальность / неактуальность ситуации, способ получения информации о ней, ее гипотетический либо реальный характер. Это становится еще более очевидным, если рассмотреть совместную встречаемость этих суффиксов, см. таблицу 3. В первом столбце указаны взаимоисключающие суффиксы, во втором для каждого суффикса из первого столбца перечислены все сочетающиеся с ним суффиксы, в третьем перечислено значение этой комбинации.

Суффиксы		Значение
- <i>ɟa</i>		‘ситуация в настоящем и прошедшем’
	- <i>do-ɟa</i>	‘дуративная ситуация/ситуация в будущем’
	- <i>ɟa ... -s'i</i>	‘антирезультативная ситуация в прошлом’
- <i>bi</i>		инференциалис, адмиратив, перфект
	- <i>do-bi</i>	‘дуративная ситуация/ситуация в будущем + адмиратив’
	- <i>bi ... -s'i</i>	‘напрасный результат ситуации + адмиратив’
- <i>mi</i>		‘гипотетическое будущее’
	- <i>mi ... -s'i</i>	‘нереальная ситуация’

Очевидно, что ни одна из этих форм не ориентирована на выражение временной референции события. Логика организации этой системы станет гораздо более прозрачной, если признать, что она ориентирована по преимуществу на выражение модальных значений. Первый шаг к признанию этого – определение суффикса *-ɟa* как показателя не неопределенного времени, а *realisa*: этот показатель употребляется в составе всех глагольных форм, которые описывают ситуацию реализованную, реализующуюся либо такую, наступление которой в будущем считается достаточно определенным. Тогда вполне естественным и логичным оказывается включение суффикса *-ɟa* в ряд других показателей с сугубо модальным значением. Помимо показателей *-bi* и *-mi*, в этот ряд входит также показатель дебитива *-t'ui-t'ido*, см. (29)–(30), показатель эпистемической возможности (пробабилитива) *-ta*, см. (31)–(32), использующийся также в функции конъюнктива (33), показатель интеррогатива *-ba*, см. (34)–(35), императива (нулевой суффикс и особые личные окончания глагола), см. (36)–(37) и аудитива *-тили*, см. (38).

(29) Tóɟna pióɟa *mad' u*.

Tóɟna	pió-ɟa	<i>ma-d' u-∅</i>
Наверное,	дочь-3Sg	<i>сказать-Debit-3SgSubj</i>

‘Может быть, дочь его *должна сказать?*’

(30) Mod'i *it'ido? kane?*.

Mod'i	<i>i-t' u-ɟo?</i>	<i>kane-?</i> .
Я	<i>Neg-Debit-1SgPraes</i>	<i>идти-1SgRefl</i>

‘Мне *не придется* идти’.

(31) Tóɟna *tia? toneata?*.

Tóɟna	<i>tia-?</i>	<i>tonea-ta-?</i> .
Наверное	олень-NomPl	<i>иметься-Prob-3PlSubj</i>

‘Может быть, олени *есть?*’.

(32) Mod'i *s'ii? ita? soode?*?

Mod'i	<i>s'i-i?</i>	<i>i-ta-?</i>	<i>soode-?</i> .
Я	PronPersObl-1Sg	<i>Neg-Prob-3PlSubj</i>	<i>видеть-Conneg</i>

‘Они меня, *кажется, не видят?*’.

(33) Solda *n'ie ten'ituro? nióɟa ata*.

Solda	<i>n'ie-∅</i>	<i>ten'ituro-?</i>
Солда	<i>Neg.Praes-3SgSubj</i>	<i>думать-Conneg</i>

pio-Ø-ða	a-ta-Ø
сын-Nom-3Sg	быть- Prob-3SgSubj

‘Солда не думает, что это <есть> его сын’.

(34) T'ike mekido tōbado?

T'ike	me-kido	tō-ba-do
тот	чум-AbIPl	прийти-Interr-2SgSubj

‘Ты из тех чумов пришел?’

(35) Komabado, ibado, meto? kanedaдо?

Koma-ba-do,	i-ba-do,	me-to?	kane-d.a-до?
Хотеть-Interr-2SgSubj	Neg-Interr-2SgSubj	чум-Dat	идти-Fut.Praes-1SgSubj

‘Хочешь ты или нет, а я домой пойду’.

(36) D'ed'u, ud' ede?

D'ed'u	ud' ede-?
лебедь	слушать-Imv2SgSubj

‘Лебедь, слушай!’

(37) Ido d'oxu?, eneteo? ðka?

I-Ø-до	d'oxu-?	eneteo-?	ðka-?
Neg-Imv-2SgRefl	потеряться-Conneg	человек-NomPl	много-3PlSubj

‘Не потеряйся, народу много’.

(38) Nei? mekodo leokounида.

Ne-i?	me-kodo	leo=ko-uni-ða
Жена-1Sg	чум-AbI	крикнуть=Inch-Audit-3SgObj

‘Жена из чума, слышно, крикнула’.

Таким образом, в энецком есть ряд реальных форм (содержащих показатель -*ða*) и ряд ирреальных форм: инференциалис, гипотетическое будущее, пробабилитив, дебитив и пр. Отнесение всех прочих форм, помимо тех, что содержат показатель -*ða*, к ирреальным, основывается не только на их семантике, но и на формальных свойствах энецкой глагольной парадигмы. В энецком существует две формы отрицательного глагола, *ni-* и *i-*, первая из них употребляется для отрицания реальных форм (с суффиксом -*ða*), вторая – для отрицания ирреальных (с суффиксами *-bi-*, *-mi* и с показателями, приведенными в примерах (29)–(38), в которых приводятся также предложения с отрицательным глаголом)⁵.

В связи с интерпретацией энецкой глагольной системы возникает несколько вопросов более общего, теоретического характера. Наиболее очевидный вопрос – как выбрать из двух альтернативных описаний показателя то, которое в наибольшей степени отражает его семантику? Так, показатель -*ða* можно считать показателем реалиса либо показателем, объединяющим значение настоящего и прошлого, то есть, как считалось традиционно, приписать ему не модальное, а темпоральное значение. В случае энецкого языка выбор первой трактовки оказывается предпочтительнее в свете того, что вся система энецкого языка ориентирована на выражение модальных, а не временных значений. В связи с этим нам кажется необходимым вкратце коснуться некоторых аспектов типологии глагольных систем.

⁵ Это распределение нарушается в императиве, где используются обе основы отрицательного глагола. В связи с этим необходимо, однако, отметить, что императивные формы не образуют единой парадигмы: для каждого из лиц (первого, второго, третьего) используется отдельный показатель наклонения, так что фактически более корректно было бы говорить о формах хортатива для первого лица, императива для второго лица и оптатива – для третьего.

2.1. Традиционный подход: типология значений

Одной из основных задач типологического изучения глагольных категорий традиционно считается (и фактически является) сбор максимально полной коллекции значений, могущих получать грамматическое выражение в составе глагольной конструкции. Такой подход можно обозначить как *типологический*; он реализован во множестве работ – в частности, в основополагающих работах [Dahl 1985] и [Bybee, Perkins and Pagliuca 1994], являющихся без преувеличения катехизисом современной типологии глагольных значений. Авторы второй работы предлагают следующее трехуровневое противопоставление для описания грамматических (глагольных) значений:

1. *Концептуальная область* (*conceptual domain*) – предположительно универсально значимый концепт, например, область темпоральных значений (*time expressions*), которые получают как лексическое, так и грамматическое выражение.

2. Грамматическое выражение значений из некоторой концептуальной области, в противовес лексическому, является весьма ограниченным: только некоторые ключевые понятия из всей концептуальной области получают грамматическое выражение. Эти общие для большинства языков ключевые понятия именуется *“gram-types”* (это понятие было предложено в [Bybee, Dahl 1989], русскоязычный термин, который мог бы служить переводом – *“универсальная граммема”*).

3. Наконец, манифестация универсальных граммем в конкретных языках – это специфические для данного языка *показатели*.

Значения отдельных показателей являются основным объектом изучения также в другом важном и активно развивающемся направлении исследования – а именно, в теории грамматикализации. В большинстве работ изучаются пути грамматикализации отдельных показателей – но не эволюция системы в целом.

В отечественной типологии принят подход, близкий к предложенному в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994] (см., например [Плунгян 2000] и приводимую там литературу). В этой модели также реализуется трехуровневое (точнее, трехчастное) противопоставление, близкое к предложенному в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]. Прежде всего, составляется *Универсальный грамматический набор* (УГН) – коллекция глагольных значений, единицами хранения в которой являются *“универсальные граммемы”* (эквиваленты *“gram-types”*). Далее, все пространство универсального грамматического набора делится на *“семантические зоны”* (эквиваленты *“semantic domains”*). Наконец, при изучении конкретного языкового материала объектом описания служит реализация универсальных граммем в рамках конкретной системы. Прежде всего изучается выражение нескольких граммем одним и тем же показателем в разных его употреблениях (совмещение значений, или полисемия показателя) и одновременное выражение нескольких граммем одним и тем же показателем (кумуляция значений). Соответственно, процедура описания глагольных показателей произвольного языка состоит в выборе для каждой глагольной формы ярлыка из УГН, соответствующего ее семантике. В случае полисемии подбирается несколько ярлыков либо, в случае частотной полисемии, – один ярлык, описывающий такую частотную комбинацию, или *к л а с т е р*, значений. (Примером кластера может служить значение *и м п е р ф е к т и в а*, объединяющего хабитуальное и дуративное значения.)

Существенно, что формы разных языков, получившие одинаковые ярлыки, рассматриваются при таком подходе как семантически тождественные (например, считается, что форма прошедшего времени в тюркских языках имеет то же значение, что форма прошедшего времени в индоевропейских или австронезийских языках). Таким образом, подход, ориентированный на выделение в конкретном языке значений из универсально-грамматического набора, предполагает:

– автономное описание семантики каждой глагольной формы, при котором семантика каждой формы определяется прежде всего как совокупность выражаемых ею значений из УГН. Существенно, что при этом в очень малой степени учитываются семантические оппозиции, которые данная форма образует с другими формами системы;

– рассмотрение глагольных форм с одинаковыми ярлыками в разных языках как семантически тождественных.

Данный подход (берущий за основу значения УГН), тем самым, предполагает максимально стандартизованное описание языка. Несомненное преимущество такого подхода в том, что одинаковый формат описания позволяет сопоставлять друг с другом глагольные формы разных языков.

При таком подходе предполагается, что основные отличия между языками лежат прежде всего в плоскости того, “как именно и в каком объеме в языке будет использовано совмещение и кумуляция универсальных грамматических атомов” [Плунгян 2000: 235].

2.2. Необходимость типологии систем

С одной стороны, именно описанный выше подход выражает самую суть грамматической типологии, более того – обеспечивает ее существование, так как вне презумпции существования единого грамматического набора, значения из которого грамматикализованы в языках мира, становится бессмысленной и невозможной сама идея межязыкового сопоставления, то есть типологии как таковой. С другой стороны, этот подход, на наш взгляд, нивелирует ряд существенных различий между языками. Стандартная схема – если форма выражает прошедшее время, то она должна быть однозначно отнесена к семантической зоне времени – часто существенно огрубляет картину, не позволяя выявить, что “прошедшие времена” в двух сопоставляемых языках имеют совершенно различную природу. Эта возможность реализуется при другом подходе, в котором единицей типологического анализа является не отдельно взятая глагольная форма, а вся глагольная система в целом. Иными словами, речь идет о том, чтобы дополнить типологию значений типологией систем.

Прежде всего, очевидно, что типология систем, изучающих всю совокупность глагольных форм, надстраивается над типологией значений, изучающей каждую глагольную форму в отдельности. Подчеркнем, что типология систем не является альтернативой типологии значений, напротив, первая не может существовать без последней, то есть без описания глагольных форм различных языков в едином формате, который обеспечивается именно типологией значений.

Какие параметры классификации систем можно предложить?

2.3. Типология систем, предложенная в работах Д. Бхата (ориентация языка на выражение темпоральных / аспектуальных / модальных значений)

Укажем одно из возможных направлений исследования глагольных систем: при изучении конкретно-языковой реализации значений из УГН можно говорить не только об их комбинации, но и о том, какие именно значения из всего множества грамматикализованы в данном языке. Как показало исследование [Bhat 1999], в связи с этим речь может идти о некоторых интересных обобщениях. А именно, о том, что при формировании грамматической системы язык может отдавать предпочтение (prominence) какой-то одной семантической зоне, грамматикализуя прежде всего относящиеся к ней значения. Разные языки отдают предпочтения разным семантическим зонам. Этот факт позволил Д. Бхату построить следующую типологию систем: 1) системы, ориентированные на выражение аспектуальных значений (aspect-prominent systems) 2) системы, ориентированные на выражение темпоральных значений (tense-prominent systems) и 3) системы, ориентированные на выражение модельных значений (mood-prominent systems).

2.4. Влияние типологии систем на типологию значений

Определение типа языка, то есть определение его доминирующей глагольной категории, делается с опорой на описание, выполненное в терминах УГН. В то же время, возможно и обратное влияние: типология систем позволяет уточнить сделанное описание. Наиболее очевидный случай такого уточнения представлен как раз показателем *-ra*. Если бы энецкая система в целом была ориентирована на выражение временных значений, более естественным было бы описывать его как показатель настоящего и прошедшего времени, но поскольку очевидна ориентация этой системы на выражение модальных значений, предпочтительнее оказывается описывать его как показатель реализа. Таким образом, типология систем в некоторых случаях позволяет выбрать более адекватный ярлык из УГН.

Кроме того, типология систем дает интересные результаты применительно к полисемичным показателям. При рассмотрении таких показателей возникает вопрос о том, какое именно из значений следует признать исходным. Необходимо отметить, что при решении этого вопроса в последнее время большой вес придается не только внутриязыковым аргументам, но и значительному объему данных о путях грамматикализации, полученным в последнее десятилетие. Поскольку пути грамматикализации признаются однонаправленными, считается, что направление эволюции грамматических показателей жестко детерминировано, и исходным следует признавать то значение, которое постулируется как начальное для соответствующего пути грамматикализации. Какие результаты можно получить при применении этого подхода к материалу энецкого языка?

Рассмотрим три полисемичных показателя: *-do*, *-bi* и *-s'i*.

Показатель *-do* представляет не только очевидный случай полисемии, но и яркий пример грамматикализации словообразовательного показателя с имперфективным значением в словоизменительный показатель со значением будущего времени. Такой путь грамматикализации хорошо засвидетельствован (см. прежде всего [Haspelmath 1998]; хабикулярно-футуральная полисемия подробно обсуждается также в [Татевосов 2004]). О том, что в энецком грамматикализация направлена именно таким образом, свидетельствуют и внутриязыковые данные: эволюция значения сопровождается повышением степени грамматичности показателя. Существенно, что такое направление грамматикализации не противоречит общим принципам развития глагольной системы: многократно отмечалось, что значение будущего времени находится на стыке модальных и темпоральных значений. Таким образом, единственный "полноценный" темпоральный показатель, развившийся в глагольной системе энецкого языка, не лишен модального оттенка.

Показатель *-bi* демонстрирует совмещение значений адмиратива, инференциалиса и перфекта. Связь инференциального и перфектного значения достаточно хорошо известна. Она обсуждается, в частности, в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994], где постулируется путь грамматикализации от перфектного значения к инференциальному. Таким образом, рассматривая показатель *-bi* изолированно, мы должны были бы постулировать исходность именно перфектного значения и производность значения инференциальности. В противоречие с этим, отчасти, входит то, что перфектное значение у показателя *-bi* появляется только в контексте адмиративного. Но, главное, если принять во внимание ориентацию энецкой системы на выражение именно модальных значений, то первичность перфектного значения становится и вовсе сомнительной: перфектному значению неоткуда взяться в системе такого рода, тогда как наличие в ней инференциального значения, напротив, вполне логично. Таким образом, для модально ориентированных систем путь грамматикализации, стадиями которого являются инференциалис и перфект, ориентирован противоположным образом, и это естественно обуславливается общими принципами организации системы. Следует специально подчеркнуть, что признание противоположно направленного пути грамматикализации не вносит дополнительной степени свободы в теорию путей грамматикализации: предполагается (этот вопрос, естественно, требует дополнительного изучения), что постулирование того или иного

направления пути грамматикализации не является произвольным, но скоррелировано с дополнительным параметром – ориентацией системы на грамматикализацию значений из определенной семантической зоны.

Наконец, показатель *-s'i* выражает два значения: он описывает, во-первых, антирезультативную ситуацию в прошлом (иными словами, кумулятивно выражает значения прошедшего времени и антирезультатива), и ситуацию в прошлом – во-вторых. На первый взгляд кажется, что в данном случае следует считать исходным инвариантное значение показателя, присутствующее во всех его употреблениях – а именно, значение прошедшего времени. Антирезультативность в таком случае следовало бы признать оттенком значения, проявляющимся в некоторых употреблениях показателя. К подобному решению исследователя зачастую может подталкивать следующее соображение: кажется странным считать исходным такое “экзотическое” значение, как антирезультативность, рассматривая при этом столь “основополагающее” значение, как прошедшее время, всего лишь в качестве дополнительного. Однако этому противоречит то, что более частотным и контекстно независимым является как раз антирезультативное значение: приведенные выше примеры показывают, что энецкая глагольная система оказывается очень чувствительна к антирезультативности в различных ее аспектах: аннулированный результат, конатив, ирреальный статус ситуации, “напрасный” результат. В то же время, значение прошедшего времени в чистом виде этот показатель может выражать только в диалоговом регистре при введении новой информации. Иными словами, показатель *-s'i* следует считать показателем антирезультатива, который может быть приспособлен для выражения временной референции. Эта, несколько необычная, ситуация оправдывается тем, что именно антирезультативное значение более органично вписывается в глагольную систему энецкого языка, так как оно является, безусловно, в сильной степени модальным, будучи связанным с идеей неактуальности. Таким образом, учитывая общую ориентацию системы на выражение модальных значений, нас уже не должно удивлять наличие показателя с базовым экзотическим значением и периферийным значением прошедшего времени, которое проявляется, образно говоря, только в случае крайней необходимости – для указания на временную соотнесенность ситуации, информация о которой является новой для собеседника в диалоге.

Влияние типологии систем наиболее показательно в случае с морфемами *-bi* и *-s'i*: адекватная интерпретация этих показателей входит в противоречие с некоторыми эмпирически установленными закономерностями (однаправленность путей грамматикализации в первом случае и выбор инвариантного значения в качестве исходного – во втором). На самом деле, аккуратное описание языковых данных в любом случае как с привлечением типологии систем, так и без него, потребовало бы нарушить эти принципы. Но обращение к типологии систем в данном случае позволило объяснить эти исключения из общих правил: с точки зрения глагольной системы существование этих особенностей вполне мотивированно, и это позволяет говорить уже не о девиациях, а об альтернативных путях эволюции глагольных показателей, которые должны учитываться ровно в той же степени, что и более распространенные варианты.

Сокращения, используемые в статье

Дефисом (-) в строке морфологического разбора отделяются словоизменяемые показатели, знаком равенства (=) – словообразовательные. Поссесивные показатели глоссируются в формате лицо + число (напр., 3Sg), показатели личного согласования – в формате лицо + число + тип спряжения (напр., 3SgObj).

1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо

Abl – аблатив

Acc – аккузатив

Adv – локативный или лативный падежный показатель, использующийся в формах наречий и послелогов

Caus – каузатив

Copneg – коннегатив
 Dat – датив
 Dest – дестинатив (предназначенный для кого-то объект)
 Dim – диминутив
 Du – двойственное число
 Dur – дуратив
 Fut – будущее время
 Gen – генитив
 Inc.Stat – инцептивный суффикс со значением наступления состояния
 Inch – инхоатив
 Inf – инфинитив
 Infer – инференциалис
 Itg – гипотетическая форма
 Lat – латив
 Loc – локатив
 NDV – отглагольное имя
 Neg – отрицательный глагол
 Nom – номинатив
 Obj – объектное спряжение
 PartPraet – причастие прошедшего времени
 Pl – множественное число
 Praes – настоящее, или “неопределенное” время
 Praet – прошедшее время
 Prol – пролатив
 Refl – рефлексивное спряжение
 Sg – единственное число
 Subj – субъектное спряжение
 VACond – условное деепричастие
 VN – отглагольное имя

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Буркова 2004 – С.И. Буркова. Эвиденциальность и эпистемическая модальность в ненецком языке // Ю.А. Ландер и др. (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004.
- Долгих 1961 – Б.О. Долгих. Мифологические сказки и исторические предания энцев // Труды Института этнографии. Новая серия. М., 1961.
- Лабанаускас 2002 – К.И. Лабанаускас. Родное слово. Энецкие мифы, сказки и предания. СПб., 2002.
- Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология. М., 2000.
- Плунгян 2001 – В.А. Плунгян. Антирезультатив: до и после результата // В.А. Плунгян (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 1: Грамматические категории. М., 2001.
- Татевосов 2004 – С.Г. Татевосов. Есть – бывает – будет: на пути грамматикализации // Ю.А. Ландер и др. (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004.
- Bhat 1999 – D.N.S. Bhat. The prominence of tense, aspect, and mood. Amsterdam, 1999.
- Bybee, Dahl 1989 – J.L. Bybee, O. Dahl. The creation of tense, and aspect systems in the languages of the world // Studies in language. 13, 1989.
- Bybee, Perkins, Pagliuca 1994 – J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. Back to the future // B. Heine, E. Traugott (eds.). Approaches to grammaticalization. V. 2. Amsterdam, 1994.
- Dahl 1985 – O. Dahl. Tense and aspect systems. Oxford, 1985.
- Haspelmath 1998 – M. Haspelmath. The semantic development of old presents: new futures and subjunctives without gramaticalization // Diachronica. XV(1), 1998.
- Helimski 2001 – E. Helimski. Samoyedic studies: a state-of-the-art report // Finnisch-Ugrische Forschungen. 56, 2001.
- Plungian, van der Auwera 2006 – V. Plungian, J. van der Auwera. Towards a typology of discontinuous past marking // STUF. 2006.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Е.В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004. 608 с.

Основная идея монографии Елены Викторовны Падучевой – это положение о необходимости включения в аппарат лингвистического описания особых правил, по которым модифицируются значения лексических единиц. Эти правила могут описывать как механизмы семантической деривации (выводимости производных значений из исходных), так и контекстные семантические сдвиги. Конечной целью подобных исследований является построение грамматики словаря¹, т.е. системы правил, описывающих организацию лексикона того или иного языка и обеспечивающих “дополнение словарных толкований продуктивными моделями их модификации под воздействием контекста” (с. 176)². Говорить о механизмах, а не просто о расширенных толкованиях в данном случае можно потому, что информация о способах взаимодействия лексемы с контекстом часто относится к целым семантическим классам слов. Механизмы такого рода отражают динамическую природу языка; они позволяют описывать поведение слова в условиях его реального употребления, равно как и его семантическое развитие в диахронии. Тем самым, в фокусе внимания оказывается многозначность (на синхронном срезе) и динамика лексической системы (в диахронной перспек-

тиве)³. Понимаемая таким образом грамматика словаря позволила бы представить образование новых значений на базе исходных как упорядоченный процесс, подчиняющийся определенным принципам. Кроме того, грамматика словаря предназначена выявить системные параметры организации лексики. Исследование строится в основном на материале русских глаголов. Однако в случаях, когда обсуждаемые явления лучше иллюстрируются с помощью лексических единиц иной категориальной принадлежности, привлекаются и другие части речи (ср. существительное *вина́* и наречия *давно* и *долго*, анализируемые в экскурсах 1 и 2).

Монография состоит из предисловия, четырех частей, заключения и трех приложений, снабжена предметным, именным и лексическим указателями. В первой части “Параметры лексического значения” вводятся и обосновываются основные понятия, на которых строится последующий анализ: таксономическая категория глагола, тематический класс, тематические и строевые компоненты семантики слова, диатеза (прямая и косвенная, с Наблюдателем и с внешним Посессором), диатетический сдвиг, таксономический класс участника в его связи с семантической ролью, акцентный статус компонента и коммуникативный ранг

¹ Термин “грамматика словаря” в несколько ином, но близком значении употреблялся еще в [Апресян 1967: 189–193].

² Ср. характерную для этой работы мысль: “Смысл слова в высказывании не исчерпывается толкованием – словарное толкование может пополняться за счет разного рода инференций из составных частей толкования; за счет контекста текста и ситуации; коммуникативных постулатов в стиле Грайса; возможно, чего-то еще” (с. 114).

³ Интересно, что подобное смещение акцентов в исследовании лексической семантики полностью соответствует тенденциям современной когнитивной лингвистики: “With the birth of cognitive semantics, new ideas from the field of theoretical semantics have found their way to the study of meaning changes, and that should not come as a surprise: since one of the major things cognitive semantics is interested in is polysemy – and polysemy is, roughly, the synchronic reflection of diachronic semantic change” [Geeraerts 1997: 6].

участника. Часть I заканчивается экскурсом “Семантика вины и смещение акцентов в толковании лексемы”, в котором на конкретном примере показывается, как смещение фокуса внимания порождает многозначность слова: ср. *вина* как ‘плохой поступок’ и как ‘состояние’. Здесь также вводится понятие базовых и инцидентных компонентов толкования. Под последними понимаются разного рода “проходные” семантические признаки – следствия каких-то базовых компонентов толкования, которые могут фокусироваться соответствующим контекстом.

Вторая часть “Многозначность и семантическая деривация” посвящена проблеме полисемии, которая нацелена на описание условий единства слова. В центре внимания здесь оказывается явление регулярной многозначности, а также основные механизмы семантической деривации: метафора и метонимия. В третьей части “Тематические классы глаголов: Исходное значение и семантические дериваты” содержится анализ глаголов различных тематических классов. Это фазовые глаголы, глаголы восприятия, знания, эмоции, принятия решения, речевых действий, движения, звука, бытийные глаголы. Причем, как видно из названия этой части, рассматриваются и производные значения этих глаголов, которые часто соотносятся с исходными значениями по определенным принципам; для каждого тематического класса могут быть выделены свойственные ему модели регулярной многозначности. Часть III – это центральный раздел монографии; в существенной степени она базируется на принципах представления семантики русского глагола в компьютерной базе данных “Лексикограф”. Разработанная в рамках программы “Лексикограф”⁴ идеология семантических представлений, ориентированных на механизмы образования производных значений, отразилась в монографиях [Кустова 2004; Розина 2005; Зализняк 2006]. Часть IV “Лексическое значение и грамматика” состоит из четырех глав, каждая из которых посвящена определенному грамматическому свойству глаголов, возводимому к особенностям его лексического значения. Эта часть заканчива-

ется экскурсом “ДАВНО и ДОЛГО: к вопросу о статальном компоненте в семантике совершенного вида”, в котором демонстрируется идея двойного фокуса, т.е. одновременного наличия в семантике слова двух потенциально выделенных компонентов, между которыми существует метонимическая связь. Особенно хочется отметить завершающие монографию приложения, составленные О.Н. Ляшевской: “Тематические классы и тематические компоненты”, “Семантические роли” и “Таксономические классы имен”, которые помогают читателю лучше разобраться в обсуждаемой проблематике, а также полезны и сами по себе, поскольку могут быть использованы в любом исследовании, ориентированном на описание принципов организации словаря.

Построение грамматики словаря – одна из наиболее актуальных задач современной лингвистики, решение которой предполагает, в частности, системные способы описания многозначности. За многозначностью в принципе стоит способность говорящих выводить производные значения, а не просто извлекать их из лексикона в готовом виде. Семантическая теория должна располагать инструментом для описания этой способности (ср. Fillmore 1982; Herskovits 1986; Brugman, Lakoff 1988; Rice 1992; Pustejovsky 1991; Geeraerts 1993)]⁵. Таким образом, книга Е.В. Падучевой (далее: Книга) вписана в современный теоретический контекст. Важно, что способы и допустимые границы семантического варьирования универсальны лишь в известной степени; в каких-то существенных аспектах они могут оказаться специфичными для каждого языка. Следовательно, работающая грамматика словаря может быть построена лишь при наличии солидной эмпирической базы. Это выгодно отличает рецензируемую книгу от ряда других исследований, посвященных решению подобных проблем. Так, широко известные параметры Дж. Пустейковского, претендующие на универсальность, на деле оказываются применимыми лишь к словам вполне определенных семантических классов. Это и неудивительно: широкие обобщения и глобальные теории редко выдерживают проверку на большом эмпирическом материале. Более полезными для описания языка и построения объясняющих моделей (о которых говорится в [Апресян

⁴ Представление семантики в базе данных заставляет искать форматы толкования слов и в этом смысле побуждает к формализации семантического описания. Кстати, единорог на обложке (знаменитый гобелен “Дама с единорогом”) – это, видимо, аллюзия на парадигмальный пример грамматики Монтегю, после которого единорог стал своего рода логотипом формализации в семантике.

⁵ Ср. характерное для данного направления исследований требование: “the explanatory power necessary for making generalizations and/or predictions about how words used in a novel way can be reconciled with their currently existing lexical definitions” (Pustejovsky 1993: 74).

1999]) оказываются теории более конкретного уровня; теории общего плана могут лишь обозначить основную перспективу того или иного исследовательского направления.

Сама идея наличия определенных связей между отдельными значениями слова не нова. Полисемия по определению требует наличия мотивирующих связей между лексемами одного слова; иначе слово распалось бы на омонимы. Новизна подхода Е.В. Падучевой заключается в демонстрации регулярности механизмов, ответственных за семантическую деривацию. Одни и те же способы образования производных значений повторяются в самых разных словах: “Моделей деривации много, но все-таки не бесконечно много. И главное – они воспроизводимы: применимы ко многим разным словам, иногда к сотням и тысячам слов” (с. 14). Применительно к глагольной лексике выделяется ряд параметров, которые, с одной стороны, объединяют лексемы в большие классы, а с другой – обеспечивают регулярность семантической деривации, в том смысле, что варьирование каждого из этих параметров является типичным способом образования новых значений. Это

- таксономическая категория;
- тематический класс;
- актантная структура и диатеза;
- таксономический класс участника.

Остановимся на этих понятиях несколько подробнее.

Под таксономическими категориями (Т-категориями) понимаются такие онтологические классы, как действие (*открыть*), деятельность (*гулять*), процесс (*кипеть*), состояние (*голодать*), происшествие (*уронить*), свойство (*хромать*), соотношение (*совпадать*), предрасположение (*настораживать*). “Действие и деятельность – агентивные категории; остальные категории неагентивные” (с. 31). Семантическое варьирование часто состоит в мене Т-категории, что может сопровождаться меной таксономического класса участника или меной диатезы. Так, глагол *стучать* обозначает действие в предложении типа *человек стучит в окно* (субъект – лицо) и процесс в *дождь стучит в окно* (субъект – природная сила). А предложения типа *повар режет мясо ножом* и *нож хорошо режет* различаются Т-категорией глагола *резать* (действие vs. свойство) и диатезой (участники Агенс и Инструмент меняют свой ранг: Агенс уходит “за кадр”, а Инструмент из Периферии продвигается в позицию субъекта). Варьирование Т-категории создает категориальную парадигму, т.е. такую систему значений или режимов употребления слова, которая характерна для больших семантических классов и отличается

высокой степенью регулярности. Выделение Т-категории как отдельного параметра представляется весьма продуктивной идеей, так как позволяет описать аспектуальные и акциональные параметры глагола независимо от его тематического класса. Т-категория – это уточненная версия классов З. Вендлера⁶.

Тематический класс слова задается его вхождением в соответствующее семантическое поле (например, *резать* – это глагол физического действия, *просить* – глагол речи, *думать* – ментальный). Про тематический класс говорится, что это “формальный аналог семантического поля” (с. 43). Едва ли, однако, тематический класс – более формальное понятие, чем поле. Во всяком случае в Книге не обсуждаются формальные критерии отнесения лексемы к соответствующему тематическому классу, да и вряд ли такие критерии возможны в принципе. Единственный четкий критерий касается разграничения Т-категорий и тематических классов: первые задаются форматом толкования соответствующих глаголов, а последние – тематическим (т.е. выделенным: не тривиальным и не строевым, см. ниже) компонентом их значения.

Одна и та же лексема может относиться одновременно к двум и более тематическим классам (например, *убедить* – это глагол речи и воздействия на ментальное состояние). Это естественно, поскольку семантическая структура лексемы может содержать более одного выделенного, т.е. в каком-то смысле центрального компонента (ср. аналогичные наблюдения, сделанные нами при работе над тезаурусом русской идиоматики, где одна и та же идиома, взятая в каком-либо одном значении, может входить в более чем один таксон [Баранов, Добровольский (в печати)]). Невозможность строгого и однозначного разбиения лексического состава языка на тематические классы не следует рассматривать как недостаток этого параметра. Тематические классы (а значит, и семантические поля) не “разбивают” словарь на классы, а объединяют слова по определенным лингвистически значимым признакам (с. 42), причем это справедливо не только по отношению к глаголам, но и ко всем лексическим единицам независимо от их категориальной принадлежности.

Независимость тематического класса от таксономической категории может быть показана на примерах типа *видеть* vs. *смотреть*. Это явно глаголы одного тематического клас-

⁶ Большой вклад в изучение аспектуальных и акциональных свойств глаголов внесла в свое время Т.В. Булыгина.

са, но у них разные Т-категории: *видеть* – состояние, *смотреть* – деятельность. С другой стороны, глаголы *ударить* и *сварить* относятся к одной и той же Т-категории (это глаголы действия), но к разным тематическим классам: *ударить* – глагол физического воздействия, а *сварить* – глагол создания. Разведение этих категорий значимо не только для классификации глаголов и обнаружения регулярных механизмов семантической деривации, но и для системного описания лексики в целом, в частности для теоретической ономастологии и практической лексикографии. Так, большинство традиционных тезаурусов содержит немало непредсказуемых классификационных решений, сводимых к игнорированию различий между онтологическими категориями и семантическими полями. Между тем очевидно, что нельзя построить непротиворечивую классификацию лексики, в вершине которой будут находиться некие весьма абстрактные таксономические (иначе – онтологические) категории, а терминальные таксоны будут соответствовать семантическим полям, интуитивно ощущаемым как естественные группировки лексики. Например, чтобы сохранить единство таксона “трезвость” с такими идиомами, как *в рот не брать (спиртного)* и *ни в одном глазу*, нельзя вводить в систему идеографических классов категории типа ‘состояние’, ‘действие’, ‘свойство’, поскольку *в рот не брать* характеризует постоянное свойство, а *ни в одном глазу* – актуальное состояние. Следовательно, если в вершину ономастологической классификации поставить Т-категории, то такие семантически близкие (в силу наличия идентичных тематических компонентов) идиомы, как *в рот не брать (спиртного)* и *ни в одном глазу* будут разведены по разным ветвям уже на первом шаге.

Хотя Т-категории и тематические классы противопоставляются как сущностно различные способы систематизации словаря, в некоторых случаях между ними наблюдаются определенные корреляции. Так, среди глаголов восприятия много моментальных, что соответствует моментальности реального восприятия (ср. *увидеть*, *услышать*), так что налицо корреляция между тематическим классом восприятия и категорией, которая в классификации Вендлера именуется “achievement”.

Распределение лексики по Т-категориям и тематическим классам дает некоторый остаток. Например, такие классы, как глаголы интерпретации и глаголы изменения состояния, “не являются ни категориальными, ни тематическими” (с. 45). Заметим, что мотивация этого решения остается для читателя не вполне прозрачной. Почему нельзя считать, например,

интерпретационные глаголы особым тематическим классом? То, что они в стандартном случае должны попадать еще в какой-то тематический класс (например, *обидеть* – это и глагол эмоции, точнее: каузации психического состояния, и глагол интерпретации) не является помехой, поскольку вхождение лексемы в два и более тематических класса – вполне нормальное явление⁷. В [Апресян 2004: 8] интерпретационные глаголы рассматриваются как лексико-семантический класс “фундаментальной классификации предикатов”, т.е. скорее как один из категориальных классов. По-видимому, в формате толкования системы “Лексикограф” смысловой компонент, конституирующий класс глаголов интерпретации, имеет (подобно оценочному компоненту) особый статус, что и определяет отдельное место этого класса в иерархии.

Нетривиальными компонентам, которые определяют принадлежность слов к семантическим полям, противопоставляются строевые компоненты – такие, как начинательность, каузация, отрицание, оценка, модальность. Эти компоненты входят в значение очень многих слов и не меняют принадлежности лексемы к соответствующему тематическому классу. Один и тот же смысловой компонент может быть в одних случаях строевым, а в других – тематическим. Так, ‘каузация’ попадает и в список тематических (с. 42) и в список строевых компонентов (с. 46). У глаголов типа *показать* компонент ‘каузация’ – строевой, а у *вызвать*, *заставить* этот компонент оказывается вершинным и выполняет функцию тематического. Каузатив *показать* относится в соответствующих значениях к тем же тематическим классам, что и исходный некаузативный глагол *видеть*: ‘восприятие’ и ‘знание/мнение’. Аналогично, ‘начинательность’ – строевой компонент в семантической структуре таких глаголов, как *заговорить*, но тематический – в глаголах типа *наступить*, *начаться*, *возникнуть*.

Из-за объективных трудностей при определении степени центральности компонента создается ощущение, что в ряде случаев границы тематического класса задаются до известной степени интуитивно (что, видимо, нельзя считать недостатком описания, поскольку трудно представить себе, как могли бы выглядеть строго операциональные критерии в этой области). Например, глагол *оскорбить* отнесен к

⁷ Интересно, что глаголы интерпретации помещены в Приложение 1 “Тематические классы и тематические компоненты” (с. 585). Значит ли это, что их все-таки следует считать особым тематическим классом?

эмотивам, хотя, как кажется, более акцентуированным компонентом в его значении является идея нанесения урона общественному лицу, статусу Пациенса (пусть даже это “потеря лица” лишь в собственных глазах), чем идея воздействия на его психическое состояние. Кроме того, на с. 276 говорится, что “оскорблять – это прежде всего говорить оскорбительные вещи”, т.е. получается, что это скорее глагол речи. С другой стороны, *оскорбить* тесно связан с *обидеть*, а *обидеть* – с *обидеться*. Поскольку *обидеться* – чистый эмотив, то (по принципу “семейного сходства”) разумно и *оскорбить* считать глаголом эмотии.

На мысли о неоднозначности вхождения слов в соответствующее поле наводит также пример глаголов *промахнуться* и *попасть в*, которые отнесены к одному тематическому классу и интерпретируются как отличающиеся друг от друга лишь на строевой компонент ‘отрицание’ (с. 46). Видимо, в данном случае это наиболее убедительное решение. Поскольку эти глаголы ассоциируются также с идеей успешности/неуспешности, встает вопрос, как следует в принципе структурировать это поле (хотя данная задача не ставится в Книге, сама по себе она вполне актуальна). Можно ли считать, что слова *успех* – *неудача*, *победа* – *поражение*, идиомы *как по маслу* – *со скрипом* отличаются друг от друга отрицанием? По-видимому, нет. Ср. также пары типа *любить* – *ненавидеть*. Понятно, что отсутствие победы – еще не поражение, а отсутствие любви – еще не ненависть. Иными словами, семантические различия в подобных парах не сводимы к строевым компонентам. Значит ли это, что их члены относятся к разным семантическим полям?

Принадлежность к тематическому классу (семантическому полю) – важный, но достаточно традиционный параметр классификации лексики. Принципиально новой является мысль о том, что этот параметр может использоваться для вскрытия и описания регулярных механизмов семантической деривации. Например, глаголы звука достаточно регулярно образуют значение движения (*танки грохотали по улице*; *за окном проскрипела телега* / *протарахтел автомобиль*; *над ухом просвистела пуля*). Таким образом, мена тематического класса – один из механизмов порождения регулярной многозначности.

Актантная структура глагола и диктует (соответствие между семантическими ролями участников и их синтаксическими позициями) трактуется в Книге с опорой на понятие коммуникативного ранга участника ситуации. Важным открытием представляется ввод в описание нулевого ранга – коммуникативной позиции За кадром. Например, *выбить*

ковер отличается от *выбить пыль из ковра* тем, что актант *пыль* в результате диатетического сдвига уходит за кадр, оставаясь при этом участником ситуации (ср. обсуждение этого и многих других примеров такого рода в [Апресян 1995: 103–104]).

Понятие нулевого ранга позволяет рассматривать Наблюдателя как одного из участников ситуации, входящих в актантную структуру: Наблюдатель – это Эксперидент в позиции За кадром (с. 533). Ср. *охотник обнаружил следы* (*охотник* – Эксперидент) и *Берлиоз обнаружил незаурядную эрудицию* (Наблюдатель За кадром). Полисемия глагола *обнаружить* основана на диатетическом сдвиге и перераспределении коммуникативных ролей. Этот же механизм управляет лексической деривацией; ср., например, глаголы *обнаружить* и *обнаружиться*. Так, предложение *на опушке обнаружили следы медведя* отличается от предложения *охотник обнаружил на опушке следы медведя* тем, что Эксперидент *охотник* покинул субъектную позицию и ушел за кадр, превратившись в Наблюдателя. Как видно из этих примеров, диатетический сдвиг связан с изменением фокуса внимания и имеет метонимическую основу (ср. похожие идеи в [Dowty 2000]).

Таксономический класс участника также играет существенную роль в семантике глагольной лексемы. Этот параметр, в частности, позволяет найти семантическое объяснение сочетаемости поведению квазисинонимов. Почему, например, можно сказать *начался дождь*, но не **началась тишина* или **началась смерть*; *наступила тишина*, *наступила смерть*, но не **наступил дождь*? Выбор глагола зависит от таксономического класса участника: наступает состояние или событие, а начинается всегда процесс. Изменение таксономического класса участника достаточно регулярно приводит к изменению значения глагола и тем самым порождает полисемию. Например, *звенеть* в *звенит звонок* имеет другое значение, чем в *звенят цикады* потому, что *звонок* и *цикады* относятся к разным таксономическим классам. Выделение различных значений в подобных случаях необходимо и оправдано с точки зрения экономности лингвистического описания. Так, у глагола *звенеть* в приведенных примерах разные дериваты: *прозвенел звонок*, но не **прозвенели цикады* (с. 81).

Среди таксономических классов имен выделяются такие, как вещество, вместилище, материал, изображение, болезнь, воля, голос, источник звука, напиток, мероприятие, поступок, часть тела, продукт, транспортное средство, учреждение. Возникает терминологический вопрос: почему эти категории называются

таксономическими, а не тематическими классами? Кажется, что они ближе по духу к тематическим классам глаголов (таким, как звук, деформация, контакт, движение, направленное перемещение, разум, поведение, речевой жест, ущерб, уничтожение), чем к Т-категориям типа действие, состояние, процесс.

Книга Е.В. Падучевой настолько богата идеями и материалом, что дать ее краткий обзор представляется крайне затруднительным. Очевидно, поэтому моя рецензия получилась столь нетрадиционной. В нарушение законов жанра я начал не с последовательного изложения содержания монографии, ограничившись лишь обзором ее структуры, а с освещения комплекса понятий и исследовательских эвристик, показавшегося мне наиболее значимым и оригинальным. В дальнейшем я кратко остановлюсь на тех понятиях и проблемах, которые относятся к центральным и /или заинтересовали меня больше всего в силу моих исследовательских предпочтений.

Одним из важнейших понятий, обсуждаемых в Книге, является понятие а к ц е н т н о г о с т а т у с а. За этим понятием стоит представление о том, что различные компоненты семантической структуры лексической единицы, подобно элементам высказывания, неравноценны в коммуникативном плане. Акцентный статус – обобщающее понятие для целого ряда разнородных противопоставлений, таких как пресуппозиция – ассерция, шкала коммуникативных рангов участников ситуации, противопоставление выделенных (находящихся в фокусе внимания) компонентов компонента невыделенным, противопоставление базовых, “ординарных” семантических признаков слабым, неустойчивым, “инцидентным” компонентам, разного рода имплицатурам и инференциям, которые могут порождаться и блокироваться контекстом. Соответственно, изменение акцентного статуса того или иного компонента – акцентный сдвиг – оказывается универсальным средством порождения многозначности. Понятие акцентного сдвига позволяет не только выявить один из важнейших механизмов развития у слова производных значений, но и объяснить семантические различия между более или менее близкими синонимами, а также семантические соотношения в видовых парах. Так, в перфектной паре *огорчить* – *огорчать* видовое противопоставление сводится к сдвигу фокуса внимания. “В толковании СВ и НСВ фигурируют одни и те же компоненты, меняется только их акцентный статус: у глагола НСВ акцент на стательном компоненте, а у СВ акцент перемный” (с. 277).

Идея акцентного выделения, профилированности отдельных семантических признаков

в противоположность другим (см. прежде всего работы Л. Талми, например [Talmy 1993; 2000]) представляется весьма продуктивной и для сопоставительной лингвистики. Например, русскому глаголу *обидеть* в немецком языке соответствуют два слова: *beleidigen* и *kränken*. Семантические различия между этими немецкими глаголами, с одной стороны, и русским глаголом *обидеть* – с другой, так же, как и различия между *beleidigen* и *kränken* в немецком языке плохо поддаются описанию в терминах набора семантических компонентов. Анализ употребления этих глаголов в корпусах текстов [Dobrovolskij (im Druck)] позволяет предположить, что различия между ними в основном сводятся к акцентному статусу отдельных семантических признаков. В *обидеть*, в отличие от *оскорбить*⁸, менее акцентуирован признак агентивности (ср. декаузатив *обидеться* и существенно менее частотный дериват *оскорбиться*) и признак нанесения урона статусу Пациенса/Эксперимента⁹. В фокусе находится компонент ‘каузация негативного эмоционального состояния’ Пациенса/Эксперимента, а прототипическая причина – “недостаток внимания”, т.е. “message of indifference” по Вежицкой (о концепте ОБИДА см. [Зализняк 2000]).

Немецкий глагол *beleidigen*, традиционно характеризуемый как полный эквивалент глагола *обидеть*, отличается от него прежде всего тем, что он в существенно большей степени агентивен (образование декаузативов, подобных *обидеться*, невозможно ни от *beleidigen*, ни от *kränken*), а оба нетривиальных компонента ‘нанесение урона статусу’ и ‘каузация негативного эмоционального состояния’ вне контекста равноценны в смысле акцентного выделения. В зависимости от контекстных условий в фокус может попасть то первый (и тогда *beleidigen* скорее оказывается эквивалентным русскому *оскорбить*), то второй из названных компонентов. У *beleidigen* есть как бы два фокуса (идея двойного фокуса в семантической структуре слова обсуждается в Книге на с. 524). Причина обиды у *beleidigen* вообще не специфицирована.

⁸ Ср. малоинформативные толкования соответствующих значений этих глаголов в МАС: *обидеть* “причинить, нанести обиду кому-л.”; *оскорбить* “крайне обидеть”, так что можно подумать, что семантические различия между ними сводятся к степени интенсивности нанесенной обиды.

⁹ Один участник может иметь более одной роли (с. 281). Так, Эксперимент может быть одновременно и Пациентом.

В структуре значения глагола *kränken*, в отличие от *beleidigen*, фокус один – он падает на “эмоциональный” компонент. В этом смысле *kränken* ближе русскому *обидеть*, чем *beleidigen*. Однако, в отличие от *обидеть*, у *kränken* несколько сильнее акцентуирована идея наличия внешнего Каузатора. В декаузативе от *обидеть* внешний Каузатор может полностью устраниваться, т.е. человек может сам не осознавать причины своей обиды, а у *kränken* всегда есть причина, за которой стоит (чаще всего в позиции субъекта) Агенс. Даже в контекстах, где Каузатор не в фокусе, он присутствует на периферии ситуации. Кроме того, *kränken* – достаточно редкий глагол, находящийся скорее на периферии лексической системы, а *обидеть* – глагол центральный. В этом смысле они тоже обнаруживают различия в акцентном статусе, только уже на уровне лексической системы языка в целом.

Как уже было сказано, одна из центральных тем Книги – полисемия. Главная задача, которая ставится в связи с этим – описать структуру многозначного слова так, чтобы сохранить его семантическое единство. Эта задача отнюдь не столь проста. В описании полисемии выделяются два диаметрально противоположных подхода, которые в [Pustejovsky 1996] названы мономорфной и полиморфной моделями (*monomorphic model vs. polymorphic model*). Мономорфная модель исходит из аксиомы о существовании изолированных, жестко фиксированных значений (ср. место полисемии в Грамматике Монтегю). Полиморфная модель отказывается от самой идеи наличия у слова фиксированных значений и рассматривает многозначность как чисто прагматический феномен (ср. [Nunberg 1978; Searle 1979]). Оба способа описания полисемии оказываются неприемлемыми с точки зрения здравого смысла. Описание полисемии должно оставлять место как для лексикализованных семем, отличающихся друг от друга по ряду лингвистически значимых признаков, так и для семантической вариативности. Именно такой подход (*weak polymorphic model*, по Пустейовскому [Pustejovsky 1996]) лежит в основе теории многозначности, предлагаемой в Книге.

В центре внимания автора находится регулярная полисемия, т.е. “комбинация значений многозначного слова, которая повторяется во многих или во всех словах определенного семантического класса” [Апресян 1993: 10]. Правда, иногда создается впечатление, что регулярная многозначность понимается в Книге слишком широко. Ср. положение о том, что “любая многозначность как-то регулярна”. Это верно, если понимать под регулярной полисемией семантическую деривацию на основе

системных преобразований типа мены Т-категории, диатезы и пр. Любое производное значение так или иначе выводится из исходного. В этом смысле можно говорить о семантической деривации. Механизмы деривации – это понимаемые широко метафора, метонимия, семантическое “выветривание”. Следовательно, в стандартном случае значения многозначного слова связаны между собой системными, т.е. повторяющимися отношениями. Однако не все, что выводится из исходного значения с помощью системных преобразований, оказывается регулярным в устоявшемся смысле термина “регулярная многозначность”, т.е. характерным для всего семантического класса (хотя бы и с отдельными исключениями). Здесь я буду обсуждать только те случаи, где имеет место регулярная многозначность “в узком смысле”.

Наиболее важными для дальнейших исследований в этой области представляются следующие две мысли, высказанные Е.В. Падучевой в связи с определением статуса правил, описывающих механизмы семантической деривации, результатом действия которых является регулярная многозначность. Во-первых, введение в семантическое представление подобных правил, позволяющих выявлять парадигматические связи между отдельными значениями многозначного слова, “не означает отмены соответствующих словарных статей” (с. 16). Действительно, способность слов определенного семантического класса образовывать значения по некоторому единому для этого класса принципу – это потенциал, заложенный в системе языка (и до известной степени, видимо, в системе стоящих за языковыми выражениями концептуальных структур). Как таковой этот потенциал может быть описан. Наличие подобных потенциалов не означает, однако, что все члены определенного семантического класса должны обнаруживать параллельную полисемию и что каждое отдельно взятое производное значение может быть выведено из исходного по некоторым продуктивным правилам, не знающим исключений. Иными словами, “правила” семантической деривации помогают систематизировать представление семантической структуры многозначного слова, но не позволяют предсказать наличие того или иного значения у каждого конкретного слова¹⁰. Отсюда следует, что все значения многозначного слова должны фиксироваться в словаре. Независимо от того, можно ли найти семантические объяснения для отсутствия того или

¹⁰ Ср. различие между регулярной и продуктивной полисемией, проводимое в [Апресян 1995].

иного потенциально возможного значения у некоторого слова или же подобная асимметрия объясняется лишь “капризами узуса”, сам факт наличия лакун в парадигмах регулярной многозначности требует словарной фиксации каждого отдельного значения.

Во-вторых, та или иная парадигма регулярной многозначности может иметь место лишь в каком-то одном языке. Если ранее предполагалось, что модели семантической деривации должны быть квазиуниверсальны [Nunberg, Zaenen 1992], поскольку они основываются на достаточно общих когнитивных механизмах, в Книге было показано, что существуют парадигмы регулярной многозначности, характерные для одного языка и отсутствующие в другом. Там, где, например, английский язык для образования парадигматически связанных друг с другом лексем использует механизмы семантической деривации, русский язык прибегает к словообразовательным средствам. “Таким образом, потенциал семантического развития, скорее всего, в существенной степени универсален, но граница между семантической и лексической деривацией часто проходит лингвоспецифично” (с. 154).

Из этих двух идей выводится ряд положений, значимых для сопоставительных исследований. Асимметричное устройство парадигм регулярной многозначности, их неуниверсальность и зависимость от разнообразных – в том числе и чисто узуальных – факторов проявляется особенно наглядно при сопоставлении разных языков. Даже то, что представляется регулярным и как бы само собой разумеющимся в рамках одного языка, оказывается нетривиальным и не вполне регулярным при сопоставлении с аналогичным явлением другого языка. Это положение имеет и чисто лексикографические следствия. В двуязычном словаре часто необходима более дробная разбивка структуры словарной статьи на значения, так как межязыковые несовпадения могут проявляться внутри одной отдельно взятой лексемы.

Итак, с одной стороны, при сопоставлении моделей регулярной многозначности в разных языках мы имеем дело с отдельными несовпадениями в конкретной реализации аналогичного принципа семантической деривации. С другой стороны, встречаются случаи наличия в том или ином языке неких уникальных (точнее: специфических для данного языка с точки зрения другого языка) моделей регулярной многозначности. Иными словами, в языке L1 выделяются семантические классы с парадигмой регулярной многозначности P1, которая полностью отсутствует в языке L2, где соответствующие семантические классы либо вообще не характеризуются регулярной много-

значностью, либо реализуют парадигму P2, принципиально отличающуюся от P1. Так, на с. 153 обсуждается пример из [Levin, Rappaport Novak 1995]. Парадигма семантической деривации для английских глаголов положения в пространстве (*stand, lie, sit, hang*) включает четыре значения:

- 1) агентивное значение сохранения положения
- 2) агентивное значение принятия положения – инхоативное
- 3) значение пассивного положения в пространстве
- 4) агентивное значение каузации положения в пространстве

Из этих четырех значений коррелирующие русские глаголы *стоять, лежать, сидеть, висеть* имеют только два: первое и третье. Для второго – инхоативного – значения используются глаголы *встать, лечь, сесть, повиснуть*, а для четвертого, каузативного – глаголы *поставить, положить, посадить, повесить*.

Подобные случаи представляются значимыми с точки зрения лингвистической типологии. Со времен выхода в свет работ С. Ульмана считается общезвестным фактом, что типологическое исследование языков может строиться не только на основе морфологических и синтаксических критериев, но и на основе лексико-семантических параметров, то есть на основе способов организации семантической информации в лексической системе языка. Модели регулярной полисемии оказываются одним из таких параметров.

Допустимые объемы рецензии позволили обсудить лишь небольшую часть всех тех вопросов, которые затрагиваются в Книге. За пределами обсуждения остались столь интересные проблемы, как критерии разграничения актантов и сирконстантов, семантика конструкций (анализируемая в Книге на примере генитивной конструкции) и соотношение этой проблематики с идеями Грамматики Конструкций Ч. Филлмора, семантический статус адвербиалов, внутренняя форма лексических единиц как фактор, объясняющий особенности их употребления, степень мотивированности лексических функций, понятие снятой утвердительности и его соотношение с понятием отрицательной поляризованности.

Остается лишь еще раз подчеркнуть, что монография Е.В. Падучевой – интересная, богатая идеями и материалом книга, провоцирующая дискуссии и помогающая найти нетривиальные решения целого ряда семантических задач, что она написана прекрасным языком, содержит много убедительных примеров, очень хорошо издана, удивительно тщательно вычитана (хотя я все-таки нашел несколько

опечаток: на с. 59, 195 (в литовском *peržiūreti*), а также на с. 253 и 360; на с. 467 вместо “перфектным” надо, видимо, читать “нереферентным”). И еще один (может быть, не центральный для содержания рецензируемой монографии, но очень приятный) момент: в Книге много тщательно подобранных, содержательно уместных эпиграфов. Особенно радует эпиграф из Гоголя на с. 483, который хочется предпослать чуть ли не всем работам по лексической семантике, по крайней мере исследованиям “интересных” слов. Этим эпиграфом (как некой квинтэссенцией размышлений над трудностями лексикологической и лексикографической работы) я и хотел бы закончить рецензию: “...слова, которые иной раз черт знает что и значат”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1967 – Ю.Д. *Апресян*. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
- Апресян 1993 – Ю.Д. *Апресян*. Лексикографическая концепция Нового большого англо-русского словаря // Новый большой англо-русский словарь. Т. I. М., 1993.
- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*. Лексическая семантика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.
- Апресян 1999 – Ю.Д. *Апресян*. Отечественная теоретическая семантика в конце XX столетия // ИАН СЛЯ. № 4. 1999.
- Апресян 2004 – Ю.Д. *Апресян*. Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства // Русский язык в научном освещении. № 1. 2004.
- Баранов, Добровольский (в печати) – А.Н. *Баранов*, Д.О. *Добровольский*. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М. (в печати).
- Зализняк 2000 – Анна А. *Зализняк*. О семантике щепетильности (*обидно, совестно и неудобно*) на фоне русской языковой картины мира) // Логический анализ языка. М., 2000.
- Зализняк 2006 – Анна А. *Зализняк*. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
- Кустова 2004 – Г.И. *Кустова*. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.
- Розина 2005 – Р.И. *Розина*. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге: глагол. М., 2005.
- Brugman, Lakoff 1988 – С. *Brugman*, G. *Lakoff*. Cognitive topology and lexical networks // S. Small, G. Cotrell, M. Tannenhaus (eds.): Lexical ambiguity resolution. Palo Alto, 1988.
- Dobrovol'skij (im Druck) – D. *Dobrovol'skij*. Zur kontrastiven Analyse kulturspezifischer Konzepte // Wörter – Verbindungen. Festschrift für Jarmo Korhonen / Hrsg. von U. Breuer und I. Hyvärinen. Frankfurt-am-Main (im Druck).
- Dowty 2000 – D.R. *Dowty*. ‘The Garden swarms with bees’ and the fallacy of “Argument alternation” // Y. Ravin, C. Leacock (eds.). Polysemy: theoretical and computational approaches. Oxford, 2000.
- Fillmore 1982 – Ch.J. *Fillmore*. Frame semantics // Linguistics in the morning calm / Ed. by the Linguistic society of Korea. Seoul, 1982.
- Geeraerts 1993 – D. *Geeraerts*. Vagueness’s puzzles, polysemy’s vagaries // Cognitive linguistics 4–3, 1993.
- Geeraerts 1997 – D. *Geeraerts*. Diachronic prototype semantics. A contribution to historical lexicology. Oxford, 1997.
- Herskovits 1986 – A. *Herskovits*. Language and spatial cognition. Cambridge, 1986.
- Levin, Rappaport Hovav 1995 – B. *Levin*, M. *Rappaport Hovav*. Unaccusativity: at the syntax-lexical semantics interface. Cambridge (Mass.), 1995.
- Nunberg 1978 – G. *Nunberg*. The pragmatics of reference. Bloomington, 1978.
- Nunberg, Zaenen 1992 – G. *Nunberg*, A. *Zaenen*. Systematic polysemy in lexicology and lexicography // H. Tommola et al. (eds.). Proceedings of Euralex II. Tampere, 1992.
- Pustejovsky 1991 – J. *Pustejovsky*. The syntax of event structure // Cognition 41, 1991.
- Pustejovsky 1993 – J. *Pustejovsky*. Type coercion and lexical selection // J. Pustejovsky (ed.). Semantics and the lexicon. Dordrecht; Boston; London, 1993.
- Pustejovsky 1996 – J. *Pustejovsky*. The generative lexicon. Cambridge (Mass.); London, 1996.
- Rice 1992 – S. *Rice*. Polysemy and lexical representation: the case of three English prepositions // Proceedings of the 14th Annual conference of the Cognitive science society. Hillsdale, 1992.
- Searle 1979 – J.R. *Searle*. Expression and meaning. Cambridge, 1979.
- Talmy 1993 – L. *Talmy*. The windowing of attention in language. Paper presented at the Third International Cognitive linguistics conference, Leuven, 18–23 July 1993. (manuscript).
- Talmy 2000 – L. *Talmy*. Toward a cognitive semantics. V. 2. Concept structuring systems. Cambridge (Mass.); London, 2000.

Д.О. Добровольский

В последние годы на русском языке появилось большое количество книг, посвященных общим проблемам семиотики. Среди авторов можно назвать В.Н. Агеева [2002], А.Н. Барулина [2002], Г.Г. Почепцова [2001; 2002], Л.Л. Федорову [2004]¹. Следует также отметить и перевод на русский язык известной книги У. Эко [1998].

Как правило, в книгах о семиотике либо подробно перечисляются взгляды различных авторов (часто никак не связанные между собой и даже противоречащие друг другу, см., например [Агеев 2002] или [Почепцов 2002]), либо строится собственная, оригинальная концепция этой области ([Барулин 2002] или [Эко 1998]), связи которой с семиотической традицией не всегда ясны. Книга Нины Борисовны Мечковской представляет собой редкий пример равновесия между изложением авторской и чужих точек зрения. Точнее говоря, авторский взгляд во многом и выполняет роль, связующую чужие позиции. Именно поэтому книгу Н.Б. Мечковской можно рассматривать и как учебник, и как своего рода путеводитель по науке, и как монографию.

Книга состоит из пяти частей и заключения, и авторская составляющая постепенно возрастает. Первые три части являются в большей степени обзорными. Следует также отметить, что деление книги на части накладывается на деление книги на лекции, что кажется несколько непривычным, а иногда даже не вполне понятным. Так, например, лекция XIII оказывается распределенной между четвертой и пятой частью (в пятую часть попадает последний ее параграф). Трудно оценить, в чем состоял авторский замысел, для меня же такое двумерное членение текста так и осталось загадкой, скорее, усложняющей, чем облегчающей чтение.

Часть первая называется “Основные понятия и история семиотики”, что вполне отражает ее содержание. Здесь надо сразу сказать, что автор придает большое значение определению границ науки, критикуя включение в семиотику всего культурно-гуманитарного контекста, в котором проявлялся интерес к знаковым системам. Свой подход, подразумевающий достаточно четкие критерии “семиотического взгляда”, Н.Б. Мечковская противопоставляет

“семиотике без границ”. В связи с этим также важно понимание семиотики именно как самостоятельной науки, имеющей заданные границы, а не аморфной надстройки над гуманитарными дисциплинами. Для Н.Б. Мечковской важна встроенность исследователя в семиотическую парадигму, что означает следующее. Во-первых, наличие семиотического самосознания, во-вторых, использование семиотических категорий и терминов и, в-третьих, сопоставление знаковых систем как метод исследования (с. 36–37).

Хотя в первой части автор только вводит читателя в основную семиотическую проблематику, сразу становится понятно, что чтение книги не будет простым. Это, безусловно, существенно, поскольку о началах семиотики в принципе можно говорить и просто, если в качестве образца брать так называемые простые и компактные знаковые системы. Однако Н.Б. Мечковская совершенно сознательно не стремится к упрощению ни материала, ни изложения, а напротив, пытается охватить (в том числе, и с помощью определений) все основные проблемы семиотики и все терминологические нюансы. Иногда это приводит к чрезмерной абстрактности дефиниций. Так, едва ли удачно ключевое определение информации: “всё, что люди сообщают друг другу (намеренно или произвольно, “машинально”) или машинам, – это информация”. Фактически, термин “информация” определяется через глагол “сообщать”, но можно ли определить последний без обращения к понятию информации, остается неясным².

В целом же первая часть дает четкое и достаточно широкое представление о семиотике, прежде всего, о ее основных проблемах и теоретическом аппарате (лекция 1), а также об истории и ученых, внесших наиболее значительный вклад в ее развитие (лекция 2).

Во второй (“Классы знаковых систем”) и третьей (“Классы элементарных знаков, различных по типу мотивированности и степени конвенциональности”) частях рассматриваются соответствующие классификации. Здесь необходимо сделать еще одно замечание. Как

² В четвертой части используется еще одна дефиниция: “Информация – это все, что может быть передано средствами любой семиотики” (с. 197). Такое определение также не проясняет ситуацию, поскольку в этом случае информация оказывается вторичной по отношению к знаковой системе.

¹ В этом ряду надо отметить и более частные работы – по невербальной семиотике: М.Л. Бутовской [2004] и Г.Е. Крейдлина [2002].

уже сказано выше, способ изложения “от простого к сложному” не слишком характерен для данной книги. Часто при изложении семиотических основ сначала определяют понятие знака и лишь затем переходят к знаковым системам. Н.Б. Мечковская фактически рассматривает эти понятия параллельно, что в частности сказывается и на порядке глав. Сначала речь идет о классификациях знаковых систем и лишь потом о классификациях знаков.

Во второй части в центре внимания оказываются две проблемы. Во-первых, обсуждается физическая природа плана выражения, и в действительности рассматриваются классы, скорее, знаков, чем семиотик: оптические, слуховые, тактильные, а также связанные с обонянием и вкусом. Во-вторых, автор рассматривает генезис и онтогенез знаковых систем и, с этих точек зрения, противопоставляет природные и культурные, естественные и искусственные семиотики.

Третья часть в основном посвящена рассмотрению фундаментальной классификации знаков, предложенной еще Ч. Пирсом. Речь идет о разбиении знаков на три класса в зависимости от типа мотивированности: индексальные, иконические и символические знаки. Эти классы рассматриваются чрезвычайно подробно с привлечением разнообразного и всегда интересного материала. Так, в разделе об иконических знаках особое внимание, естественно, уделяется звуко-символизму. Начиная с диалога Платона “Кратил”, автор переходит к ярким примерам из русской поэзии и, в частности, посвящает отдельный раздел зауми и “самовитому слову” русских футуристов. Далее обсуждается проблема конвенциональности и преимущества конвенциональных знаков. В заключение в третьей части рассматриваются сложные и производные знаки, при этом особое внимание уделяется тропам, аллегориям, а также знакам-конструкциям: формулам, сюжету, композиции.

Содержание четвертой части вытекает из ее названия – “Содержание и структура знаковых систем. Семиотические возможности естественных языков”. Четвертая часть является, пожалуй, наиболее сложной для чтения в силу максимальной абстрактности излагаемых понятий и классификаций. Именно поэтому кажется очевидной удачей насыщение этой главы большим количеством иллюстративного материала. Можно отметить, в частности, интересный разбор образа “фаталиста” (порулика Вулича). Н.Б. Мечковская описывает четыре аспекта плана содержания: денотативный аспект, парадигматику, синтагматику и прагматику. Например, парадигматически Вулич рассматривается как двойник Печорина, а син-

тагматически в развитии фабулы также связан с ним.

В четвертой части также подробно разбираются возможные функции семиотик, их состав и иерархия. Интерес представляет обсуждение консолидирующей функции, отсутствующей у Р. Якобсона. Особое внимание уделяется этноконсолидирующему символизму языка, этой теме посвящен отдельный параграф.

Наконец, в четвертой части исследуются типы строения знаковых систем. В частности, именно здесь говорится об изолированных знаках, противопоставленных знакам, которые существуют в рамках системы. Также вводятся понятия простых и сложных, одноуровневых и многоуровневых семиотик. Н.Б. Мечковская останавливается на количестве уровней в семиотической системе языка и обсуждает семиотики, превосходящие язык по сложности организации и богатству содержания. Речь, в частности, идет о религии, литературе и различных видах искусства.

Эти сложные в различных отношениях семиотики и стали предметом рассмотрения в заключительной пятой части – “Знаковые системы культуры”. Именно эту часть следует признать в наибольшей степени авторской как по выдвигаемым в ней идеям, так и по предлагаемому материалу. В состав пятой части входят шесть лекций (с четырнадцатой по девятнадцатую), посвященные иногда отдельным знаковым системам, иногда целым группам семиотик. В четырнадцатой лекции описываются ритуально-религиозные семиотические системы. Следует отметить раздел 109, в котором Н.Б. Мечковская рассматривает поведение как повседневную реализацию социокультурных кодов. Такое внимание к обыденному поведению в рамках семиотики, безусловно, заслуженно, а системный взгляд на “поведенческие тексты” должен стать основой для новых и более глубоких исследований в этом направлении.

Пятнадцатая лекция полностью посвящена художественным семиотикам движения человека, а именно – танцу, пантомиме и цирку. Интересно, что в этой же группе рассматривается и театр. Само это сближение несколько спорно, поскольку очевидно, что театральное искусство не сводится к семиотике движения.

Чрезвычайно любопытны рассуждения о пантомиме и цирку, в частности, замечания о семиотической парадоксальности цирка и поиск его плана содержания. В результате Н.Б. Мечковская определяет план содержания цирка как “возможности человека”: «Каждый цирковой номер – это гипербола, которая на какой-то миг заставляет зрителя поверить, что “человек может все”» (с. 313).

Темой шестнадцатой лекции стала музыка, по мнению автора, самая загадочная и парадоксальная из семиотик. Примечательно, что, как и в случае цирка, парадоксальности знаковой системы уделяется особое внимание. Этому посвящены сразу несколько параграфов. Структура этой знаковой системы также описывается весьма подробно. Речь в том числе идет о музыкальной интонации как аналоге слова и господстве синтаксиса.

В семнадцатой лекции Н.Б. Мечковская анализирует семиотики художественного изображения. Среди них следует назвать скульптуру, графику, живопись, архитектуру, фотографию и кино. Впрочем, они рассматриваются несколько бегло. Чуть подробнее автор задерживается на семиотике парка и сада. Здесь, по видимому, сказываются определенные вкусовые пристрастия автора.

В рамках “Семиотик искусного слова” (это уже восемнадцатая лекция) Н.Б. Мечковская объединяет поэзию и прозу, эпос, лирику и драму. Наиболее интересен раздел, посвященный фольклору. Семиотика фольклора исследуется в динамике его развития. Так, обсуждаются переходы от мифологического эпоса к народным сказаниям о героях, от священного знания к бабушкиным сказкам и т.д. Очень живо подан материал, связанный с малыми жанрами, прежде всего, речь идет о загадках, а также о заговорах, считалках, тостах и т.д. Завершается лекция обращением к проблеме уровневое строения художественной литературы.

Наконец, в девятнадцатой лекции рассматриваются специализированные искусственные семиотики, вес которых особенно увеличился в наше время. Интересен обзор систем международного смыслового письма (пазиграфии), но основное внимание уделяется различным информационным языкам и языкам программирования.

Заключение в этой книге не является простой формальностью. В нем описываются тенденции в развитии знаковых систем и перспективы науки в целом. Необходимо сказать, что и заключение, и вся книга, безусловно, содержат много идей, провоцирующих научную дискуссию. И хотя этот труд, как сказано выше, можно рассматривать как путеводитель по науке, его значение глубже. Можно сказать, что “Семиотика” Н.Б. Мечковской, как и многие ее другие книги, раздвигает горизонты науки, предлагает новый взгляд и новые представления о ее границах и внутренних связях. Дискуссия же в таком случае оказывается неизбежным атрибутом новизны и расширения нашего видения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агеев 2002 – *В.Н. Агеев*. Семиотика. М., 2002.
- Барулин 2002 – *А.Н. Барулин*. Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. Ч. 1. М., 2002.
- Бутовская 2004 – *М.Л. Бутовская*. Язык тела: Природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). М., 2004.
- Крейдлин 2002 – *Г.Е. Крейдлин*. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М., 2002.
- Почепцов 2001 – *Г.Г. Почепцов*. Русская семиотика: идеи и методы, персоналия, история. М., Киев, 2001.
- Почепцов 2002 – *Г.Г. Почепцов*. Семиотика. М., Киев, 2002.
- Федорова 2004 – *Л.Л. Федорова*. Семиотика. М., 2004.
- Эко 1998 – *У. Эко*. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб, 1998.

М.А. Кронгауз

Explorations in nominal inflection / G. Müller, L. Gunkel, G. Zifonun (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2004. – vi + 405 p.

Рецензируемый сборник “Исследования по именному словоизменению” издан группой немецких лингвистов на основе материалов тематических конференций, прошедших в 2002–2003 гг. В нем собраны одиннадцать статей разных авторов, работающих в рамках различных формальных теорий (теории оптимальности, “словесно-парадигматической” морфологии, “минималистской программы” и др.);

сборник посвящен грамматическим категориям имени, их синтаксическому поведению и формальному выражению морфологическими средствами. Особое внимание в сборнике уделяется взаимодействию морфологического и синтаксического компонентов грамматики; именное словоизменение, непосредственно связанное с такими понятиями, как падежное управление, согласование и др., является хоро-

шим полем для исследования такого рода проблем. В сборнике можно отметить по меньшей мере два “лейтмотива” – две группы фактов, к которым регулярно возвращаются авторы статей, и разные, иногда полностью противоположные трактовки которых они предлагают: распределение словоизменительных показателей в именных группах¹ в немецком языке, где наблюдается сложное взаимодействие морфологических и синтаксических факторов, и структура словоизменительных парадигм имени в русском языке. В связи с последним нельзя не посоветовать на то, что ни в одной из статей, где разбирается русский материал, и авторы которых, судя по всему, владеют русским языком, нет ссылки на основополагающую монографию [Зализняк 1967/2002], приняв которую во внимание, авторы могли бы добиться более точных результатов и более убедительных трактовок.

Сборник начинается с довольно обширного Введения (с. 1–20), написанного редакторами, где обсуждаются рассматриваемые в книге вопросы и разные подходы к ним, а также характеризуются основные понятия, такие как словоизменительный класс, синкретизм (омонимичное выражение разных значений словоизменительных категорий или их комбинаций), парадигма и др. Среди проблем, связанных с указанными понятиями, выделяются следующие: (i) Можно ли свести словоизменительные классы имени в разных языках к более “содержательным” категориям, релевантным для синтаксиса, таким как род, тем самым избавив грамматику от признаков, играющих роль лишь в морфологическом компоненте? (ii) Можно ли обнаружить систему за глубоко идиосинкратическими моделями омонимии словоизменительных показателей имени во флективных языках и вывести эти модели, например, из естественных классов признаков и иерархий маркированности, которые образуют именные категории? (iii) Является ли понятие “парадигмы” автономным и необходимым для описания и объяснения морфологических явлений, или же оно является не более, чем удобным и наглядным способом представления материала, не играющим никакой самостоятельной роли в теории? На эти и другие вопросы авторы включенных в сборник статей отвечают существенно разными способами.

¹ Далее ИГ. Я сознательно не хочу вдаваться в различия между понятиями ИГ и “группа детерминатора”, введенного в известной работе [Abney 1987]; см. подробнее [Тестелец 2001: 567–569].

Статья известного английского морфолога Дж. Блевинса “Inflectional classes and economy” (“Словоизменительные классы и экономия”) посвящена одной из центральных проблем морфологии – вопросу о природе словоизменительных типов и возможным ограничениям на их внутреннюю структуру и устройстве системы таких классов в конкретном языке. Блевинс исходит из концепции “словесно-парадигматической” морфологии [Mathews 1991: 191 ff.; Плуныя 2000: 72 и сл.], постулирующей в качестве основных единиц морфологического уровня не морфему, а слово (лексему и словоформу) и парадигму. Понятие экономии при таком подходе основано на гипотезе, что полная парадигма лексемы может быть построена на основе всего одной исходной формы (leading form). Словоизменительные системы, где для каждой лексемы имеется лишь одна исходная форма, обладают свойством лексической экономии (lexical economy), а системы, где исходные формы всех лексем имеют одну и ту же грамматическую характеристику (например, “номинатив единственного числа”), являются лексически связными и (lexically congruent). Основной эмпирической проблемой, с которой сталкивается любая теория морфологии, исследующая словоизменительные классы, заключается в том, что, как правило, реальные системы склонения не являются ни лексически экономными, ни, тем более, лексически связными. Следует ли, однако, из этого, что понятие экономии вообще неприменимо к словоизменительным типам?

Вслед за другими исследователями Блевинс отвечает на этот вопрос отрицательно и критически анализирует ряд работ Э. Карстейрса-МакКарти [Carstairs 1987; Carstairs-McCarthy 1994], сформулировавшего наиболее влиятельную на настоящий момент теорию парадигматической экономии. Основная слабость концепции Э. Карстейрса-МакКарти, по мнению Блевинса, заключается в том, что она, во-первых, кладет во главу угла понятие словоизменительного аффикса, отвлекаясь от таких морфологических различий, как непредсказуемые чередования в основе (например, немецкий умлаут), а во-вторых, содержит ряд логических противоречий (в частности, при объединении парадигм в более крупные “макропарадигмы”).

Основной тезис Блевинса заключается в том, что для адекватного и непротиворечивого анализа словоизменительных парадигм и применения к ним понятия экономии, необходимо отказаться от, казалось бы, оправдавшей себя практики деления словоформ на “основы” и “аффиксы” и рассматривать парадигмы как

структурированные множества словоформ, а не собрания аффиксов, снабженных теми или иными пометами (например, информацией о словоизменительном классе, которая, фактически, является побочным продуктом морфемного членения, своего рода “инструкцией по сборке” разделенных на части словоформ). При таком подходе “словоизменительный класс” как особый тип информации, лексически закрепленный за данной лексемой (например, в ее “синтактике”, как в модели И.А. Мельчука [Мельчук 2000: 195–198]), вообще оказывается избыточным, поскольку информация о словоизменении лексемы может быть непосредственно выведена из формальных и/или содержательных характеристик ее исходной формы. Так, полные парадигмы русских слов “1-го склонения” (*комната, газета*) или “2-го склонения” (*стол, слово*) могут быть построены по соответствующим исходным формам безо всякой апелляции к информации о типе склонения. Важнейший вопрос в связи с этим заключается, как уже отмечалось выше, в том, обладает ли данная система (например, русская или подробно анализируемая в статье эстонская) свойствами лексической экономии или даже лексической связности. Хотя некоторые аспекты проводимого Блевинсом анализа конкретного материала можно подвергнуть сомнению или уточнению, данная работа имеет большую теоретическую ценность и открывает новые пути исследования словоизменения.

Известный немецкий морфолог-генеративист Г. Мюллер в своей статье “On decomposing inflection class features: Syncretism in Russian nominal inflection” (“О декомпозиции словоизменительных классов: синкретизм в русском именном словоизменении”) также обращается к вопросу о статусе словоизменительных классов в грамматической системе. Материалом для исследования, проводимого в русле традиционного морфемного анализа, служит склонение русских существительных, в особенности имеющиеся в нем разнообразные случаи синкретизма. При анализе синкретизма Мюллер придерживается следующего принципа: при прочих равных условиях, тождество формы предполагает тождество функции. Тем самым, синкретизм возможен лишь тогда, когда соответствующие клетки парадигмы имеют какие-либо общие признаки. Следование указанному принципу с необходимостью влечет декомпозицию имеющихся в русском языке падежей и словоизменительных классов на более абстрактные признаки. Для падежей [Bierwisch 1967] это “субъектность” $[\pm\text{subj}]$, “управляемость” $[\pm\text{gov}]$ и “кос-

венность” $[\pm\text{obl}]$. Представление шести основных падежей² русского языка в терминах этих признаков см. в таблице 1.

Таблица 1

Декомпозиция русских падежей

Номинатив	[+subj, –gov, –obl]
Аккузатив	[–subj, +gov, –obl]
Датив	[–subj, +gov, +obl]
Генитив	[+subj, +gov, +obl]
Инструменталис	[+subj, –gov, +obl]
Локатив	[–subj, –gov, +obl]

В качестве мотивировки именно такого “разложения” русских падежей Мюллер приводит лишь не очень убедительные аргументы общетеоретического характера. Например, остается непонятным, почему именно творительный, а не дательный падеж является “субъектным” в русском языке, при том, что второй может оформлять “неканонические” подлежащие (например, в безличных конструкциях типа *мне холодно*), а первый не может.

Для представления четырех выделенных им в русском языке основных типов склонения Мюллер использует лишь два абстрактных признака $[\pm\alpha]$ и $[\pm\beta]$, до определенной степени связанных с родом (ср. таблицу 2).

Таблица 2

Декомпозиция русских склонений

тип <i>завод</i>	$[\pm\alpha, -\beta]$	тип <i>тетрадь</i>	$[-\alpha, -\beta]$
тип <i>комната</i>	$[-\alpha, +\beta]$	тип <i>место</i>	$[\pm\alpha, +\beta]$

Декомпозиция падежей и типов склонения позволяет приписывать падежно-числовым флексиям неполный набор признаков, совместимый одновременно с несколькими падежами и/или типами склонения, см. таблицу 3, а также предсказать, что случаи синкретизма, затрагивающие падежи или классы, не имеющие общих признаков (например, номинатив и датив или тип *место* и тип *тетрадь*), невозможны.

² Партитив (“второй родительный”) и локатив (“второй предложный”) Мюллер вообще игнорирует.

**Признаки русских именных флексий
единственного числа**

/oj/	{[-α, +β], [+subj, -gov, +obl]}
/ju/	{[-α, -β], [+subj, -gov, +obl]}
/om/	{[+α], [+subj, -gov, +obl]}
/e/ ₁	{[-α, +β], [-subj, +obl]}
/e/ ₂	{[+α], [-subj, -gov, +obl]}
/o/	{[+α, +β], [-obl]}
/∅/	{[-β], [-obl]}
/i/	{[-α], [+obl]}
/u/	{[-subj, +gov]}
/a/	{ }

Как видно из таблицы, в русском языке имеется лишь два окончания, полностью специфицированных по признакам падежа и словоизменительного класса, – флексии творительного падежа “женских” типов склонения. Все остальные показатели в той или иной степени недоопределены по одному или нескольким признакам; так, показатель *-ом/-ем* встречается в творительном падеже слов мужского и среднего рода, показатель *-е₁* – в дативе и локативе лексем типа *комната*, а показатель *-а* вообще не имеет никаких признаков, что соответствует его сравнительно случайному распределению по парадигмам (номинатив в типе *комната* и генитив в типах *завод* и *место*).

Проблема, сразу встающая при таком подходе к словоизменительным показателям, – совместимость разных аффиксов с одними и теми же клетками парадигмы. Почему, например, не имеющий вообще никаких признаков и, тем самым, потенциально способный оформлять любой падеж в любом типе склонения показатель *-а* появляется лишь в ограниченном и строго определенном наборе клеток парадигмы? Ответ на этот вопрос дает так называемое условие специфичности (specificity condition): при прочих равных условиях, из двух показателей, совместимых с одной и той же клеткой в парадигме, выбирается более специфичный, т.е., неформально говоря, имеющий больше признаков. Условие специфичности предсказывает, что, например, хотя флексии *-е₁* с набором признаков {[-α, +β], [-subj, +obl]} и *-и* с набором признаков {[-α], [+obl]} обе совместимы с дативом и локативом обоих “женских” склонений, именно *-е₁*, как более специфичный показатель, оформляет датив и локатив в типе *комната*, “вытесняя” из этих клеток менее специфичный аффикс.

Единственные два случая синкретизма, которые не могут быть описаны в терминах недоопределенных показателей и условия специфичности – (i) совпадение флексий датива-локатива в типе *комната* и локатива в типах *стол* и *место* и (ii) совпадение аккузатива с номинативом или генитивом в зависимости от одушевленности в типе *стол*. Первый из указанных случаев синкретизма Мюллер трактует как единственную в русском именном словоизменении лексическую омонимию показателей. Более интересен второй случай. Мюллер показывает, что совпадение винительного падежа с родительным не может быть описано в указанных выше понятиях, поскольку эти падежи не образуют естественного класса (их объединяет лишь признак [+gov], который они, однако, разделяют с никогда не совпадающим ни с одним из них дативом). Для описания этого случая синкретизма он использует аппарат “ссылочных правил” (rules of referral), разработанный А. Звики [Zwicky 1985; Stump 1993; 2001; Корбет, Фрзсер 1993]). Ссылочное правило сообщает о том, что в определенном контексте вместо ожидаемого показателя должен появиться другой, также строго определенный. Ссылочное правило для данного случая синкретизма выглядит так (запись I{...} означает “наиболее специфичный показатель, совместимый с набором признаков { }”):

$$I\{[+α, -β], [-subj, +gov, -obl]\} \rightarrow \\ \rightarrow I\{[+α, -β], [+subj, +gov, \\ +obl]\} / [+одушевленность]$$

Аналогичным образом Мюллер анализирует и подсистему склонения во множественном числе.

В заключение своей статьи Мюллер обращается к вопросу о статусе введенных им признаков словоизменительных классов $[\pm\alpha]$ и $[\pm\beta]$. Они представляют собой проблему потому, что, с одной стороны, при таком подходе к словоизменению эти признаки оказываются необходимыми, а, с другой стороны, они явным образом не играют никакой роли вне морфологии; иными словами, в терминах “минималистской программы” [Chomsky 1995, 2000; Тестелец 2001: гл. XIII] они не и н т е р п р е т и р у е м ы в синтаксисе и должны быть стерты из представления словоформы к тому моменту, как она попадет в синтаксический компонент, аналогично семантически или фонологически неинтерпретируемым признакам, стираемым в синтаксисе. Развивая эту аналогию, Мюллер предлагает рассматривать флективное словоизменение так же, как передвижение составляющих в синтаксисе, которое, с точки зрения “минимализма”, является сред-

ством удаления неинтерпретируемых признаков. Более того, так же, как операции передвижения может быть предложено функциональное обоснование в терминах коммуникативной структуры, словоизменятельные классы, по мнению Мюллера, в конечном итоге, – не недостаток системы языка, а “хороший компромисс между эксплицитностью (позволяющей просто определить грамматическую функцию ИГ) и экономией (агглютинативное словоизменение порождает словоформы более сложной структуры, нежели флективное)” (с. 222).

Статья немецкого морфолога и типолога А. Ортмана “A factorial typology of number marking in noun phrases: The tension between economy and faithfulness” (“Факторная типология выражения числа в именных группах: конфликт между экономией и иконичностью”) посвящена тому, как языки маркируют числовые противопоставления в пределах ИГ, и выполнена в рамках теории оптимальности [Prince, Smolensky 1993]. Коротко остановимся на основных положениях этой концепции (см. также [Тестелец 2001: 651–654]). Основная идея теории оптимальности заключается в том, что универсальные принципы и ограничения, регулирующие грамматику разных языков, допускают исключения. При этом для каждого конкретного языка существует определенное ранжирование релевантных для него ограничений. Языковые структуры, нарушающие ограничения с более высоким рангом, оказываются менее приемлемыми или вовсе неграмматичными по сравнению с теми, что нарушают более слабые ограничения. Два типа ограничений, релевантных для обсуждения данной статьи, – ограничения экономии, запрещающие поверхностное выражение тех или иных значений, и ограничения иконичности [так называемой “верности” (faithfulness)], напротив, требующие, чтобы соответствующие признаки были реализованы на “поверхностном” уровне. Взаимодействие разных конкретных ограничений этих двух типов и приводит к наблюдаемому типологическому разнообразию.

Ортман рассматривает материал более десяти языков разных семей и выявляет два основных типа маркирования числа в ИГ: так называемый “английский тип”, где множественное число должно быть выражено, даже когда в ИГ есть числительное, уже указывающее на множественность референтов, и так называемый “венгерский тип”, где множественное число и числительные несоместимы. Другие важные параметры типологического варьирования – наличие согласования по числу внутри ИГ, локус выражения числа – вершина ИГ или ее периферия (как, например, в тагальском

языке, где показатель множественности *nga* стоит у левой границы ИГ, а вершина – у правой) и зависимость выражения множественности от референциальных свойств ИГ (так, в персидском и турецком только референтные ИГ различают числа).

Возможные типы реализации категории числа в ИГ (за исключением вариативности по последнему из указанных только что признаков) могут быть описаны при помощи разных ранжирований следующих ограничений: *PL(DP), запрещающего выражать грамматическую множественность, MAX(PL), напротив, требующего выражения этого признака на каждом элементе ИГ, EXPRESSPLURALITY, гласящего, что семантический признак множественности должен быть отражен в ИГ, MAX-HEAD(PL), требующего выражать множественность на вершине ИГ, и ALIGN(PL, L/R, DP, L/R), запрещающего выражать множественность иначе, нежели на левой или на правой периферии ИГ. Рассмотрим, как различные ранжирования этих ограничений описывают разные типы выражения множественности. В “английском типе”, где грамматическая множественность маркируется даже при наличии в ИГ числительного, ограничение иконичности MAX-HEAD(PL) выше в ранге, чем ограничение экономии *PL(DP); напротив, “венгерский тип”, где наличие числительного исключает показатель множественности, описывается противоположным ранжированием этих ограничений. В языках “английского типа” без согласования по числу внутри ИГ (тамилский) ограничение *PL(DP) оказывается выше в ранге, чем MAX(PL); обратное ранжирование наблюдается в языках с согласованием, например, в немецком. Также теория предсказывает, что в языках “венгерского типа”, где ограничения иконичности ранжированы ниже, чем *PL(DP), атрибутивные прилагательные никогда не будут согласовываться по числу, поскольку в противном случае показатели множественности появлялись бы и при числительных (доказать это утверждение можно путем несложной логической операции). Наконец, в языках, где множественность выражается на периферии ИГ (правой, как в баскском, или левой, как в тагальском), а не на вершине, ограничение ALIGN(PL, R, DP, R), или, соответственно, ALIGN(PL, L, DP, L), имеет ранг более высокий, чем MAX-HEAD(PL).

Таким образом, теория оптимальности позволяет единообразным и весьма изящным образом описать различные типы маркирования множественного числа в ИГ, наблюдаемые в языках мира, и сделать некоторые интересные предсказания о том, какие типы выражения числа возможны, а какие нет.

Из вошедших в сборник работ, обращающихся к проблеме распределения падежно-числовых показателей в именных группах немецкого языка, имеет смысл подробнее остановиться на статье В. Штернефельда "Feature checking, case, and agreement in German DPs" ("Проверка признаков, падеж и согласование в немецкой именной группе"). Как известно, появление падежного показателя на существительном в немецком языке регулируется сложными правилами, апеллирующими к контексту всей ИГ, ср. следующие примеры:

(1) Аккузатив

a. *ein Orchester ohne Dirigent/*Dirigenten* 'оркестр без дирижера'

b. *ein Orchester ohne eigen-en Dirigent/*Dirigent* 'оркестр без собственного дирижера'

(2) Датив

a. *ein Schiff aus Holz/*Holze* 'корабль из дерева'

b. *ein Schiff aus hart-em Holz/Holze* 'корабль из твердого дерева'

(3) Генитив

a. *die Verarbeitung d-es Holz-es* 'обработка дерева'

b. **die Verarbeitung Holz-(es)* 'то же'

c. *die Verarbeitung tropisch-en Holz-es* 'обработка тропического дерева'

Данные примеры иллюстрируют общую закономерность, выявленную в работах [Gallmann 1996; 1998], согласно которой падежный показатель на вершине ИГ в немецком языке может появляться лишь тогда, когда в ИГ есть падежнооформленный препозитивный элемент (прилагательное или детерминатор). При этом некоторые суффиксы (-en в косвенных падежах "слабого" склонения или в принципе факультативное -e в дативе "сильного" склонения) в отсутствие такого "поддерживающего" элемента могут быть опущены без нарушения грамматичности, а другие (показатель генитива единственного числа или дативамножественного числа) обязательны и потому не могут появляться в ИГ без зависимых элементов.

В. Штернефельд предлагает анализ этих фактов в терминах теории проверки признаков, разработанной в рамках "минималистской" программы. Основная идея этой теории заключается в том, что лексические и грамматические показатели, занимая отдельные узлы в синтаксической структуре и обладая наборами определенных признаков, соединяются друг с другом, элиминируя совпадающие неинтерпретируемые на том или ином уровне (в данном случае нас интересует только морфологический уровень) признаки. Так, слово *Steuern* 'налоги (DATPLFEM)' порождается следующим образом: основа *Steuer* имеет лексически-специфицированные признаки [FEM] (женский

род, интерпретируемый признак) и [n-DATIVE] (неинтерпретируемый признак словоизменительного класса); флексия -(e)n содержит интерпретируемые признаки [DAT,PL] и неинтерпретируемый признак [n-DATIVE]. При соединении основы и аффикса совпадающие неинтерпретируемые признаки "взаимоуничтожаются" и стираются. Не вдаваясь в дальнейшие и весьма сложные подробности анализа, предлагаемого В. Штернефельдом, укажу на то, что, по моему мнению, стремление единообразно описать и объяснить явления синтаксиса и морфологии приводит к весьма нежелательным результатам для обоих компонентов грамматики. В частности, практически бесконтрольное "размножение" неинтерпретируемых признаков и допущений касательно их природы и поведения, необходимых лишь для того, чтобы отразить все рассматриваемые факты, идет в разрез с самой методологией "минималистской программы", стремящейся сделать технический аппарат теории как можно более компактным и требующим как можно меньшего числа "локальных" допущений.

Сборник заключает статью видного немецкого морфолога, типолога и семантиста Д. Вундерлиха "Is there any need for the concept of directional syncretism?" ("Есть ли необходимость в понятии 'направленного синкретизма?") где обсуждается классификация случаев синкретизма, предложенная недавно американским морфологом Г. Стампом (см. монографию [Stump 2001] и рецензию на нее [Аркадьев 2004]), в частности, понятие "направленного синкретизма" (т.е. такого, который описывается при помощи "ссылочных правил"). Материалом для исследования Вундерлиха послужило русское именное словоизменение, а защищаемая им точка зрения заключается в том, что аппарат "ссылочных правил" и, следовательно, основанное на нем понятие "направленного синкретизма" должны быть исключены из морфологической теории. Аргументы в пользу такого вывода заключаются в том, что, во-первых, "ссылочные правила", по мнению Вундерлиха, "не имеют психологической реальности" (с. 390; правда, в защиту этого утверждения автор, как нередко бывает, не приводит ни эмпирических данных, ни библиографических ссылок), и, во-вторых, все случаи направленного синкретизма могут быть переформулированы в терминах уже знакомого нам по статье Г. Мюллера аппарата признаков и недоспецификации. Интересно, что, анализируя синкретизм аккузатива с номинативом или генитивом в зависимости от одушевленности, Вундерлих приходит к выводу, диаметрально противоположному заключению Мюллера: этот случай синкретизма,

как и все остальные, может быть описан в терминах общих признаков омонимичных падежей (правда, для этого описания Вундерлиху требуется формальный аппарат существенно более сложный, чем Мюллеру, и помимо декомпозиции значений падежей он использует также механизм теории оптимальности, существенно расширяющий возможности описания, но в равной пропорции ослабляющий его объяснительную силу). Следует отметить, однако, что аргументы, которые Вундерлих приводит против аппарата “ссылочных правил”, представляются малоубедительными, а его анализ данных русского языка адекватным лишь с описательной точки зрения, но никак не с объяснительной, хотя бы потому, что значительная часть оптимально-теоретических ограничений, им предлагаемых, является попросту переформулировкой соответствующих фактов и, тем самым, ничего не объясняя, создает порочный круг. Здесь снова приходится констатировать, что стремление дать единообразное описание явлениям, по своей природе не вполне регулярным, приводит к тому, что такие описания по своей сложности существенно превосходят свой объект.

В сборник также включены следующие статьи: А. Алексиаду “Inflection class, gender and DP internal structure” (“Словоизменяемые классы, род и внутренняя структура именной группы), где на материале ряда языков критически рассматривается и опровергается гипотеза о том, что в структуре ИГ отдельным вершинам в дереве составляющих соответствуют не только такие семантически и синтаксически наполненные категории, как число и детерминация (референтный статус), но также и такие “ингерентные” категории, как род и словоизменяемый класс; П. Айзенберг и У. Заяц “Left of number. Animacy and plurality in German nouns” (“Слева от числа. Одушевленность и множественность у немецких существительных”), анализирующая набор и порядок следования продуктивных именных словообразовательных показателей в немецком языке в терминах понимаемых предельно широко понятий “множественность” и “одушевленность”; П. Гальман “Feature Sharing in DPs” (“Распределение признаков в ИГ”), посвященная анализу разнообразных явлений синкретизма в немецкой ИГ и описывающая их при помощи весьма причудливого конгломерата формализмов одной из версий теории парадигм, “минималистской программы” и теории оптимальности; П. Карновский и Ю. Пафель “A topological schema for noun phrases in German” (“Топологическая модель немецкой ИГ”), где демонстрируется, как довольно простой и “приближенный к реальности” формализм может пролить

свет на лексические, грамматически и синтаксические категории, составляющие именную группу в немецком языке; Р. Тироф “Feminine vs. non-feminine noun phrases in German” (“Именные группы женского и неженского рода в немецком языке”), где аргументируется точка зрения, что сложное и на первый взгляд нерегулярное поведение падежно-числовых показателей на элементах ИГ в немецком языке может быть объяснено, если предположить, что в некоторый момент истории языка моделью для организации ИГ стали ИГ с вершиной – лексемой женского рода; Б. Визе “Categories and paradigms. On underspecification in Russian declension” (“Категории и парадигмы. О недоопределенности в русском склонении”), где предлагается еще один подход к случаям синкретизма в русском именном словоизменении; основное достоинство этой статьи заключается в том, что ее автор рассматривает существенно более полную картину русского склонения, нежели Мюллер и Вундерлих, и оперирует признаками несколько менее абстрактного свойства; тем не менее, с теоретической точки зрения эта работа, как кажется, представляет меньшую ценность.

В заключение хочется отметить, что все статьи рецензируемого сборника, несмотря на то, что с аргументами и выводами их авторов далеко не всегда можно согласиться, весьма интересны как фактами, рассматриваемыми в некоторых из них, так и предлагаемыми в них теоретическими построениями. Ценность научной работы нередко заключается не в убедительности предлагаемой в ней трактовки некоторого явления, а в вопросах, которые задает ее автор, и которые, прочтя эту работу, задаст внимательный читатель.

К сожалению, приходится отметить, что количество опечаток в сборнике весьма велико и нередко затрудняет понимание текста. В сборнике имеется довольно полный указатель терминов, включающий, среди прочего, используемые авторами формальные понятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аркадьев 2004 – П.М. Аркадьев. – ВЯ. 2004. № 2. – Рец.: Г.Т. Stump. *Inflectional morphology*. Cambridge, 2001.
- Зализняк 1967/2002 – А.А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967. (2-е изд. М., 2002).
- Корбетт, Фрэзер 1997 – Г.Г. Корбетт, Н.М. Фрэзер. Компьютерная лингвистика и типология. // Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. 1997. № 2.
- Мельчук 2000 – И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Т. III. Ч. 3: Морфологиче-

ские средства. Ч. 4: Морфологические синтактики. М., 2000.

Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.

Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

Abney 1987 – S.P. Abney. The English noun phrase in its sentential aspect. PhD Thesis. Cambridge (Mass.), 1987.

Bierwisch 1967 – M. Bierwisch. Syntactic features in morphology: general principles of so-called pronominal inflection in German // To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday. V. I. The Hague; Paris, 1967.

Carstairs 1987 – A. Carstairs. Allomorphy in inflexion. London, 1987.

Carstairs-McCarthy 1994 – A. Carstairs-McCarthy. Inflexion classes, gender, and principle of contrast // Language. 1994. V. 70. № 4.

Chomsky 1995 – N. Chomsky. The minimalist program. Cambridge (Mass.), 1995.

Chomsky 2000 – N. Chomsky. Minimalist inquiries: The framework // Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik /

Ed. by R. Martin, D. Michaels, J. Uriagereka. Cambridge (Mass.), 2000.

Gallmann 1996 – P. Gallmann. Die Steuerung der Flexion in der DP // Linguistische Berichte. Bd. 164. 1996.

Gallmann 1998 – P. Gallmann. Case underspecification in morphology, syntax and the lexicon // Possessors, predicates and movement in the Determiner Phrase / Ed. by A. Alexiadou, C. Wilder. Amsterdam; Philadelphia, 1998.

Matthews 1991 – P.H. Matthews. Morphology. 2-nd ed. Cambridge, 1991.

Prince, Smolensky 1993 – A. Prince, P. Smolensky. Optimality theory: Constraint interaction in generative grammar. Manuscript. Rutgers University, 1993.

Stump 1993 – G.T. Stump. On rules of referral // Language. 1993. V. 69. № 3.

Stump 2001 – G.T. Stump. Inflectional morphology. A theory of paradigm structure. Cambridge, 2001.

Zwicky 1985 – A. Zwicky. How to describe inflection // Proceedings of the 11-th annual meeting of the Berkeley linguistics society. Berkeley, 1985.

П.М. Аркадьев

В.С. Храковский (ред.). Типология уступительных конструкций. СПб.: Наука, 2004. 625 с.

Рецензируемый сборник входит в известную серию публикаций по грамматическим категориям глагола, связанных с семантической и синтаксической структурой предложения. Он является естественным продолжением предыдущей публикации Лаборатории типологического изучения языков петербургского Института лингвистических исследований РАН, сборника “Типология условных конструкций” (СПб., 1998). Настоящая монография имеет традиционную для серии структуру: в первой части представлена теоретическая база для типологического изучения уступительных конструкций, во второй части содержится 20 статей, описывающих уступительные конструкции в конкретных языках. Кроме того, в сборнике есть два приложения: в первом содержится описание одной условно-уступительной конструкции в русском языке, а второе представляет анкету для описания уступительных конструкций, которая использовалась участниками сборника.

Уступительные конструкции, как и вообще сложное предложение, в последнее время часто привлекают внимание типологов, доста-

точно вспомнить часто цитируемую статью [Haspelmath, König 1998], диссертацию [Crevels 2000], целиком посвященную уступительным конструкциям, и др. работы. Вероятно, это связано с общим интересом лингвистической типологии к изучению дискурса и таким уровнем развития аналитического аппарата в области семантики и прагматики, который дает возможность типологического исследования полипредикативных конструкций с семантически сложными типами связи. Тем не менее, столь подробное и систематическое исследование уступительных конструкций на широком языковом материале проводится впервые.

Важнейшая проблема, с которой сталкивается лингвистическая типология, – поиск таких принципов отбора языкового материала и таких способов его представления, которые делали бы возможным сравнение языков различного типа. Например, невозможно провести широкомасштабное типологическое исследование уступительных конструкций или других синтаксических константов (условных, временных, причинных и т.д.), если отбирать конструкции по формальному признаку. В

сборнике принят семантический принцип отбора уступительных конструкций, что позволяет анализировать материал языков различного синтаксического строя.

Рассмотрим подробнее содержание каждой части.

Часть первая.

В статье В.С. Храковского “Уступительные конструкции: семантика, синтаксис, типология” предлагается толкование уступительных (УсК) и условно-уступительных (УУК) конструкций, на котором базируется выделение этих конструкций в языках, анализируемых во второй части сборника. Автор утверждает, что уступительное значение не является «семантическим примитивом, а является сложным и формируется на базе концептов ‘причинное значение’, ‘условное значение’ и ‘противительное значение’» (с. 10). Таким образом, толкование УсК и УУК невозможно без толкования причинных и условных конструкций:

«Толкование причинной конструкции типа *Q*, потому что *P*: ‘имеет место ситуация *P* и связанная с ней ситуация *Q*; говорящий знает или считает, что это нормально’.

Толкование коррелирующей УсК типа *хотя P*, *не-Q*: имеет место ситуация *P* и связанная с ней ситуация *не-Q*; говорящий знает или считает, что из ситуации *P* нормально должна следовать ситуация *Q*’.

Толкование УК типа *если P*, *Q*: ‘может иметь место либо ситуация *P*, либо ситуация *не-P*; при реализации ситуации *P* будет иметь место и связанная с ней ситуация *Q*; говорящий знает или считает, что это нормально’.

Толкование коррелирующей УУК типа *даже если P*, *не-Q*: может иметь место либо ситуация *P*, либо ситуация *не-P*; при реализации ситуации *P* будет иметь место и связанная с ней ситуация *не-Q*; говорящий знает или считает, что из ситуации *P* нормально должна следовать ситуация *Q*» (с. 13–14).

Автор обращает внимание на важнейшее свойство уступительных конструкций, которое, как кажется, до сих пор оставалось незамеченным, а именно: класс ситуаций, которые могут быть осмыслены как противоречивые и, соответственно, оформлены как уступительные конструкции, не является универсальным, а зависит от субъективных установок говорящего и / или культурных представлений сообщества, обслуживаемого тем или иным языком. Так, предложение *Хотя у него было много денег, он не стал брать вторую жену* может рассматриваться как прагматически нормальное только в сообществах, где разрешено многоженство. Это свойство делает выделение и анализ уступительных конструкций особенно трудным для тех случаев, когда усту-

пительное значение не выражается эксплицитно (например, в случае бессоюзных сложных предложений).

Автор приводит известную классификацию УсК, предложенную в работе [Haspelmath, König 1998], где все УсК делятся на скалярные, альтернативные и универсальные, и справедливо отмечает, что эта классификация “нуждается в уточнении и не может быть использована как базовая для адекватного описания УсК” (с. 20). Взамен предлагается система, основанная на совмещении двух классификаций: согласно одной, все уступительные конструкции делятся на генерализованные и негенерализованные, согласно другой, все рассматриваемые конструкции делятся на уступительные и условно-уступительные, что в общей сложности позволяет выделить шесть типов уступительных конструкций:

I. Негенерализованные уступительные конструкции.

I.1. Уступительные конструкции

Хотя шел дождь, Петров вышел из дома без зонтика.

I.2. Условно-уступительные конструкции.

I.2.1. Реальные условно-уступительные конструкции.

Даже если пойдет дождь, Петров выйдет из дома без зонтика / Даже если бы пошел дождь, Петров выйдет из дома без зонтика.

I.2.2. Нереальные условно-уступительные конструкции.

Даже если бы пошел дождь, Петров вышел бы из дома без зонтика.

II. Генерализованные уступительные конструкции.

II.1. Уступительные конструкции

Куда (бы) Петров ни обращался, он нигде не получил вразумительного ответа.

II.2. Условно-уступительные конструкции

II.2.1. Реальные условно-уступительные конструкции.

Куда бы Петров ни обратился, он нигде не получит вразумительного ответа / Куда Петров ни обратится, он нигде не получит вразумительного ответа.

II.2.2. Нереальные условно-уступительные конструкции.

Куда бы Петров ни обратился, он бы нигде не получил вразумительного ответа.

Описание синтаксических типов уступительных конструкций строится в соответствии с этой классификацией: сначала рассматрива-

ются негенерализованные, затем – генерализованные уступительные конструкции. Негенерализованные уступительные конструкции разбиваются на два больших класса в зависимости от способа оформления частей сложного предложения.

Сперва описываются конструкции, оформляемые как сложноподчиненное предложение (т.е. сложное предложение, обе части которого содержат финитные глаголы), затем – конструкции, оформляемые как осложненное предложение (т.е. сложное предложение, в котором только одна часть оформлена финитным глаголом). Для каждого из этих двух типов дается классификация способов оформления предикатов (время, вид, залог) и взаимодействия между ними, а также классификация способов связи двух предикатов. Кроме того, каждый раздел содержит описание анафорических отношений в рассматриваемых предложениях.

Далее рассматриваются генерализованные уступительные конструкции (сначала УсК, затем ОУК), их семантические и формальные особенности. В конце приводится исчисление уступительных конструкций, в основу которого положено два параметра, не использовавшихся ранее для классификации УсК: первый параметр – это “таксисная зависимость между уступкой Р и антитезой не-Q”; второй параметр – “временная отнесенность Р и не-Q, т.е. их абсолютная локализация на временной оси” (с. 81–82).

В первой части при классификации УсК приводятся примеры из разных языков выборки. К сожалению, и это относится не только к данному разделу, при поморфемном глоссировании примеров не всегда соблюдается единый стандарт, что затрудняет восприятие материала (например, количество дефисов в строке примера очень часто не совпадает с количеством дефисов в строке глоссирования, что делает проблематичной идентификацию морфем).

Часть вторая.

Эта часть сборника содержит статьи, описывающие уступительные конструкции в следующих языках: болгарский, армянский, архаическая латынь, французский, английский, финский, эстонский, венгерский, хауса, индонезийский, кхмерский, вьетнамский, древнекитайский, древнегреческий, тюркские, эвенский, эвенкийский, японский, эксимосский, агульский. Логика расположения языков такая: сначала рассматриваются языки, в которых уступительной конструкцией является сложноподчиненное предложение (болгарский, армянский, архаическая латынь, французский, английский, финский, эстонский, венгерский,

хауса, индонезийский, кхмерский, вьетнамский, древнекитайский), затем древнегреческий, выделенный в отдельный раздел, так как только в нем прототипической уступительной конструкцией является осложненное предложение, а прототипической условно-уступительной конструкцией – сложноподчиненное предложение. Третий раздел содержит языки, в которых прототипической уступительной конструкцией является осложненное предложение.

К сожалению, в сборнике не указан принцип отбора языков для исследования. Обычно типологические выборки осуществляются либо по принципу генетического разнообразия, и тогда выборка представляет максимальный разброс языковых семей с одним-двумя языками на семью, либо по принципу ареальной близости, и тогда изучаются все языки определенного региона независимо от их генетической принадлежности. Ясно, что сборник не следует ни одному из этих принципов, но и не эксплицирует свой собственный принцип отбора языков.

Язык первый. Языки, в которых прототипической уступительной конструкцией является сложноподчиненное предложение.

Языковые статьи в этом разделе организованы по следующему принципу: сначала дается краткая грамматическая справка о языке, где особое внимание уделяется грамматическим категориям глагола, релевантным для описания полипредикативных конструкций, т.е. категориям вида, времени и наклонения, а затем описываются собственно уступительные и условно-уступительные конструкции в соответствии с шестью типами, выделенными в первой части. Далее характеризуется структура уступительного сложного предложения с точки зрения порядка следования частей, коннекторов и способов оформления предикатов, возглавляющих части сложного предложения. Также в каждой статье уделяется внимание происхождению уступительных показателей, поскольку способ выражения уступительного значения в языке всегда является производным. Кроме того, обсуждаются непрототипические способы оформления УсК (несобственно уступительные союзы и бессоюзные предложения) и простые предложения с уступительными оборотами.

Все статьи следуют этой схеме, и в данной рецензии мы лишь кратко остановимся на тех моментах, которые, по нашему мнению, заслуживают особого внимания.

В описание уступительных конструкций в болгарском языке (Р. Ницолова) включен важный раздел, посвященный семантике и прагматике уступительных конструкций, где рассмат-

риваются примеры типа *Макар че идвах вчера у вас, Мария не беше в къщи*, букв. 'Хотя я приходил вчера к вам, Марии не было дома', в которых как уступительные оформляются предложения, описывающие ситуации, не являющиеся противоречивыми. В части, посвященной происхождению уступительных союзов, приводится их стилистическая характеристика.

Следующая глава посвящена уступительным конструкциям в **армянском** языке (Н.А. Козинцева). Рассматриваются сложноподчиненные предложения уступки, осложненные предложения с причастно-деепричастным оборотом и простые предложения с обстоятельством уступки, приводится источник выборки (тексты двух романов) и количественное распределение трех вышеуказанных конструкций в этих текстах. Автор также обращает внимание на прагматические функции уступительных предложений: "при постпозиции зависимая часть останавливает повествование о последовательных действиях – необходимо введение дополнительных мотивировок того, почему были совершены те или иные действия" (с. 147). Такая прагматическая функция – замедление повествования – была ранее отмечена для некоторых условных показателей [Найман 1988], и введение уступительных конструкций в это семантическое поле представляется очень интересным.

Статья про уступительные конструкции в **архаической латыни** (М.К. Сабанеева) базируется на материале языка комедий Плавта. Отмечается возможность выражения уступительного значения неспециализированными союзами *cum* (*quot*) 'когда' и *ubi* 'где', но уступительное значение при этом реализуется лишь "с опорой на особый лексико-грамматический контекст главной и зависимой частей" (с. 170).

Глава об уступительных конструкциях во **французском** языке (Е.Е. Корди) начинается с общей классификации сложноподчиненных предложений с обстоятельственными придаточными, характеристики их семантики и места УсК в этой классификации. Отдельно описывается одна непрототипическая УсК: бессоюзное сложное предложение с уступительным глагольным оборотом *avoir beau + Inf*, а также возможность выражения уступительных значений условными предложениями типа *Si Edmée ressentait le mépris de certains à son endroit, elle savait le braver* 'Если Эдме (и) чувствовала презрение к ней некоторых людей, она умела пренебрегать им', что является яркой особенностью французского языка.

В главе, посвященной уступительным конструкциям в **английском** языке (В.А. Стегний),

проводится разграничение между уступительными и противительными конструкциями: "у уступительных и противительных показателей разные коммуникативные функции: первые указывают на то, что в фокусе внимания говорящего находится тема, а вторые – на то, что в фокусе внимания говорящего находится рема" (с. 212–213). Кроме того, приводятся случаи, когда противительные конструкции (сложное предложение с *but*) не могут быть трансформированы в УсК и семантическое обоснование этого. Нам представляется, однако, что для установления столь тонких семантических различий более надежно привлекать корпус текстов и опираться на частотность употребления той или иной конструкции, чем просто утверждать ее неграмматичность. Так, несколько опрошенных нами носителей английского языка (британский и канадский варианты) не согласились с тем, что предложение *Though I called John [I did not talk to him, because] no one answered the phone* 'Хотя я позвонил Джону, {я не поговорил с ним, потому что} никто не брал трубку' является неграмматичным, как утверждает автор статьи.

Уступительные конструкции в финском языке практически не описывались ранее, и статья про УсК в **финском** языке (Х. Томмола) удачно восполняет этот пробел. Подробно рассматриваются способы формальной организации уступительных конструкций, приводится таблица сочетаний всех возможных вариантов оформления предикатов главной и зависимой частей, и наличия / отсутствия факультативных коннекторов, обсуждается (с привлечением эстонского материала) происхождение финского уступительного союза *vaikka*, который мог употребляться в императивных предложениях, и употребление других уступительных союзов, которые, судя по приведенному материалу, являются более книжными.

В статье про УсК **эстонского** языка (К. Кару, И.П. Кюльмоя) выделяется 30 уступительных союзов, дается их семантическая характеристика, описывается дистрибуция и комбинаторика.

Интересное наблюдение сделано относительно уступительных конструкций в языке **хауса** (Н.А. Добронравин, М.А. Смирнова): они почти полностью отсутствуют в некоторых жанрах, например, "в исторических хрониках и поэзии. С другой стороны, УсК часто используются в пословицах и особенно в современных политических и юридических текстах" (с.326). Так, в разделе про генерализованные уступительные конструкции приводится пословица *Ko wa ya rena gajere bai taka kunama ba* 'Всякий, кто презирает мелочи, не наступал на скорпиона', которая, с одной стороны, иллю-

стрирует это положение, а с другой – показывает культурную специфичность уступительной семантики.

В статье про уступительные конструкции в **индонезийском** языке (А.К. Оглоблин, С.Г. Крамарова) описывается редкая и очень интересная стратегия оформления УсК: редупликация прилагательного, например *Hitam-hitam sicuti Elmina* ‘Хоть и черные, а внуки Вильгельмины / Черные, не черные, а внуки Вильгельмины’ {Имеются в виду индонезийцы, преданные королеве Нидерландов}, материал получен авторами из текстов, а также непосредственно от носителей индонезийского языка.

В статье об уступительных конструкциях во **вьетнамском** языке (И.С. Быстров, И.В. Станкевич) обсуждается связь уступительных и противительных конструкций и условия, при которых одни могут быть заменены другими.

В статье про УсК в **древнекитайском** языке (Т.Н. Никитина) говорится, что в нем не было грамматических различий между УсК и УУК. В статье также обсуждаются сходства и различия уступительных и противительных конструкций и соотношение уступительных конструкций с другими близкими по смыслу конструкциями.

Раздел второй. Языки, в которых прототипической уступительной конструкцией является осложненное предложение, а прототипической условно-уступительной конструкцией – сложноподчиненное предложение.

В этом разделе всего один язык – **древнегреческий** (И.И. Ибрагимов). Анализ УсК проводился на материале 7000 страниц текста шести авторов V–IV вв. до н.э. (автоматический анализ) плюс 2500 страниц текста из того же корпуса, обработанных вручную. При описании семантических признаков уступительных конструкций выделяется прагматический компонент: истолкование УсК опирается на “семантику входящих в конструкцию лексем, предтекст и представления коммуникантов” (с. 399). Отмечается, что, кроме этих факторов и собственно уступительных показателей, древнегреческий язык использует другие средства, позволяющие истолковать конструкцию как уступительную: это фокусные частицы и “лексемы со значением высокой / низкой степени признака, полного присутствия / отсутствия признака или превышения его нормы” (с. 399). Участие эмфатических элементов в оформлении УсК отмечалось довольно часто, но они скорее считались входящими в состав уступительных показателей, а не ограничивались от них. В пользу такого понимания устройства уступительных показателей и в

древнегреческом языке, как кажется, говорит тот факт, что, как отмечает сам автор статьи, «трудно найти УсК, в которых бы не было подобных “примет”. Если последние отсутствуют, то уступительная интерпретация конструкции вообще становится сомнительной» (с. 400). В заключение автор отмечает две особенности, выделяющие УсК древнегреческого языка: во-первых, “обязательность уступительного маркера при употреблении УУК в сравнении с весьма редким употреблением уступительных показателей в УсК”, и во-вторых, “отсутствие уступительных показателей, которые бы употреблялись в зависимой части с глаголом-сказуемым в финитной форме” – сказуемое либо выражается причастием, либо в зависимой части отсутствует уступительный маркер.

Раздел третий. Языки, в которых прототипической уступительной и условно-уступительной конструкцией является осложненное предложение.

Статьи данного раздела не имеют единого формата. Видимо, это связано с большим разнообразием грамматического инвентаря, объединяемого понятием “осложненное предложение”.

В статье об уступительных конструкциях в **тюркских** языках (Х.Ф. Исхакова, Д.М. Насилов, И.А. Невская) сперва обсуждается способ выражения уступительной семантики, затем дается формальная характеристика общетюркской условной формы, сочетание которой с уступительной частицей дает уступительный маркер, и исчисляются смысловые типы уступительных конструкций в зависимости от темпоральной отнесенности события, обозначаемого главным и зависимым предикатами. Отдельно описываются генерализованные УсК. Следующий раздел статьи посвящен нестандартным УсК, где в зависимой части нет условной формы, а используется императив, падежные формы причастий, специализированные формы деепричастий и падежно-последовательные конструкции.

В статье про уступительные конструкции в **эвенском** языке (А.Л. Мальчуков) дается краткая грамматическая характеристика эвенского языка, а затем описываются по очереди три основных способа выражения уступительного значения: сочетание условно-временного деепричастия с частицами, деепричастие одновременности на *-никан* и причастно-падежные формы на *-ри-кла*.

Основным является первый способ, представляющий собой типологически часто встречающуюся стратегию: сочетание условно-временного деепричастия (которое в эвенском

языке может употребляться в причинных, условных и временных предложениях) с эмфатическими частицами *-da*, *-mum* (и их комбинацией *-da-mum*). В статье дается семантическая характеристика этих частиц, приводятся примеры их употребления вне уступительного контекста и распределение их по говорам. Далее УСК эвенского языка характеризуются с точки зрения фактивности событий, обозначаемых предикатами главного и зависимого предложений, и их таксисной соотнесенности. Особо хочется отметить раздел о фокусе. Уступительный оператор может иметь сферой действия всю клаузу, и тогда частица *-dal-mum* присоединяется к глаголу, а может иметь сферой действия только одного участника пропозиции, и тогда частица присоединяется к ИГ, обозначающей этого участника. В сферу действия оператора могут также попадать атрибутивные фрагменты пропозиции.

Для деепричастия одновременности на *-никан*, которое не всегда выражает уступительное значение, приводится синтаксический контекст, в котором уступительная интерпретация более частотна: пропозиция деепричастия к подлежащему, а не к сказуемому.

Формы на *-ри-кла* употребляются более ограниченно, чем формы условно-временного деепричастия, но менее ограниченно, чем формы на *-никан*. Формы на *-ри-кла* классифицируются как интенсивно-уступительные формы, поскольку часто используются для выражения “крайней (сколь угодно высокой) интенсивности зависимого действия, которое тем не менее не может воспрепятствовать осуществлению главного действия” (с. 470).

Основное средство выражения уступительного значения в **эвенкийском** языке (И.В. Недялков) очень похоже на эвенский, это сочетание условно-временного деепричастия с частицами *-вал*, *-кат* и *-да*, где, в отличие от эвенского, *-вал* является специализированной уступительной частицей. Кроме того, уступительное значение может выражаться специализированными деепричастиями на *-чали*, деепричастной формой глагола ‘быть’ и уступительно-противительным союзом. В статье дается краткая грамматическая справка о строе эвенкийского языка, характеристика типов таксисных соотношений главной и зависимой частей и семантические условия употребления разных уступительных деепричастий. Относительно генерализованных УСК приводится интересный факт: уступительная частица в них присоединяется не к глаголу, а к местоименному элементу.

Статья про уступительные конструкции в **современном японском** языке (В.М. Алпатов, Т.В. Андропова) также открывается грамма-

тической справкой. Затем идет описание специализированных уступительных форм (вторичное деепричастие на *-tel-de* + сочинительная частица *mo*, деепричастные формы на *-tattel-datte*, финитная форма + союз *noni*), их семантики и сочетаемости с глагольными формами главного предложения. Так, деепричастие на *-tel-de* + *mo* чаще употребляется в условно-уступительных, чем в собственно уступительных контекстах. Упоминается особая конструкция “глагол в инд. любого времени + цитационный союз + вспом. гл. *suru* ‘делать’ в форме на *-te mo*”.

Затем приводятся уступительные конструкции, заимствованные из старописьменного языка, за которыми следует раздел о неспециализированных уступительных формах, куда включаются конструкции с деепричастиями на *-te* и *-inagara*, а также конструкции с различными союзами.

Для лингвистов, интересующихся грамматикализацией, большой интерес представляет **пятый раздел**, где описываются устойчивые конструкции, в состав которых входят уступительные формы на *-te mo*: в сочетании с определенными лексическими единицами они приобретают модальные значения типа: ‘вы можете P’, ‘можно P’, ‘всё равно’, ‘ничего страшного, что P’, ‘ничего не поделаешь, что P’.

В конце статьи приводится таблица, в которую сведены формальные средства, с помощью которых в японском языке выражаются уступительное, потенциальное и ирреальное условно-уступительное значения.

В языке **азиатских эскимосов** (Н.Б. Вахтин) существуют три стратегии оформления уступительных конструкций: зависимый предикат оформляется показателем *-ghnga(gh)-*, зависимый предикат (или сказуемое независимого предложения) оформляется суффиксом *-yagh-*, и суффикс *-rru(g)-*, который присоединяется к главному глаголу и “усиливает значение ситуации P2”. Первым способом оформляются прототипические уступительные предложения, и в статье приводятся примеры на сочетание этого показателя с разными временами и наклонениями глагола-сказуемого главного предложения.

Как справедливо замечает автор, гораздо больший интерес представляет суффикс *-yagh*, “относительно семантики которого в литературе по языку азиатских эскимосов нет единого мнения” (с. 511). Одно из значений этого суффикса – “неочевидного или отдаленного от момента речи действия, предшествующего главному” (с. 513). Кроме этого, он может употребляться для “выражения чудесных действий и событий в сказочных текстах” (там же). С уступительным эти значения сближает общая

функция, сформулированная следующим образом: «...маркировка в сложных предложениях особых отношений между двумя сказуемыми. Эти отношения вполне вписываются в очерченную семантику недостаточного основания: “в норме” два действия, обозначаемые зависимым и главным глаголами, не должны бы встретиться вместе, однако в “реальности” они встретились» (с. 517). В связи с этим стоит снова упомянуть статью [Haiman 1988], где очень похожее значение в языке хуа фиксируется для условного показателя. В хакасском и марийском языках подобное значение выражается также условными показателями (ср. некоторые данные в [Чумакина 2002]).

Статья завершается разделом “Уступительность в наивной картине мира”, где суммируется значение приведенных в статье примеров и предлагается классификация уступительных значений по “универсальности”: “По-видимому, в наивной картине мира существуют некоторые связи, отражающие нормальный порядок вещей. Это могут быть связи ... универсальные, ... этноспецифические и ... характерные для индивида или группы” (с. 520). Эта классификация кажется очень важной для описания УсК, поскольку все описания в той или иной степени опираются на подобные представления, которые впервые эксплицируются столь четко.

Статья про уступительные конструкции в агульском языке (Н.Р. Добрушина, С.Р. Мерданова) начинается с подробной грамматической справки. Затем рассматривается основное средство оформления уступительных конструкций – условное деепричастие с частицей, одно из значений которой – усилительное. Отмечается интересный факт: уступительные формы, употребленные в контексте слов *ripa* и *aRaj* (этимологически – деепричастия от глагола ‘говорить’), обозначают маловероятную ситуацию. Далее рассматриваются способы выражения временных и таксисных значений в конструкциях с уступительным деепричастием.

Другой способ выражения уступительных значений в агульском языке – употребление опатива в зависимой части. В статье приводится семантическое обоснование уступительного употребления опатива: «помимо собственно желательного, агульский опатив может иметь значение ‘говорящий выражает согласие с тем, чтобы ситуация имела место или сообщает о своем намерении не влиять на существующее положение дел’» (с. 531–532). Далее описываются способы оформления УУК, после которых идет раздел о способах выражения уступительного смысла вне УсК: это конструкция со вспомогательным глаголом ‘делать’ и лексические средства с уступи-

тельным значением. Приводится толкование этих конструкций, показывающее, что они имеют более сложную семантическую структуру, чем прототипические УсК. Примеры в статье, как правило, даются с предшествующим контекстом, что значительно повышает их иллюстративную ценность.

Сборник содержит два приложения:

В.И. Подлеская. Об одной условно-уступительной конструкции в русском языке (имеется в виду конструкция *хоть* + квазимператив).

В.С. Храковский. Анкета для описания уступительных конструкций.

Сборник “Типология уступительных конструкций” является значительным вкладом в изучение полипредикативных конструкций. Впервые семантика, синтаксис и грамматические формы выражения уступительных конструкций описываются с такой степенью подробности. Единый формат описания значительно упрощает типологическое сравнение материала разноструктурных языков. Природа уступительного значения такова, что при описании УсК обязательно нужно учитывать прагматический компонент, который представлен в большинстве статей. В силу “вторичности” уступительного значения, для адекватного описания уступительных показателей необходимо указывать их происхождение, что также делается авторами сборника. Смежные значения уступительных показателей, обсуждаемые в статьях про японский, эскимосский и агульский языки, важны для прослеживания путей грамматикализации, а также для общей типологии грамматических показателей.

Вместе с тем, к сборнику есть и определенные претензии: примеры крайне редко приводятся в широком контексте, что затрудняет анализ тонкостей уступительной семантики; не во всех статьях указаны источники примеров и размеры текстовых корпусов, на которых проводилось исследование; некоторые замечания относительно glossирования и языковой выборки были приведены выше. К сожалению, сборник не свободен и от опечаток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Crevels 2000 – *E.I. Crevels.* Concession: A typological study. Amsterdam, 2000.
- Haiman 1988 – *J. Haiman.* Inconsequential clauses in Hua and the typology of clauses // J. Haiman, S. Thompson (eds.). Clause combining in grammar and discours. Amsterdam, 1988.
- Haspelmath, König 1998 – *M. Haspelmath, E. König.* Concessive conditionals in the languages of Europe // J. van der Auwera,

D.P. Ó Baoill (eds.). *Adverbial constructions in the languages of Europe*. Berlin, 1998.
Чумакина 2002 – М.Э. Чумакина. Условие, непоследовательность и топик: данные марийского языка // *Беспредел в лингви-*

стике. Сб. в честь А.И. Кузнецовой. М., 2002.

М.Э. Чумакина

Е.А. Кузьменков. Фонологическая система современного монгольского языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 212 с.

J.-O. Svantesson, A. Tsendina, A. Mukhanova-Karlsson, V. Franzén. The phonology of Mongolian. Oxford: Oxford University Press, 2005. 336 p.

Зима 2004–2005 годов подарила научному сообществу два основательных труда по монгольской фонологии, области довольно давно разрабатываемой, но по-прежнему представляющей собой большой простор для споров и различных интерпретаций. Речь идет о работе международной группы ученых, возглавляемой шведским профессором Свантессоном, “The phonology of Mongolian”, изданной в оксфордской серии “The Phonologies of the World’s languages” (далее PhM), и о книге профессора Санкт-Петербургского университета Е.А. Кузьменкова “Фонологическая система современного монгольского языка” (далее ФС).

Обе работы оказываются шире заявленной темы. Если PhM описывает целостную картину истории развития монгольской фонологической системы от прамонгольского состояния к современному (во всех существующих монгольских языках), особо рассматривая также синхронную фонологическую систему халха (= современного монгольского языка), то ФС делает акцент на том, что фонологический компонент языка неразрывно связан с морфологией и синтаксисом, и рассматривает особенности монгольской системы в свете общей типологии агглютинативных языков. Первая работа рассматривает не только синхронный срез собственно монгольского языка, вторая – не только фонологию.

Попробуем сравнить особенности этих работ и подходы авторов к разным ключевым вопросам монгольской фонологии.

СТРУКТУРА

Работа Свантессона и его коллег состоит из нескольких частей. Первая часть представляет собой синхронное описание графики, фонетики, фонологии и морфонологии современного монгольского языка, вторая часть посвящена реконструкции старомонгольской фонологической системы на основании памятников средневекового монгольского языка, третья часть заключает в себе краткие описания фонологических систем всех прочих монгольских

языков (а заодно и социолингвистическую информацию об этих языках), а четвертая часть посвящена весьма интересной теме – развитию фонологической системы от реконструированного протомонгольского состояния ко всем существующим монгольским языкам. Специально надо сказать и о библиографии, которая настолько объемна, что занимает почти шестую часть всей книги, охватывает все монгольские языки и, безусловно, представляет большой самостоятельный интерес для специалистов по монгольскому языкознанию.

Работа Е.А. Кузьменкова более компактна и посвящена исключительно синхронному описанию современного монгольского языка. Первая глава посвящена общим характеристикам монгольского языка, связи всех языковых уровней: синтаксиса, морфологии, морфонологии и фонологии. Вторая и третья глава описывают состав гласных и согласных фонем, их дифференциальные признаки, сингармонизм и все возможные способы реализации этих фонем в речи и орфографии, с ориентацией на принципы Ленинградской фонологической школы. Последняя глава посвящена устройству слога и фонотактике – в частности, описываются все возможные сочетания гласных и согласных внутри слога.

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ

Книга Свантессона и др. ориентирована на создание крупномасштабного труда, анализирующего монгольскую фонетическую и фонологическую систему в контексте данных всех монгольских языков как в синхронном, так и диахроническом аспектах. При этом широко используются подходы экспериментальной фонетики. Спектрограммы и осциллограммы позволяют точно определить фонетические характеристики аллофонов каждой конкретной фонемы. Надо особо отметить, что при анализе фонетических явлений звуки фиксировались в контексте предложения, а не в контексте отдельно произносимого слова.

Кузьменков прямо пишет про свою работу, что “всю эту книгу ... можно рассматривать как типологическую характеристику фонологической системы монгольского языка”. При этом, несмотря на подчеркнута фундаментальный характер своего труда, автор часто обращается к потенциальной студенческой аудитории и при описании, в частности, артикуляционных характеристик фонем явно рассчитывает на русскоязычных носителей, собирающихся изучать монгольский язык. Основной задачей книги является построение “психологически адекватной фонологической модели монгольского языка”. При этом автор принципиально исследует только те фонологические признаки фонем, которые может уловить “тренированное ухо” носителя языка, часто используя при выборе той или иной интерпретации анализ орфографических ошибок носителей. Это связано с тем, что, по мнению автора, явления, которых носитель “не слышит”, выходят за рамки языковой системы и нерелевантны для построения моделей синтеза и анализа звучащего текста.

СОСТАВ ФОНЕМ

В обоих трудах вносятся некоторые изменения по сравнению с традиционным представлением о составе фонем в монгольском языке, причем в обоих случаях система получается типологически редкой.

Свантессон и др. исключают из системы фонем простой *l*, а вводят в систему согласных особую фонему – латеральный фрикативный звонкий $\frac{1}{2}$. Такая система типологически не очень обычна. С другой стороны, Е.А. Кузьменков исключает из состава фонем краткий *i* (сохраняя при этом маркированный член оппозиции – \bar{i}), основываясь на его полном фонетическом совпадении с *e*. Краткий *i* является, пожалуй, наиболее частотной фонемой языков мира, и его отсутствие в сочетании с наличием долгого коррелята создает достаточно нестандартную картину.

Таким образом, состав фонем оказывается следующим.

Согласно PhM:

В PhM для кратких гласных выделяются следующие параметры:

- 1) место образования: палатальные, веллярные, фарингальные, увулярные гласные;
- 2) раствор: широкие, узкие;
- 3) огубленность.

При этом для описания всего набора гласных можно свести необходимые дифференциальные признаки гласных к следующим трем: огубленный/неогубленный, фарингальный/нефарингальный, широкий/неширокий. Долгие гласные и дифтонги определяются, скорее, как сочетания кратких сегментов. В работе Кузьменкова также выделяются эти же признаки, но признаку места образования (фарингальный/нефарингальный) соответствует признак “гласный твердого ряда / гласный мягкого ряда”. При этом деление гласных на твердый и мягкий ряд не связано напрямую с их фонетическим положением в переднем или заднем ряду, а является лишь показателем их принадлежности к тому или иному сингармоническому классу.

Глухие придыхательные губные смычные встречаются только в подсистеме заимствованной лексики, а также в имитативах, а глухой латеральный фрикативный характерен исключительно для слов тибетского происхождения.

Обращает на себя внимание несимметричность таблицы: придыхательность/непридыхательность (фактически – сила/слабость) противопоставляются только в передних локальных рядах (начиная с альвеопалатального; придыхательные губные, впрочем, встречаются только в очень ограниченном количестве лексем), а с другой стороны, для заднеязычных смычных нет противопоставления по звонкости/глухости. Заключенная в скобки глухая латеральная фрикативная фонема ($\frac{1}{2}$), по мнению Свантессона и др., встречается только в тибетских заимствованиях, а, по мнению Кузьменкова, вообще отсутствует в монгольской речи, даже и в данном пласте лексики заменяясь на обычный *l*.

Таблица 1

Гласные (для максимально дистинктивной позиции – начало слога)

Краткие		Долгие		Дифтонги
неогубл.	огубл.	неогубл.	огубл.	
<i>i</i>	<i>u</i>	\bar{i}	\bar{u}	<i>ui</i>
	<i>o</i>	\bar{e}	\bar{o}	<i>vi</i>
<i>a</i>	<i>ɔ</i>	\bar{a}	$\bar{ɔ}$	<i>ai, ai</i>

Согласные

	Лабальный	Палатализованный лабиальный	Дентальный	Альвеопалатальный	Палатальный	Велярный	Увулярный
Глухие придыхательные смычные	(p ^h)	(p ^{jh})	t ^h	t ^{jh}			
Глухие непридыхательные смычные	p	p ^j	t	t ^j			
Звонкие смычные					g ^j	g	G
Глухие придыхательные аффрикаты			c ^h	c ^h			
Глухие непридыхательные аффрикаты			c	c̣			
Глухие фрикативные			s	ʃ	x ^j	x	
Носовые	m	m ^j	n	n ^j		ŋ	
Звонкие латеральные фрикативные			ɸ	ɸ ^j			
Глухой латеральный фрикативный			(ɬ)				
Дрожащие			r	r ^j			
Глайды	w	w ^j			j		

В целях экономии места приведу лишь отличия системы фонем монгольского языка по работе Кузьменкова от вышеприведенной.

Вокализм. Как было указано ранее, Е.А. Кузьменков исключает из состава фонем краткий *i*; *i*-дифтонги соответственно интерпретируются как *aɛ*, *oɛ*, *uɛ*, *øɛ*, *yɛ*. Долгие гласные считаются отдельными единицами фонологической системы.

Консонантизм. Е.А. Кузьменков отказывает в фонемном статусе велярному носовому *ŋ*, который хотя и распределен дополнительно с переднеязычным *n*, но имеет иное морфонологическое поведение. Не выделяются как отдельные фонемы в ФС и глайды *w*, *w^j*.

По-разному интерпретируются латеральные согласные: в PhM подчеркивается, что наличие латерального фрикативного при отсутствии в системе простого латерального *l* является типологически необычным феноменом. Кузьменков же, признавая наличие "оглушенного" произнесения *l* в начале слова и в конечнослоговой позиции, дает ему только статус аллофона обычного *l*.

Как полагают иные ученые, фрикативный латеральный *l* встречается только в заднеряд-

ных словах, а в переднерядных ему соответствует простой латеральный *l*.

Что же касается смычных согласных, орфографически передаваемых как *б*, *п*; *д*, *т*, то если в PhM их основным дифференциальным признаком считается придыхательность/непридыхательность, то в ФС придыхательность/непридыхательность, звонкость/глухость, долгота/краткость согласных считаются второстепенными признаками, а в основу оппозиции этих пар фонем ставится напряженность/напряженность (иначе говоря, сила/слабость согласных).

ФОНЕТИКА

В обеих книгах большое внимание уделено акустическим и артикуляционным описаниям фонем. При этом, если основное внимание в PhM уделено экспериментально-фонетическим данным и использованию спектрограмм, то в ФС подробнейшим образом описывается артикуляция фонем.

Благодаря спектрограммам шведским ученым удалось установить некоторые интересные особенности. В частности, оказалось, что у монгольских сильных согласных аспирация

следует за смычным в начальной позиции в слове, но предшествует ему во всех остальных позициях. Такое явление не очень широко распространено в языках мира, среди немногочисленных примеров можно назвать исландский и гальский. С помощью спектрограмм же удалось обнаружить единственный случай прогрессивной палатализации в монгольском – палатализация согласных после нисходящих дифтонгов типа *ai* (с. 21).

СИНГАРМОНИЗМ

Центральное место в описании фонологических процессов в обеих книгах занимает сингармонизм, тесно связанный как с фонологией, так и с морфонологией.

Е.А. Кузьменков специально подчеркивает, что система фонем «функционирует как “инструмент” сингармонизма» (с. 188), что “определяет большинство системных характеристик самих гласных фонем”.

Обе работы рассматривают традиционное противопоставление гласных по заднему/переднему ряду как условное, предпочитая говорить о гармонических классах (твердые и мягкие гласные в ФС, фарингальные и нефарингальные гласные в PhM).

В монгольском языке представлен сингармонизм двух типов: небный (палатальный) и губной (лабиальный).

В PhM сингармонизм определяется как распространение некоего признака (фарингальности/лабиальности) и подробно описываются сфера действия сингармонизма, правила прерывания сингармонизма и поведение нейтрального гласного. В ФС сингармонизм описывается как некая действующая сила, “источник закономерностей в фонологической системе”, основное фонологическое явление монгольского языка, лишь исторически связанное с артикуляторными процессами прогрессивной ассимиляции звуков. Примечательным образом, наблюдения Е.А. Кузьменкова за речью носителей показывают, что во многих случаях, считающихся в научной литературе исключениями из законов сингармонизма (заимствования, аффиксы *-гй* и *-зй*, показатель множественного числа лиц *-nar*), нарушение гармонии наличествует лишь в орфографии, а в реальной речи сингармонизм действует.

РЕДУПЛИКАЦИЯ

В монгольском имеется два типа редупликации. Редупликация прилагательных с добавлением префикса типа *xav хар* ‘очень черный’ (от *хар* ‘черный’), *шав шар* ‘совсем желтый’ (от *шар* ‘желтый’) и редупликация существи-

тельных типа *талх малх* ‘хлеб и все такое’ (от *талх* ‘хлеб’), *мал зал* ‘скот и т.п.’ от *мал* ‘скот’, *нялх мялх* ‘младенцы и все такое’ (от *нялх* ‘младенец’). Авторы PhM (с. 58–60) используют эти морфонологические операторы, чтобы получить нужные аргументы для двух нетривиальных фонологических идей.

1. Редупликация прилагательных подкрепляет идею о том, что монгольские долгие гласные и дифтонги представляют собой не отдельные единицы фонологической системы, а последовательности кратких сегментов, поскольку при таком рода редупликации долгота не сохраняется в редуплицирующем префиксе: *бөө бөөрөнхий* ‘совсем круглый’ (от *бөөрөнхий* ‘круглый’), *хүв хүйтен* ‘совсем холодный’ (от *хүйтен* ‘холодный’).

2. Редупликация существительных помогает установить, что в монгольском языке имеется оппозиция палатализованных и непалатализованных согласных, поскольку хотя при редупликации существительных ко второму компоненту отходит только первый сегмент слова, но в случае редупликации лексемы с начальным мягким согласным, мягкость также переносится на второй компонент, что указывает на невозможность интерпретировать мягкие согласные как комбинацию с гласным *i*.

ПРОСОДИЯ

Разброс мнений различных ученых об ударении в монгольских языках поразительно велик. Исследователи высказывали несколько гипотез о характере и месте монгольского ударения (ударение на первом слоге, ударение на последнем слоге, ударение на первый долгий слог или дифтонг, ударение на первый слог, если он долгий, если же он краткий – то на второй, экспираторное ударение на первом слоге, музыкальное на последнем и т.п.). Свантессон и его коллеги приходят к выводу, что ударение в современном монгольском языке фонологически нерелевантно в принципе. Именно этим и объясняются те противоречия в описании ударения, которые встречаются в трудах различных авторов. К аналогичному выводу приходит и Е.А. Кузьменков, опираясь на работу Л. Герасимович (1975). Такое единообразие результатов, полученных на основе длительного наблюдения и экспериментально-фонетического анализа, позволяет надеяться, что данная точка зрения будет принята всем научным сообществом.

В PhM, кроме того, подробно разбираются и другие просодические особенности монгольского языка: выделение фокуса, просодические границы синтаксических синтагм, интонация вопросительных предложений.

Среди интересных наблюдений авторов стоит отметить выявление особого просодического статуса частицы отрицания *giiġ*, которая в отличие от суффиксов может брать на себя восходящий тон, указывающий на фокус (с. 53). Таким образом, можно видеть, что эта частица, исторически восходящая к самостоятельному слову, не вполне еще вошла в состав словоформы, а скорее по-прежнему остается энклитикой и неправомерно считать ее, как делают многие, показателем специального “лишительного” падежа (ранее о ее клитическом статусе говорили только в контексте нарушения этой частицей правил сингармонизма).

ДИАХРОНИЯ

Работа Е.А. Кузьменкова подчеркнута посвящена синхронному описанию монгольской фонологической системы, и редкая диахроническая информация приводится только при необходимости – например, так называемым “переломом” (регрессивной ассимиляцией) гласного **i* объясняется возникновение в монгольском противопоставления твердых и мягких согласных фонем, а также однофокусных и двухфокусных аффрикат. Напротив, в PhM реконструкции прамонгольской фонологической системы и описанию ее развития в синхронные системы всех древних и современных монгольских языков посвящено около половины объема. Шведские ученые подробно разбирают “монгольское передвижение гласных”, выразившееся преимущественно в изменении положения по подъему и ряду некоторых губных гласных (так называемые процессы “веляризации” и “фарингализации”). При этом выделяются четыре зафиксированных типа изменения старомонгольской системы гласных: монгорский тип, халхасский тип, дагурский тип и ойратский тип. Считается, что в ойратском типе сохранилась старомонгольская система гласных (лишь в результате палатализации добавился гласный *ε*). В монгорском типе от семи старомонгольских гласных осталось лишь пять (совпали *ii* и *u*, *ö* и *o*), в халхасском типе заднерядные губные перешли на более низкую степень подъема, а переднерядные губные сдвинулись в задний ряд, в дагурском же типе сочетаются как совпадения гласных монгорского типа, так и фарингализация халхасского, кро-

ме того добавляется гласный *ε*, как и в ойратском типе. Рассматриваются и вызванные этими передвижениями гласных изменения сингармонических систем в монгольских языках. Подробно также разбираются вопросы образования вторичных долгих гласных, “перелом” гласного *i*, развитие губной гармонии, редукция кратких гласных непервых слогов в северных языках и первого слога в южномонгольских языках, развитие аффрикат, ассимиляции и диссимилиации по придыхательности в различных монгольских языках, возникновение оппозиции по твердости/мягкости у согласных, палатализация гласных.

Спектр диахронических проблем, рассматриваемых в PhM, чрезвычайно велик. Из интересных тем, обойденных авторами, можно упомянуть разве что исследование причин исчезновения начального **h*- в части монгольских языков и соответствующих колебаний в средневековых монгольских памятниках.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Собранные в PhM данные о фонетических процессах и особенностях всех монгольских языков вполне могли бы послужить основой для построения новой классификации монгольских языков (вопроса, как известно, до сих пор не решенного). Тем не менее, авторы, посвятив специальный раздел вопросам классификации, специально указывают, что осуществление такой классификации пока невозможно, поскольку мы не можем в настоящее время отделить генетически унаследованные языкослоссы от ареальных.

Нет никакого сомнения, что вышеуказанные работы пополнят золотой фонд работ по монгольской фонологии и займут подобающее им место на полке любого монголоведа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Герасимович 1975 – Л.К. Герасимович. Монгольское стихосложение: опыт экспериментально-фонетического исследования. Л., 1975.

И.А. Грунтов

W.F.H. Adelaar, P.C. Muysken. The languages of the Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xxv + 718 p.

Книга “Языки Анд”, вышедшая в серии языковых обзоров (Cambridge Language Surveys) издательства Cambridge University Press,

посвящена языкам ареала Андской горной цепи, протянувшейся через всю Южную Америку от Карибского моря до Огненной Земли.

Ранее в данной серии выходили обзоры, посвященные как языковым семьям и группам (например, романским, дравидийским, кельтским), так и ареальным объединениям (например, индейским языкам Северной Америки, языкам Японии, папуасским языкам Новой Гвинеи) и даже отдельным языкам (например, корейскому, китайскому). В большинстве книг серии описание строится не по конкретным языкам или языковым группам, а по разделам грамматики, каждый из которых рассматривается на примере всех языков данного обзора. В отличие от них “Языки Анд” устроены по иному принципу: все языки разделены на несколько так называемых “сфер”, внутри каждой из которых выделяются более мелкие группировки или отдельные языки, и уже для каждого из них дается индивидуальное языковое описание.

Рассматриваемая книга представляет собой обзор ареальной группировки языков и в известной степени дополняет вышедшую ранее в той же серии книгу “Амазонские языки” [Dixon, Aikhenvald 1999] (ср. также рецензию на нее [Плунгян 2000]). Вместе эти две книги охватывают все регионы Южной Америки, несмотря на то, что в их названиях заявлены несколько более узкие области. Так, только что упомянутая нами книга “Амазонские языки” помимо языков собственно Амазонии рассматривает также прочие языки Бразилии и равнинных областей Венесуэлы и стран Гвианского нагорья, а в рецензируемую книгу включены большая часть языков Аргентины, Боливии и Парагвая, распространенных к востоку от региона Анд, а также в пампасах и Патагонии. Часть языков, распространенных в предгорной области и прилегающих низменных районах (например, бора-уитотские, аравакские языки) рассматриваются в обеих книгах, что неизбежно, поскольку границы многих языковых групп далеко не совпадают с базовым делением Южной Америки на горную и равнинную части. В то же время при разделе на “зоны влияния” несколько обделенным вниманием оказались многие языки Парагвая, лишь мимоходом упоминаемые в обеих книгах. Здесь же следует отметить и более удобную для читателя композицию книги [Dixon, Aikhenvald 1999], частично обусловленную характером языковой дистрибуции. В ней в качестве основных глав даются описания крупных языковых семей, а все остальные малые семьи, изоляты и неклассифицированные языки объединены в две дополнительные главы. В рецензируемой же монографии некоторые семьи разбросаны по разным главам, и созданию целостной картины о имеющихся языковых семьях значительно бы помог краткий обзор используемой генетической классификации (а не

только ранних или отдельных попыток в этой области, упомянутых во Введении).

Среди обзоров названной серии есть как авторские монографии, так и сборники статей разных авторов. Рассматриваемый том занимает в этом смысле отчасти промежуточное положение: основным автором, ответственным за книгу в целом, является В. Аделаар, известный прежде всего как специалист по сравнительно-исторической реконструкции языков Южной Америки. При этом ряд глав (главы 4, 6, 7, большую часть главы 1 и ряд разделов в других главах) написан его соавтором П. Мейскеном, автором ряда работ по социолингвистике и языковым контактам. Оба автора работают в Нидерландах и проводили полевые исследования в разных областях Южной Америки.

Книга, о которой идет речь, состоит из Введения (глава 1), пяти глав, посвященных индейским языкам, дополнительной главы, рассматривающей не-индейские языки Южной Америки, и нескольких приложений. Несомненным достоинством книги являются 13 карт, показывающих не только современное распространение языков региона, но и, что более важно, их историческое распределение.

Введение (первая глава) открывается описанием географической и исторической ситуации, в которой сформировались и приобрели свой современный облик языки Анд. Затем дается обзор лингвистической и демографической ситуации индейского населения в каждой из стран Андского региона (Венесуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, Чили и Аргентине). Отдельные разделы посвящены подробному рассмотрению истории изучения индейских языков и обзору источников, которые могут быть использованы при изучении языков Анд. В конце этой главы рассматривается история существующих попыток классифицировать Андские языки, начиная с XVII века и заканчивая “постгринберговскими” исследованиями 1990-х годов.

Южная Америка, особенно регион Анд, характеризуется значительным разнообразием языков, как в генетическом, так и в типологическом плане. Из 123 генетических объединений (семей и изолированных языков) Южной Америки, представленных в авторитетном обзоре [Kaufman 1994], 61 локализуется только или преимущественно в регионе Анд и прилегающих областях. Поэтому при структурировании книги авторам пришлось искать “золотую середину” между описанием всего региона как единого целого и описанием каждой семьи по отдельности. В качестве такого компромисса была введена система культурных “сфер” (sphere) – ареальных зон, которые в то или иное время функционировали как единое це-

лое. Внутри каждой из сфер языка влияли друг на друга, иногда в очень значительной степени; с этим связано особое внимание, которое в книге уделяется языковым контактам. Названия для сфер были выбраны по наиболее известному или крупному языку данной области, либо по выделенному географическому объекту, если таковой имелся. При этом, если языковое ядро большинства сфер вполне очевидно, то пограничные и периферийные языки часто отнесены по “остаточному” принципу, порой весьма произвольно, что иногда затрудняет поиск информации по тому или иному языку.

Таким образом, в следующих пяти главах дается характеристика пяти основным сферам языков Андского региона: это чибчанская сфера, инкская сфера, сфера языков Восточных склонов, арауканская сфера и сфера языков Огненной Земли. Структура этих глав выглядит следующим образом. После описания общей языковой и исторической ситуации в данной сфере, дается характеристика каждой из основных семей, представленных в ней, и, в отдельных случаях, более подробные грамматические описания некоторых языков (от одного до четырех). В заключение, как правило, рассматриваются вымершие, плохо документированные или изолированные языки каждого региона.

Вторая глава – “Чибчанская сфера” – посвящена языкам Северных Анд, соответствующих современной Колумбии и прилегающим районам северного Эквадора и западной Венесуэлы. Свое название эта сфера получила по народу чибча, или муисков, занимавшему район современной колумбийской столицы и исторически игравшему важную роль в регионе. Язык чибча, исчезнувший в XVIII веке, принадлежал к чибчанской семье, другие представители которой и поныне распространены по карибскому побережью Колумбии (в главе содержится краткий грамматический очерк данного языка). Кроме этой семьи в регионе представлены языки еще трех крупных языковых семей, происходящих из соседних областей: карибской, аравакской и кечуанской. В целом же языки Северных Анд представлены в основном небольшими семьями и изолятами, наиболее заметными из которых являются барбакоанская, тимотейская, чокоанская, хирахарская семьи и изолированные языки пазс, эмеральда, андаки и др. Следует помнить, что большая часть языков этого региона исчезла вскоре после прихода европейцев, даже не будучи зафиксированной, поэтому судить об изначальном языковом разнообразии данного региона мы можем весьма условно.

Третья глава – “Инкская сфера” – посвящена наиболее важному в историческом и

культурном плане региону Южной Америки – зоне так называемой Средне-Андской цивилизации. Его границы примерно совпадают с территорией империи инков в период ее наивысшего расцвета, соответствуя прибрежным и горным областям современных Эквадора, Перу, Боливии и северных Чили и Аргентины. В данной главе подробно рассматриваются языки двух крупнейших языковых семей Америки – кечуанской и аймараанской. Эти семьи нередко считаются генетически родственными – во Введении к книге обстоятельно разбираются аргументы за и против этой гипотезы, и сами авторы склоняются в пользу того, что сходство между ними является скорее приобретенным. Помимо двух ныне доминирующих семей, в данном регионе представлено несколько изолированных языков, и гораздо большее их количество восстанавливается для более ранних периодов. Среди последних, подробное описание дано языку мочика, и более краткие характеристики – таким языкам, как пукина, кальявалья, уру-чипайя, кунса, луле.

В четвертой главе – “Языки Восточных предгорий” – обсуждаются языки, распространенные на территории между Андами и Амазонией. Так как четкую географическую границу, основанную на характере рельефа, провести всегда сложно, авторы приняли решение просто ограничить эту сферу государственными границами Эквадора, Перу и Боливии. Однако, поскольку область Чако на юго-востоке Боливии простирается в соседние Парагвай и Аргентину, эти районы также включены в рассмотрение, тем более, что языки, распространенные там, не были ранее отражены в книге “Амазонские языки”. В то же время, языки Колумбийских предгорий рассматриваются не здесь, а во второй главе. В целом, как уже говорилось выше, очень многие языки, включенные в данную главу, описываются или упоминаются и в книге [Dixon, Aikhenvald 1999], хотя и с разной степенью подробности. Область предгорий и прилегающих равнин имеет самую высокую языковую плотность в Южной Америке. Более 100 языков распределены между несколькими крупными языковыми семьями (аравакской, пано-таканской, тупи-туканской), большим числом мелких семей и огромным количеством изолятов и неклассифицированных языков. Четыре языка этой сферы избраны авторами для более подробного освещения: хиварский язык шуар (Эквадор), изолят чолон и аравакский язык амуэша (оба в Перу) и боливийский изолят чикитано. Помимо близости географического ландшафта важным фактором при объединении языков в данную сферу является значительное влияние кечуа на местные языки. Эта тема проходит

через всю главу и в конце ей посвящен отдельный раздел.

Арауканская сфера, рассматриваемая в пятой главе, отличается языковымобразием, особенно на фоне других частей Америки. Помимо основного представителя – арауканского языка (или группы языков) – в данной сфере представлены только вымершие и слабо документированные языки, некогда распространенные по периферии собственно арауканской области в центральной и северной Аргентине: уарпейские, пеуэнче, керанди и другие. При этом в исчезновении части из рассматриваемых языков основную роль сыграли не европейцы, а именно арауканы (мапуче), с приходом европейцев перевалившие через Анды и колонизировавшие значительные территории в соседней Аргентине.

Шестая глава – “Языки Огненной Земли” – посвящена самой южной (не только в Америке, но и во всем мире) территории, заселенной человеком, а также прилегающим районам Патагонии, к югу от арауканской сферы. Пять из языков этого сурового края образуют чонскую семью, остальные три являются изолятами (чоно, алакалуф, ямана). О многих из этих языков почти ничего неизвестно, и данная глава является фактически первым полноценным обзором данных языков с использованием описаний из разных источников.

Заключительная – седьмая – глава хотя и называется “Испанское присутствие”, посвящена не только испанскому языку в Южной Америке, но и афро-испанским креольским языкам и контактному языку на местной основе. Наконец, в заключении данной главы дается краткий обзор современного языкового планирования и мер по сохранению индейских языков.

Весьма полезным приложением является “Инвентарь языков и языковых семей Андского региона”, включающий названия всех известных языков данного региона независимо от их упоминания в основном тексте. Языки упорядочены по семьям, которые даются в алфавитном порядке. Кроме основного названия указывается регион распространения, численность говорящих и иногда варианты названий или название этнической группы. Всего список включает свыше 370 языков.

A. Levin-Steinmann. Die Legende vom Bulgarischen Renarrativ. Bedeutung und Funktionen der kopalalosen *l*-Periphrase. München: Otto Sagner, 2004. 382 S.

Работа немецкого слависта А. Левин-Штайнман “Легенда о болгарском ренарративе. Значение и функции *l*-форм без связи”

Переходя к критической части рецензии, заметим, что определенное неудобство представляет несколько неравномерная подробность описания разных языковых семей: если кечуанской или чибчанской семьям посвящено более чем по 50 страниц, то некоторым семьям уделено всего лишь по одной-две странице (гуайкуру, самукская).

Дополнительной сложностью для читателя, не знакомого близко с географией Южной Америки, может оказаться поиск нужного языка или даже языковой семьи. Понять, в какой из глав книги нужно искать описания языков севера Аргентины или тихоокеанского побережья Эквадора, можно, лишь внимательно прочитав несколько глав. Помимо этого, некоторые семьи, в силу географической “распыленности” входящих в них языков, встречаются одновременно в нескольких разделах, в которых они представлены разными языками: так аравакские и бора-уитотские языки описаны во второй и четвертой главах, а барбакоанские языки – во второй и третьей главах. Единственным подспорьем в этой нелегкой задаче является подробный указатель всех упоминаемых в работе языков и этнических групп, включающий около тысячи названий.

Естественно, что эти несущественные даже не недостатки, а скорее пожелания лишь подчеркивают то, насколько полезен и необходим такой труд как “Языки Анд”. Остается лишь посоветовать на отсутствие подобных обзоров по большинству других регионов мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Dixon, Aikhenvald 1999 – R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (eds.). The Amazonian languages. Cambridge, 1999.
- Kaufman 1994 – T. Kaufman. The native languages of South America // Atlas of the world's languages. C. Moseley, R.E. Asher (eds.). London; New York, 1994.
- Плунгян 2000 – ВЯ. 2002. № 5. – Rec.: R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (eds.). The Amazonian languages. Cambridge, 1999.

Ю.Б. Коряков

посвящена болгарским глагольным формам, которые в болгаристике, как правило, называются **пересказывательным наклонением** (см.,

например [Андрейчин 1962]). Эти формы состоят из так называемого *л*-причастия, образованного от глагола совершенного или несовершенного вида, и формы глагола 'быть'. Формы ренарратива в целом совпадают с формами перфекта, отличаясь от них только в третьем лице, где ренарратив, в отличие от перфекта, допускает опущение связки. Например, в 3 лице пересказывательными формами от глагола *чета* 'читать' являются "аористное *л*-причастие" *чел* и "имперфектное *л*-причастие" *четял*.

Пересказывательное значение принадлежит к семантической зоне эвиденциальности, элементы которой "выражают эксплицитное указание на источник сведений говорящего относительно сообщаемой им ситуации" [Плунгян 2000: 321]. Значения, связанные с этой зоной, начали систематически изучаться сравнительно недавно. Из типологических работ на эту тему можно отметить сборники [Chafe, Nichols (eds.) 1986; Guentcheva (ed.) 1996] и охватывающий более узкий ареал [Johanson (ed.) 2000].

Одной из главных проблем, связанных с изучением эвиденциальности, является размытость границ между различными эвиденциальными значениями: источник информации о событии не всегда выражается в тексте эксплицитно. Дополнительные сложности вносит тот факт, что осмысление информации как "своей" или "чужой" зависит от отношения к ней говорящего: в частности, говорящий может специально подчеркивать, что не был свидетелем ситуации, в случае, если считает информацию о ней ложной или непроверенной. Именно поэтому важно располагать четкой классификацией различных употреблений пересказывательного наклонения.

В начале работы перечисляются значения, выражаемые бессвязочными *л*-причастиями. В число этих значений входят:

– собственно *ренарратив* ('ситуация известна говорящему с чужих слов', т.е. "пересказывается"), ср. *Моето упражнение било най-хубавото в целия курс* 'Мое упражнение (по словам преподавателя) – лучшее на курсе';

– *конклюдив* ('знание о ситуации выводится говорящим логически на основании наблюдаемых им последствий') – ср. *Излезе, че него всъщност не го интересувал никак животът на това ... малцинство* 'Выясняется, что его, в сущности, вообще не интересовала жизнь этого меньшинства';

– *констатация состояния*, являющегося результатом некоторой ситуации, свидетелем которой субъект не был – ср. ... *народния певец, на когото запушили уста с желязна ръка* 'народный певец, которому железная ручка заткнули рот'. Констатация состояния, в

отличие от конклюдива, предполагает, что акцент делается именно на состоянии, являющемся результатом ситуации;

– *адмиратив* ('ситуация неожиданна для говорящего/субъекта') – ср. *Тук нямало никакъв материал!* 'Да тут нет никакого материала!'. Как убедительно показывает автор, адмиратив распадается на целый ряд подтипов в соответствии с тем, какие эмоции испытывает говорящий из-за неожиданно возникшей ситуации;

– *оптатив* ('говорящий хочет, чтобы имела место ситуация') – ср. *Опазил ме господ...!* 'Боже меня упаси...!'. Хотя автор отмечает, что оптатив употребляется в основном в устойчивых сочетаниях, он считает нужным включить его в число рассматриваемых значений: как и остальные значения, оптатив подразумевает, что говорящий не был свидетелем ситуации и не может гарантировать ее осуществление;

– *имперцептив* ('ситуация не воспринималась говорящим непосредственно')¹ – данное значение выступает во многих примерах вместе со всеми остальными – ср., например, *Синчето ми... с кратчеото си ми притиснало гърлото* 'Мой сынок <оказывается> сдвинул мне горло ножкой 'сво снез', где имперцептивное значение сочетается со значением констатации состояния. Таким образом, оно является более общим и абстрактным, чем остальные выделяемые значения. Вероятно, возможным решением этой проблемы, к которому автор не прибегает, было бы включение компонента имперцептивности в состав других значений *л*-формы.

Приведенный список весьма полон и, судя по всему, исчерпывает типы употреблений *л*-форм. Единственным недостатком, возможно, является то, что автор не рассматривает подробно вопрос о том, кто делает умозаключение или испытывает эмоции, о которых идет речь при конклюдивном или адмиративном употреблении, – в частности, может ли адмиративность относиться не к говорящему, а к наиболее выделенному участнику ситуации, о котором идет речь: 'ему сказали, что Иван уехал (и это его удивило)'. В работе доказывается несостоятельность некоторых попыток более узко задать семантику того или иного употребления бессвязочных *л*-форм: например, определить, какие наборы эмоций могут обозна-

¹ В русскоязычной литературе это значение обычно обозначается терминами *заглазность* или *косвенная засвидетельствованность*. Как показывает автор, для болгарского языка роль играет именно наличие/отсутствие *зрительной* засвидетельствованности.

чать л-формы в адмиративном употреблении: материал доказывает, что конкретные эмоции прагматически выводятся из значения 'ситуация Р является неожиданной для субъекта оценки' и не должны считаться частью семантики форм. Таким же выводимым компонентом является положительная или отрицательная оценка событий, о которых узнает говорящий.

Ясно, однако, что простое перечисление значений не исчерпывает проблемы описания семантики пересказывательных форм. Как указывает автор, во многих случаях значение формы лежит между несколькими значениями из списка, а некоторые контексты допускают множественные интерпретации, хотя в любом случае важно очертить круг значений, которые в принципе может иметь бессвязочная форма.

Боле серьезные проблемы связаны с неоднородностью самого списка значений. Так, адмиратив или конклюдив – достаточно узкие значения, для которых можно довольно четко определить набор контекстов. Автор специально замечает, что констатация состояния вполне может не включать эмоциональный компонент (такой, как, например, удивление говорящего). С другой стороны, имперцептив или констатация состояния практически не встречаются "в чистом виде" – они сопровождают практически все употребления рассматриваемых форм. В этом смысле одной из главных затрагиваемых в работе проблем становится выбор одного из этих значений в качестве основного значения бессвязочных л-форм. Возможно, не совсем правильно решение рассматривать эти более абстрактные значения в одном списке и, так сказать, на одном уровне с более конкретными: в последующих главах выясняется, что и типологическое рассмотрение способов выражения подобных значений затруднено именно из-за их абстрактности: в их выражении принимает участие очень большое количество языковых единиц разноразной природы.

Проблема разнородности значений эксплицитно обсуждается в конце первой главы, где автор строит семантическую схему взаимоотношений значений. В центре этой схемы находится адмиратив. По всей вероятности, это не означает, что адмиративность считается основным значением пересказывательных форм. Автор лишь имеет в виду, что адмиративное значение всегда появляется вместе с каким-то еще. Действительно, перечисленные ранее значения бессвязочных л-форм часто сочетаются со значением экспрессивности, более общим, чем адмиратив («ренарратив, конклюдив и констатация состояния, разумеется, всегда сочетаются с семантическим признаком "экс-

прессивность"»: с. 51), но имеющим другую природу, скорее прагматическую, нежели семантическую. Адмиратив считается как бы пересечением значений экспрессивности и собственно семантических употреблений бессвязочных л-форм.

Поскольку одним из основных компонентов рассматриваемых автором форм является л-причастие, автор посвящает отдельную главу анализу функций таких причастий в болгарском языке. Это выгодно отличает рецензируемую работу от многих описательных исследований, в которых причастия и образованные с их помощью глагольные формы рассматриваются независимо друг от друга. Исследование функций причастий необходимо хотя бы потому, что существуют различные варианты пересказывательных форм, использующих различные причастия. На протяжении всей работы автор отстаивает ту точку зрения, что семантика видо-временных форм сохраняется и в причастиях, ср., например: "Ситуации, обозначенные настоящим временем, но захватывающие также и претеритный уровень, обозначаются формой имперфекта" (т.е. при пересказе используется форма имперфектного причастия) (с. 224).

Несколько нелогичным выглядит лишь вынесение на первое место субстантивной функции причастия, поскольку она является скорее производной от адъективной. Однако более важно, что в значении ренарратива и самого л-причастия обнаруживается существенный общий компонент: причастие само по себе также обозначает констатацию состояния, являющегося результатом некоторой динамической ситуации. Субстантивы могут образовываться не только от глаголов совершенного вида (*умрял* 'умерший, покойный'), но и от глаголов несовершенного (*било* и *небило* 'возможное и невозможное', субстантивы такого рода образуются даже чаще)².

Напротив, в адъективной функции, как правило, выступают причастия совершенного вида. Автор отмечает продуктивность образования л-причастий. Особенно важно соотношение причастия в адъективной функции (*изсъхнал лист* 'высохший лист') и (квази)синонимичного прилагательного (*съх* 'сухой'), где первое "подчеркивает предшествующие результату события" (с. 177). Различия в аспек-

² В том же ряду рассматриваются такие существительные, как *облекло* 'одежда', *гъмжило* 'толпа' и т.д., не имеющие адъективных употреблений. Как кажется, вопрос об их прямой связи с л-причастиями все же спорен.

туальных свойствах обуславливают разную сочетаемость с наречиями образа действия: так, причастия, но не прилагательные сочетаются с обстоятельственными типа *доста* 'в большой степени, достаточно сильно' (ср. **доста* *плешиш* 'довольно сильно лысый' при допустимом *доста* *оплешивял* 'довольно сильно облысевший'). Таким образом автор подтверждает наличие в семантике причастия двух различных компонентов – констатация состояния (данный компонент как раз и проявляется в пересказывательных формах) и обозначения предшествующего ему действия. Эти два компонента, как указывает автор, обуславливают и широкие возможности использования причастия в роли прилагательного, большие, чем в немецком и русском: ср. не вполне приемлемые примеры **притворяться уснувшим*, нем. **sich eingeschlafen stellen* и возможное в болгарском *престори се на заснал* 'притворяться спящим' (букв. 'уснувшим'). Наконец, последней сферой употребления причастия является употребление в роли адвербиального причастия, ср. примеры типа *Отпаднал и недоспад, изнервен, Ханс Касторп едва съдържаще зъбите си* 'Будучи вялым и недоспавшим, нервным, Ханс Касторп едва не стучал зубами'. Автор считает, что в подобных примерах причастие скорее передает не типичную для адъективных групп семантику признака (в этом случае оно отвечает на вопрос 'какой'), а типичную для адвербиальных групп семантику времени или причины. В действительности кажется, что данный признак может считаться выводимым из контекста, требующего скорее интерпретации, характерной для адвербиальных или для адъективных групп.

Типы причастий, выступающих в составе ренарративной формы, и их семантика более подробно рассматриваются в главе 6. Именно в этой главе делается вывод о том, что инвариантом значений *л*-формы является констатация состояния. Четыре варианта причастий – аористное vs. имперфектное, совершенного vs. несовершенного вида – тяготеют к различным употреблениям. Например, для *констатации состояния* наиболее характерна комбинация совершенного вида с показателем аориста, ср. *Се намерил между нашите някакъв подлец* '<Видимо>, среди наших нашелся какой-то подлец'. Конклюдив также часто использует эту комбинацию, однако аористное причастие может образовываться и на базе глагола несовершенного вида в случае, когда говорящий не вполне точно может заключить, что действие было завершено, ср. *Ама аз съм се качвал вече у този рейс* 'Но я уже садился на этот рейс'. Конклюдив от имперфектной формы обозначает, что действие вообще не замкнуто во вре-

мени, а также может нести дополнительную экспрессивную окраску – ср. *Ето какво значе-до да държиш властта в ръцете си!* 'Вот что, оказывается, значит держать власть в своих руках!'. Адмиратив часто выражается особой комбинацией пересказывательной формы с *л*-причастием от вспомогательного глагола (*бил*) – в данном случае одновременно выражаются адмиративное и ренарративное значения. В образовании опатива противопоставление совершенного и несовершенного вида роли не играет: желаемое событие всегда находится в будущем, и то, что является желаемым – полное или неполное осуществление действия началось – зависит от воли говорящего, ср. *Виждам и всемогъщият бог...* 'Да видит всемогущий Бог...', где желаемым является наличие ситуации 'видит', а следовательно, используется форма несовершенного вида. Тем не менее, может использоваться и аористное причастие – в этом случае говорящий рассматривает желаемую ситуацию "вблизи", анализирует ее, как если бы она уже имела место³ – ср. *Нека научел някой европейски език* 'Пусть он выучит какой-нибудь европейский язык'.

Обыдому свойствами обладает собственно ренарратив: время и вид глагола в ренарративном употреблении выводятся из видо-временной формы глагола в речи лица, чья речь пересказывается. Автор подчеркивает важную особенность устройства болгарской системы: выбор ренарративной формы при собственно пересказывательном употреблении происходит иначе, чем при всех остальных. По всей вероятности, можно считать, что именно это употребление дальше всего отстоит от перфекта и в наибольшей степени функционирует как особое наклонение. В остальных употреблениях форма выбирается непосредственно на основе свойств описываемой ситуации.

Особенно важно, что в работе вводится в рассмотрение не только противопоставление аористных и имперфектных пересказывательных форм (первые используются для передачи форм будущего времени и аориста, вторые – настоящего времени и имперфекта), но также форм совершенного и несовершенного вида – данное противопоставление, как правило, не прослеживается на материале пересказывательных форм.

³ Хотя автор не поясняет этого подробно, можно предположить, что противопоставление имперфекта и аориста не имеет отношения к степени влияния говорящего на осуществление желаемой ситуации.

Естественно, наиболее важным и близким типом форм, с которым соотносятся бессвязочные *л*-формы, считаются формы перфекта, также образованные с помощью *л*-причастия и вспомогательного глагола, но не допускающие опущения последнего. В авторитетных работах по болгаристике (например [Андрейчин 1962]) эти два ряда форм рассматриваются отдельно: пересказывательные относятся к наклонениям, а перфектные – к виду-временным формам. Однако автор убедительно показывает, что формы со вспомогательным глаголом и без него имеют много общего – оба этих ряда форм противопоставлены аористным и имперфектным формам.

По существу, и перфектные и пересказывательные формы обозначают скорее результат действия, тогда как аористные и имперфектные – само действие (первые – “извне” как завершенное целое, вторые – “изнутри” как ситуацию с внутренней структурой). Разница между перфектом и пересказывательными формами заключается в том, что вторые имеют более статальное значение. Чтобы пояснить это, автор использует особые схемы, фиксируя на них момент речи, моменты начала и завершения действия: при использовании пересказывательных форм рассказчик фиксирует только завершающее состояние ситуации (смотря на ситуацию с точки зрения ее субъекта), а при перфектных формах продлевает полный путь от завершающего состояния к начальной точке. Заметим, что в типологических исследованиях отмечалось наличие статического и динамического компонента у одних и тех же перфектных форм. Особенность болгарского языка заключается именно в наличии двух рядов форм, в которых превалируют разные компоненты результирующего значения. Вспомогательный глагол в перфекте обозначает временную отнесенность состояния, отходящую на второй план в пересказывательных формах, но не теряющую полностью.

Рассмотрение автором типологического материала несколько менее подробно, чем анализ ситуации в болгарском языке. Оно не может претендовать на полноту еще и потому, что, как отмечает сам автор, значения из эвиденциальной зоны часто выражаются не только аффиксами, но и отдельными лексемами – как самостоятельными, так и несамостоятельными, – а также с помощью жестов, интонации и других неграмматических средств.

В части, посвященной ренарративу, автор строит предполагаемый путь грамматикализации показателей пересказа и косвенной засвидетельствованности – от глагола со значением ‘сказать’ к неизменяемым частицам типа ‘мол’ и далее, с расширением семантики, к маркеру

подчиненного предложения (причинного или условного). Помимо глаголов речи, источником подобных частиц могут быть и другие глаголы – предполагается, в частности, что частица *де* происходит от старославянского глагола *деяти*. В главе об адмиративе анализируются, в основном, конструкции – в частности, экспрессивные, типа *Подумать только!* Очень интересно предпринятое автором рассмотрение роли перфектных и плюсквамперфектных форм в выражении эвиденциальных значений – в этой части, например, подробно рассматривается ренарративная функция немецкого *двойного перфекта* (ср. *habe gelesen gehabt*) и *двойного плюсквамперфекта* (ср. *hätte gelesen gehabt*), сравнительно редко попадающих в поле зрения лингвистов, – обе эти формы выражают пересказ форм плюсквамперфекта в чужой речи. Важное следствие рассмотренных особенностей выражения эвиденциальных значений состоит в том, что для различных значений характерны разные средства выражения – например, адмиратив часто выражается экспрессивными конструкциями в целом, а для пересказа характерны особые частицы.

Интересна часть, где рассматриваются комбинации значений, выражаемые одним и тем же показателем. Она дает информацию о ядре эвиденциальной зоны – значениях, которые часто совмещаются с другими в рамках одного показателя. В частности, опитатив не принадлежит к такому ядру и нередко выражается отдельными показателями. Напротив, констатация состояния и конклюдив очень часто совмещаются с другими значениями. Существенно, что автор рассматривает не только совмещение значений, но и их логическую связь: например, имперцептив и адмиратив могут быть связаны либо через констатацию состояния, либо через конклюдив (говорящий может прийти к неожиданному выводу либо увидев результат действия, либо логически заключив, что действие имело место).

Отдельную главу автор посвящает так называемым *бил*-формам, образованным сочетанием финитной формы вспомогательного глагола ‘быть’, его *л*-причастия *бил* и *л*-причастия основного глагола. В болгаристике эти формы считаются формами “усиленного пересказа”, выражающими недоверие к передаваемой информации или представляющими ситуацию как относящуюся к давнему прошлому. Автор считает, что значение удаленности ситуации в прошлом создается за счет отличия *бил*-форм от остальных форм, используемых в тексте, то есть речь идет о предшествовании ситуации другой ситуации в прошлом, ср. ... *Тя с чуруликане и трели расказа, какво и се било случило*

‘Она с переливами и трелями рассказала, что с ней <раньше> случилось’. По мнению автора, эффект давнопрошедшего времени в модальных употреблениях используется для выражения сомнения по поводу реальности ситуации – согласно [Fleischman 1989: 2], “временная дистанция служит, чтобы выражать модальную дистанцию..., оценку достоверности ситуации” – аналогичное употребление имеет, например, английский плюсквамперфект⁴. Автор считает, что исходным у *бил*-форм является именно временное значение. В частности, некоторые славянские языки (например, польский) имеют близкий к болгарским *бил*-формам ряд *би/бы*-форм, обозначающих нереализованную возможность. В этом смысле они как формы ирреалиса противопоставлены формам типа болгарского *беше*-плюсквамперфекта, не несущих значения ирреальности ситуации (о возможных соотношениях между несколькими формами плюсквамперфекта в одном и том же языке см. работу [Сичинава 2003]). При этом даже в пересказывательных контекстах *бил*-формы не обязательно выражают давнопрошедшее время – они могут обозначать некоторое состояние, являющееся результатом ситуации (как и обычные *л*-формы), но выражать сомнение по поводу того, что этот результат имеет место или должен описываться именно так.

Естественно, чтобы определить, какое значение привносит использование *бил*-формы, нужно опираться на контекст, в том числе на то, какие еще глагольные формы используются в данном отрывке текста. На современном уровне модальные и временные употребления парадигмы *бил*-форм могут рассматриваться как омонимы – автор, в частности, указывает на меньшую автономность словоформы *бил* в модальных употреблениях – в таких случаях она не может отделяться от *л*-причастия ника-

кими словами, что возможно при темпоральных употреблениях. На этом основании автор считает, что в модальных контекстах *бил* является скорее модальной частицей, чем глагольной словоформой, то есть представляет более позднюю стадию грамматикализации. Значение формы в ходе грамматикализации трансформируется из ‘предшествования’ в более общее значение ‘дистанции’.

Вообще, к достоинствам работы относится внимание не только к синхронным, но и к диахроническим объяснениям свойств пересказывательных форм. Так, в работе подробно исследуются возможные источники заимствования этого ряда форм (автор считает наиболее вероятным заимствование из тюркских языков, оговариваясь, что заимствуется семантическое противопоставление, а не структура парадигмы, поскольку в турецком языке формы на *-miş* с эвиденциальным и перфектным значениями занимают в глагольной парадигме другое место, нежели болгарские пересказывательные формы). В связи с этим подробно рассматривается балканская социолингвистическая ситуация. Кроме того, рассматривается постепенное разделение на протяжении истории болгарского языка перфектных и эвиденциальных форм.

Семантика конструкции с *бил* и семантики перфектных связочных (со связкой в настоящем времени) и бессвязочных *л*-форм с течением времени претерпевает одни и те же изменения. Изначально конструкция с *бил*, как и конструкция с настоящим временем глагола *съм* ‘быть’, образуясь от **недуративных результатов**, характеризовала только субъект – ср. в современном болгарском языке *Сега съвсем се била разболяла* ‘Сейчас она совсем разболелась’. С другой стороны, образуясь от **дуративных нерезультативов**, эти формы передавали значение процесса, развертывание действия. Автор предлагает интересную гипотезу о формировании значения *бил-л*-форм (и простых пересказывательных форм): в ходе грамматикализации, с одной стороны, расширяется значение характеристики субъекта: захватываются дуративные результаты, а затем и нерезультативные предикаты. Параллельно употребления *л*-форм для обозначения действий/процессов развиваются в другом направлении, захватывая уже и результативные предикаты. В результате процесса грамматикализации сочетания *бил-л*-формы и *л*-формы становятся способны обозначать все типы ситуаций, передавая и значение действия, и значение результирующего состояния. При грамматикализации *бил-л*-формы *бил* в современном языке почти утрачивает изначально присущие ему значения, с одной стороны, свей-

⁴ В работах [Dahl 1997; Плунгян 2004] защищаемая А. Левин-Штайнман гипотеза С. Флейшман подвергается критике: в частности, замечено, что модальные употребления возникают у временных форм даже в тех языках, где эти формы не имеют специального значения временной удаленности. В работе [Плунгян 2004] предлагается альтернативное объяснение возникновения модальных значений ирреальности (в частности, контрафактичности) у временных форм через объединяющее плюсквамперфект и контрафактичность понятие **барьера** между реальной действительностью и миром, в котором имела (или могла бы иметь) место ситуация.

ства субъекта (при недуративных результатах), а с другой стороны, временной удаленности (при дуративных результатах). Можно считать, что в конце процесса грамматикализации *бил* становится грамматическим маркером. В частности, в одной и той же конструкции этот показатель может использоваться дважды – в модальном и в темпоральном значении.

В конце работы анализируются доводы за и против выделения пересказывательных форм в отдельное наклонение (впервые пересказывательное наклонение было выделено в [Андрейчин 1962]). В частности, против присвоения этим формам статуса наклонения говорит то, что, во-первых, их семантический инвариант (констатация состояния) также выступает в качестве инварианта для перфекта и плюсквамперфекта и, во-вторых, они могут формально отличаться от перфектных только в третьем лице. Таким образом, автор предпочитает рассматривать эти формы как варианты перфектных и плюсквамперфектных.

Кроме того, такие значения пересказывательных форм, как ренарратив, конклюдив и констатация состояния, не удовлетворяют и семантическому определению модальности, данному группой Теории функциональной грамматики, на которое ориентируется автор: “оценка говорящим реальности положения вещей” [Бондарко 1990]: действительно, ренарратив выражает передачу чужих слов, конклюдив – способ получения знания, а констатация состояния – способ представления результата действия, а эти значения изначально не подразумевают оценки реальности ситуации, хотя напрямую с ней связаны. Что касается адмиратива и оптатива, то значению подпадающих под определение модальности, то эти значения выражаются не только пересказывательными формами, но также интонацией и другими средствами.

С другой стороны, *бил*-формы, не будучи на современном уровне вариантом плюсквамперфекта, исторически все же являются плюсквамперфектными, а их функции в большой степени пересекаются с функциями “стандартного” плюсквамперфекта на *бие* (с вспомогательным глаголом в имперфекте). Само же значение *дубитатива*, т.е. сомнения в достоверности некоторой информации, выводится из значения временной удаленности. Следовательно, и эти формы, с точки зрения автора, нецелесообразно выделять в отдельное наклонение.

В последней части и в приложении исследуется употребление пересказывательных форм в прессе и их интерпретация носителями языка. В газетных текстах заслуживают внимания

употребления, связанные с экстралингвистическими причинами: автор обращает внимание на особенности политического дискурса времен социализма в Болгарии, когда пересказывательные формы использовались прежде всего для передачи высказываний враждебных государств – таким образом задавалось недоверчивое к ним отношение.

В отношении лингвистическом аспекте интерес представляет большее по сравнению с художественной литературой количество пересказывательных форм в прессе. Помимо ренарративного и других свойственных им значений, пересказывательные формы могут выделять то или иное состояние, сосредоточивать на нем внимание читателя. Особенно интересны случаи, когда пересказывательная форма используется в заголовке, а затем в тексте статьи та же ситуация описывается уже только с помощью форм прямой засвидетельствованности.

Как следует описывать такие случаи? В первом приближении можно считать, что пересказывательные формы просто привлекают внимание к заголовку. Ведь формы, выражающие пересказ чужой речи, в то же время, как неоднократно подчеркивает автор, могут привлечь внимание к состоянию, являющемуся результатом некоторого действия, а следовательно, фокусировать внимание на этом состоянии. В основном же тексте статьи эти формы возникают на стыке частей, одни из которых выражают личное мнение по поводу случившегося, а в других следует подробный анализ события автором статьи. Немаловажно, что вместе с ренарративным компонентом значения в таких случаях возникает и имперцептивный – автор статьи подчеркивает, что говорящий может только строить умозаключения о ситуации, поскольку не был ее свидетелем.

При работе с носителями болгарского языка автор исследует степень приемлемости и интерпретации носителями ряда конструкций с пересказывательными формами. Результаты эксперимента в основном подтверждают положения работы, однако выводят ее на новый уровень – имея данные об интерпретации форм носителями, можно исследовать пересказывательные формы в психолингвистическом плане. Кроме того, при построении носителями примеров становится ясно, что семантика пересказывательных форм не исчерпывается пересказом чужой речи – более того, поскольку ренарративное значение в большой степени связано с контекстом, в изолированных предложениях на первое место часто выходят другие значения.

Таким образом, можно сказать, что главным итогом работы А. Левин-Штайнман является выбор в качестве инварианта значения

болгарских пересказывательных форм значения **констатации состояния**. Именно это значение отличает их как от перфектных, так и от остальных видо-временных форм болгарского глагола, тогда как собственно пересказывательное значение может выражаться и с помощью других форм.

Книга, безусловно, является серьезным лингвистическим исследованием, ставящим актуальную проблему и предлагающим аргументированное решение. Несмотря на некоторые свои недостатки – в частности, разные значения пересказывательных форм рассматриваются с разной степенью подробности, а типологическая часть работы не дает, да и не может дать полной картины выражения рассматриваемых значений в языках мира – работа А. Левин-Штайнман полезна и интересна и для слависта, и для лингвиста-типолога (особый типологический интерес представляет диапазон значений л-форм и их варианты).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андрейчин 1962 – Л. Андрейчин. Още по въпроса за преизказното наклонение // Български език. 1962. № 6.
Бондарко 1990 – А.В. Бондарко. Модальность. Вступительные замечания // А.В. Бондар-

ко (ред.). Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000.
Плунгян 2004 – В.А. Плунгян. О контрафактических употреблении плюсквамперфекта // Ю.А. Ландер и др. (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 3: Ирреалис и ирреальность. М., 2004.
Сичинава 2003 – Д.В. Сичинава. К типологии глагольных систем с несколькими формами плюсквамперфекта: casus latinus // ВЯ. 2003. № 5.
Chafe, Nichols (eds.) 1986 – W. Chafe, J. Nichols (eds.). Evidentiality. The linguistic coding of epistemology. Norwood, 1986.
Dahl 1997 – Ö. Dahl. The relation between past time reference and counterfactuality: a new look // A. Athanasiadou, R. Dirven (eds.). On conditionals again. Amsterdam, 1997.
Fleischman 1989 – S. Fleischman. Temporal distance: a basic linguistic metaphor // Studies in language. 13. 1. 1989.
Guentchéva (ed.) 1996 – Z. Guentchéva (ed.). L'énonciation médiatisée. Louvain, 1996.
Johanson (ed.) 2000 – L. Johanson (ed.). Evidentials. Turkic, Iranian and neighbouring languages. Berlin, 2000.

А.Б. Летуцкий

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Всероссийская научная конференция “Лингвистика в годы войны...”

3–6 мая 2005 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) прошла Всероссийская научная конференция “Лингвистика в годы войны: Люди, судьбы, свершения”, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне¹.

Конференция предшествовала длительная подготовка, в результате которой ее организаторы смогли не только собрать уникальные по своей исторической значимости сведения о работе академических гуманитарных институтов, о судьбах, боевой и научной деятельности их сотрудников в годы Великой Отечественной войны, но и издать эти материалы в виде книги, которая была роздана участникам конференции².

На первом заседании после вступительного слова директора Института лингвистических исследований, чл.-корр. РАН Н.Н. Казанского, огласившего поздравления от Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, состоялось награждение старейших сотрудников Института.

После этого выступили с воспоминаниями акад. М.Н. Боголюбов (Санкт-Петербург) и один из старейших сотрудников ИЛИ РАН, участник Парада Победы, главный научный

сотрудник ИЛИ РАН Ф.П. Сороколетов (Санкт-Петербург). Присутствующие, буквально затаив дыхание, слушали рассказы ветеранов.

Второй день конференции был посвящен теме “Североведение и война”. Прозвучали доклады А.Н. Жуковой (Санкт-Петербург) “Вехи на пути исследования языков малочисленных народов Севера (1930–1950-е годы)”, А.А. Бурякина (Санкт-Петербург) “Судьба рукописных материалов по фольклору эвенов в записях Н.П. Ткачика (1906–1944)”, Т.Ю. Журавлевой (Нарьян-Мар) “Георгий Николаевич Прокофьев – создатель ненецкой письменности”, М.Д. Люблинско́й (Санкт-Петербург) “Первый ученик (о Григории Давдовиче Вербове)”.

Отдельным заседанием этого дня было отмечено 100-летие со дня рождения Антона Петровича Пырерки – талантливого североведа, сотрудника Института языка и мышления, первого ученого-ненца, который сразу после объявления мобилизации ушел на фронт добровольцем и погиб в сентябре 1941 года. Были представлены доклады М.Я. Барми́ч (Санкт-Петербург) “Антон Петрович Пырерка – первый ненецкий ученый”, Ю.В. Канева (Нарьян-Мар) “А.П. Пырерка – прыжок через тысячелетия”, Е.Т. Пушкаревой (Салехард) “Язык ненецких фольклорных текстов (к вопросу о конструкциях с идиомой *хара вуни тая*)”, Е.Г. Меньшиковой (Нарьян-Мар) “Документы и личные вещи семьи А.П. Пырерки и Н.М. Терещенко в собрании Ненецкого окружного краеведческого музея”.

На третий день конференции были вынесены доклады, освещающие деятельность институтов Академии наук в годы Великой Отечественной войны.

В.М. Алпатов (Москва) выступил с докладом “Школы советского языкознания 20–40-х гг. XX в.”. А.Н. Анфертьева

¹ Конференция была проведена при поддержке РГНФ, проект № 05-04-14049г.

² Лингвистика в годы войны: люди, судьбы, свершения. Материалы всероссийской конференции, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне / Отв. ред. Н.Н. Казанский. СПб., 2005. Издание подготовлено при поддержке гранта Президента Российской Федерации № НШ-697. 2006.6.

(Санкт-Петербург) представила слушателям результаты своих исследований по истории Института в докладе “Институт языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР (ныне Институт лингвистических исследований РАН) во время войны и блокады”.

В следующих докладах говорилось о работе других академических учреждений нашего города: В.Н. Вологодина (Санкт-Петербург) подготовила доклад “Научная деятельность сотрудников Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого в годы войны и блокады”, Е.К. Пиотровская и А.Н. Цамутали (Санкт-Петербург) прочли сообщение “Санкт-Петербургский институт истории РАН в годы Великой Отечественной войны и блокады”, А.С. Курилов (Москва) познакомил слушателей с военным периодом в истории советского литературоведения в своем докладе “Отчет о работе Института мировой литературы им. А.М. Горького за время его эвакуации в Ташкент (декабрь 1941 – апрель 1943 г.)”.

Коллективный доклад В.П. Леонова, Н.В. Колпаковой и Н.М. Баженовой (Санкт-Петербург) “О вкладе Библиотеки Российской академии наук в победу в Великой Отечественной войне” стал ярким рассказом о самоотверженном труде работников БАН в невыносимо тяжелых условиях войны и блокады Ленинграда.

Программу этого дня завершали доклады Я.В. Василькова (Санкт-Петербург) “Индология до и после Великой Отечественной войны” и А.М. Решетова (Санкт-Петербург) “Вспомним, чтобы не забывали. Ленинградские этнографы в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.”.

Выступления, прозвучавшие в четвертый день юбилейной конференции, были объединены тематической рубрикой “Судьбы ученых”.

Первым своими воспоминаниями поделился Н.С. Гринбаум (Санкт-Петербург). Его рассказ охватывал 1945–1948 годы – от зачисления автора аспирантом кафедры классической филологии Ленинградского университета до защиты им кандидатской диссертации – первой послевоенной защиты.

Л.И. Толстая (Санкт-Петербург), дочь выдающихся филологов-классиков академика И.И. Толстого и С.В. Меликовой-Толстой, свой потрясающе искренний рассказ о родителях и погибшем в войне брате – Иване Ивановиче младшем – озаглавила “Блокада ... блокада ... для всех одна – и для каждого ее пережившего, своя...”. Еще два доклада были посвящены судьбе и творческому наследию выдающихся отечественных специалистов по

классической филологии: Б.Б. Ходорковская (Санкт-Петербург) говорила об Иване Ивановиче Толстом как ученом и преподавателе. Доклад Н.Н. Казанского был посвящен Софье Венедиктовне Меликовой-Толстой.

А.В. Бондарко (Санкт-Петербург) в своем докладе рассказал о Юрии Сергеевиче Маслове, который находился в действующей армии с первых дней войны и до ее окончания и был награжден орденом Красной Звезды.

О.И. Фонарева (Санкт-Петербург) привела малоизвестные факты о работе Бориса Александровича Ларина во время войны.

Воспоминания о самоотверженном ратном труде и о судьбах филологов в годы войны прозвучали на заседании, которое продолжилось в форме “круглого стола”.

С.А. Шубик (Санкт-Петербург) рассказал о работе военным переводчиком Владимира Григорьевича Адмони. Н.Н. Казанский обратил внимание присутствующих на не прозвучавшие на конференции, но напечатанные в юбилейном томе, воспоминания В.М. Павлова и ценнейшие исторические материалы, собранные Л.Э. Найдич, из которых становится ясно, сколь значительна была роль в приближении Победы отечественных филологов – Соломона Давидовича Кацнельсона, Игоря Михайловича Дьяконова, Льва Рафаиловича Зиндера, Ефима Григорьевича Эткинды и многих, многих других, служивших в годы войны в частях действующей армии в качестве военных переводчиков.

В отдельный раздел – “Война и лингвистическая ситуация в стране” был вынесен чрезвычайно интересный доклад Л.Я. Костючук (Псков) “Война и судьбы русской народной речи (состояние и изучение говоров)”, основанный на собранных до и после войны образцах псковских говоров.

В заключение конференции были показаны фильмы молодого петербургского режиссера А.И. Янковского “Киркинесская этика” (о И.М. Дьяконове) и “Легкий ветер” (о В.М. Жирмунском), вызвавшие большой интерес и заслуженно высокую оценку у всех собравшихся. Столь же высокой и единодушной была и общая оценка конференции, которая ярко и правдиво засвидетельствовала несомненный вклад наших старших товарищей и учителей не только в науку, но и в Победу как на фронте и на оборонных работах, так и в своей профессиональной деятельности в условиях блокадного города.

Н.Д. Светозарова, А.П. Сытов
(Санкт-Петербург)

В июне 2005 года в Университете Ольстера в г. Колрэйн проходил коллоквиум “Celts-Slavica”, оставивший после себя впечатление очень яркое. Для нас это была не просто еще одна международная конференция, это было событие, причем событие для российской кельтологии, как мы полагаем, достаточно масштабное и значимое.

Летом 2004 г. организатор этого коллоквиума, профессор Шемас МакМахуна, возглавляющий в Университете Ольстера группу электронной обработки древнеирландского академического словаря, приехал в Москву, отчасти специально для встречи с российскими кельтологами; именно тогда было решено провести через год в г. Колрэйн первый коллоквиум, посвященный проблеме сопоставления кельтского и славянского материала, который одновременно должен был исполнять функции своего рода инаугурационные для новой организации – общества “Кельто-Славика” (“Celts-Slavica”), которое должно было таким образом заявить о своем существовании.

Председателем общества со стороны западных кельтологов был избран профессор МакМахуна, а его сопредседателем со стороны России – В.П. Калыгин. Задачи общества, как видел его сам Ш. МакМахуна, были в привлечении самых широких слоев исследователей в разных областях гуманитарного знания (филологии, истории, истории литературы), в той или иной области касающихся в своей работе проблемы сопоставления кельтского и славянского материала, причем с самых разных точек зрения (генетическая тождественность, типологические сближения, контакты).

В декабре 2004 г. мы встретились с профессором МакМахуной, чтобы уточнить даты предстоящей встречи и ее примерный состав и основную тематику. Как мы решили, с первым, как бы “открывающим” докладом должен будет выступить В.П. Калыгин. Наш разговор происходил шестого декабря, то есть на следующий день после смерти Виктора Павловича, о которой мы оба тогда еще не знали...

Коллоквиум состоялся, правда, увы, не в том составе, который был нами намечен. Виктора Павловича Калыгина не стало, но доклад его прозвучал: подготовленный им в качестве одновременно и доклада на конференцию и статьи для первого номера основанного им журнала “Сравнительное языковедение” текст “Кельты и славяне” был переведен на английский язык Н.А. О’Шей; ею же была составлена “краткая версия” доклада, опубликованная в Abstracts коллоквиума; полный английский

текст доклада В.П. Калыгина передан ею в оргкомитет коллоквиума для дальнейшей публикации.

Исследование В.П. Калыгина (Москва), как мы понимаем, было отнюдь не результатом субъективного желания будущего участника коллоквиума отчасти искусственно найти какие-то необходимые кельто-славянские точки соприкосновения. Его работа явилась во многом органичным продолжением линии, ведущей свое начало из его длительных и плодотворных контактов с профессором К.Х. Шмидтом (Бонн), под началом которого В.П. Калыгин проходил в Германии длительную стажировку (сам Шмидт также принимал участие в работе коллоквиума в Колрэйне, но с докладом не выступал). Исходя из предположительной возможности существования в определенном периоде особой кельто-балто-славянской общности, основанной не столько на генетической близости (она спорна), сколько на постоянных культурных и языковых контактах (что-то в роде “непрочного” языкового союза), он вывел ряд эксклюзивных изоглосс (как в непосредственном понимании этого слова, так и применительно к морфологии и фонологии, а также мифологии). В своих работах, посвященных как сопоставительному анализу кельтских и славянских теонимов, так и выведению грамматических и фонетических параллелей (в первую очередь – палатализация!), В.П. Калыгин достаточно последовательно проводил идею консервации в островном кельтском материале (более разработанном и доступном) архаических кельтских черт, имеющих славянские параллели и тем самым подтверждающих свою архаичность. Говоря проще, наличие параллелей в области лексики в ирландском и в русском, например, по его мнению, свидетельствовало о существовании общего словаря (естественно, уже для общеславянского и континентального кельтского). При этом генетическая трактовка подобных явлений полностью им не отрицалась. На этом фоне традиционная “итало-кельтская гипотеза” оказывается лишенной научных оснований, а все основные составляющие ее элементы начинают трактоваться как параллельные инновации (действительно, например, совпадение фонетической “судьбы” и.-е. глухого лабиовелярного в бриттских языках и в греческом совершенно не говорит о какой-либо генетической тождественности). Для коллоквиума в Колрэйне им был подготовлен доклад, посвященный в основном анализу двух моментов – наличию в прото-кельтском особых форм футурума на **-sie/*-sio-*, включающих в себя,

предположительно релятивный и.-е. демонстратив, реконструируемый при помощи славянских соответствий, и, второе, анализу известных кельто-славянских изоглосс (*слуга, долг* и проч.), демонстрирующих наличие особой культурно-социальной общности. Не давая точных временных рамок, В.П. Калыгин предположительно локализует эту общность на границе Центральной и Восточной Европы (т.е. примерно в районе Карпат и шире).

Открывающие коллоквиум доклады самого Ш. Мах Махуны (Колрэйн) “Кельтские исследования в славянских странах” и П. Сталмачика (Лодзь) “Кельтские исследования в Польше”, а также прозвучавшие в заключительном заседании доклады Н. О’Шей (Дублин), А.Р. Мурадовой (Москва) и Ф. Свелла (Колрэйн) были в основном посвящены как общим, так и частным вопросам восприятия языка и культуры кельтов в славянских странах и, отчасти, наоборот. Так, Н. О’Шей рассказала о проблемах, связанных с переводом на русский язык древнеирландских саг (передача имен собственных, которые в свое время были транслитерированы А. Смирновым, в основном неверно, а также борьба с русской традицией передавать неоправданно выспренным “эпическим стилем” живые диалоги персонажей). А. Мурадова посвятила свое выступление “Сравнительным словарям всех времен и народов”, которые составлялись по указанию императрицы Екатерины II и в которых значительное место было уделено бретонскому языку. Ф. Свелл рассказал о переводах на современный ирландский язык русских поэтов (Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама), а также о восприятии (и восприятии) экспериментальным ирландским театром начала XX века драматургии Чехова.

В этом же ключе может рассматриваться и доклад М. Фомина (Колрэйн) о возможности создания электронной версии древнеирландско-русского словаря.

Продолжающим линию В.П. Калыгина по нахождению языковых и культурных кельто-славянских параллелей может быть назван доклад В. Блажека (Брно) о мифологических схождениях. Так, придя в свое время совершенно самостоятельно (т.е. независимо от В.П. Калыгина) к идее отождествления таких женских божеств, как ирландская *Маха* (общекельтское **Makasia*) и славянская *Мокошь*, он продолжил сопоставления в области теонимии и пришел к выводу о возможности сопоставления имени ирландского бога *Дагды* и русского *Дажьдбога*. В выводах к его докладу также прозвучала мысль о возможности существования в Центральной Европе в определенный период (какой? – Т.М.) особой кельто-славян-

ской контактной зоны (кстати, исследования Фалилеева по топонимике этого региона, как мы понимаем, эти идеи подтверждают). Возможно, к этой же группе докладов можно отнести и сообщение Г.В. Бондаренко (Москва) об “эпическом клише” ‘знание, полученное из облаков’, встречающемся как в ирландской “Книге захватов Ирландии”, так и в “Слове о полку Игореве”, и доклад Дж. Кэри (Корк, Ирландия) о постоянно звучащей в псевдоисторических древнеирландских памятниках теме прародины гойделов в Скифии. В свете всего сказанного выше данное предположение выглядит не так уж фантастично, если под Скифией понимать поздние поселения сарматов в Центральной Европе. Особый интерес с данной точки зрения представляло сообщение Ф. Йозефсона (Гетеборг), посвященное анализу древнеирландских и русских глагольных префиксов, которые он справедливо возводит к общему и.-е. “клитическому” фонду языка, формулируя при этом естественный вопрос: почему и при каких языковых условиях развивается глагольная префиксация. Ответ на этот вопрос, мы полагаем, следует искать уже не в генетической близости языков, а в каких-то типологических сближениях.

Другой линией исследований можно назвать поиск типологических схождения в кельтских и славянских языках и “культурах”. Сюда относятся и доклады А. Бондарук (Люблин) об обязательном и не обязательном “контролере” в пассивных конструкциях и Е.А. Париной (Москва) о местоименной репрезентации в островных кельтских и южных славянских языках. Аналогичные типологические сближения послужили объектом исследований, относящихся уже не к собственно лингвистическому материалу: доклад Д. Миллера (Чикаго) об образе Ильи Муромца как “герооппозиционера” и его сходстве с ирландским Кухулином, доклад Н.Ю. Чехонадской (Москва) о топосе “ритуальное распределение еды на пиру” в русских былинах и ирландских сагах, доклад Т.А. Михайловой (Москва) о функции имени в славянских и кельтских, а на самом деле – шире, западноевропейских заговорах.

Сходство не есть тождество, близость может иметь объяснения разного рода: генетическое, типологическое, контактное. И именно по этим трем линиям и распределились логически все доклады коллоквиума. Кельто-славянские параллели, как нам кажется, далеко не всегда органично вытекали из логики самого научного исследования, но в ряде случаев все же казались несколько искусственными (напомним, что все участники коллоквиума были кельтологами, а не славистами). Впрочем, час-

то в начале вынужденные и искусственные сопоставления повлекли за собой интересные выводы. К тому же, выход за рамки “своего” материала всегда оказывается продуктивным.

Мы полагаем, что все же основным “достижением” мероприятия, в котором нам довелось принимать участие, были не те или иные чисто научные открытия, а сам факт объединения ряда кельтологов вокруг проблемы кельто-славянских параллелей. Мы видим за этим не только собственно научный интерес к объекту исследования, но и желание западных ученых ближе познакомиться со своими коллегами из Восточной Европы, увидеть, чего они достигли. Не случайно среди участников коллоквиума были такие известные “лидеры” современной кельтологии, как К. Шмидт и Х. Тристрам (последняя – один из организаторов международного кельтологического конгресса, который будет проходить в Бонне в июле 2007 г.). И, конечно же, важнейшим достижением коллоквиума можно считать официальное создание общества “Кельто-Славика”.

Как один из организаторов коллоквиума и сопредседатель Общества мы должны были официально закрыть заседания и выступить с небольшой речью. В ней мы сказали, что надеемся видеть всех присутствующих через год в Москве, где предполагается провести следующий коллоквиум.

Однако мы полагаем, что в дальнейшем следует если не отказаться полностью, то во всяком случае не считать обязательным сопоставление кельтского материала со славянским. И более того, как открыто было сказано в нашем заключительном выступлении, мы и поляки понимаем друг друга и имеем сейчас одни и те же проблемы (нехватка средств, недостаточная вписанность в современную кельтологию, отсутствие возможности следить за новейшей литературой и проч.) вовсе не в силу того, что в наших жилах течет “славянская кровь”, а потому, что все мы входим в общее

постсоветское пространство. В дальнейшем, как мы надеемся, именно по этому признаку новое Общество объединит вокруг себя не только кельтологов-славян, но шире – кельтологов из стран бывшего “социалистического лагеря” (более конкретно – мы имеем в виду археолога М. Шабо и молодую лингвистку Д. Пёдель из Венгрии). Поэтом мы предложили назвать планируемый коллоквиум уже не “Кельто-Славика”, а “Кельтика Славика” (ср. Кельтика Нордика и Кельтика Японика). Естественно, название “Кельтика Славика” также не совсем точно, ввиду возможности приглашения кельтологов из Венгрии (возможно, Румынии), однако оно отражает основную нашу идею – отсутствие необходимости проводить обязательные кельто-славянские параллели. Наше выступление было встречено с пониманием и вызвало одобрение аудитории.

Наконец, отметим работу секретаря местного оргкомитета М. Фомина, который взял на себя не только подготовку материалов конференции, но и доставку каждого участника к месту жилья, а затем на заседания и проч.

Отдельно хочется отметить выставку работ местной художницы Натальи Абельян (выпускницы МГУ им. М.В. Ломоносова), посвященную “астрономическим и астрологическим” мотивам ирландского героического эпоса. Одна из ее работ – Кухулин, убивающий пса (в виде земной проекции Ориона), – была торжественно преподнесена ею Дж. Кэри, завершающему большое исследование о Кухулине. Тот обещал, что поместит это изображение на обложке будущей книги.

Другим “культурным событием” стал сольный концерт Натальи О’Шей – пение ирландских народных песен под собственный аккомпанемент на ирландской арфе.

Т.А. Михайлова (Москва)

VIII Международная конференция “Когнитивное моделирование в лингвистике” (Варна, сентябрь 2005 г.)

4–11 сентября 2005 г. в Варне состоялась VIII Международная конференция “Когнитивное моделирование в лингвистике”, которая уже третий год подряд проводится в этом городе. За годы существования конференции значительно расширились научные контакты между странами-участницами, обозначился новый уровень междисциплинарного взаимодей-

ствия, утвердились основные направления, обсужденные участниками конференции, среди которых отметим следующие: когнитивные модели языковых и культурных феноменов, когнитивно-ориентированные компьютерные приложения. семиотика языка и культуры, познание речи и языка, типологические и сравнительные исследования в когнитивной перспективе, когнитивная психология. Уже из назва-

ния конференций следует, что она объединяет представителей таких, на первый взгляд, разных дисциплин, как информатика, психология, лингвистика.

С пленарными докладами на конференции выступили представители Болгарии – Д. Попов, В. Славова; Австрии – Аугуст Фенк, Гертруд Фенк-Осцлон; России – В. Гольдберг, В. Соловьев; Германии – Д. Биттнер.

Помимо секций, ставших традиционными, инновационный характер имела секция когнитивной психологии, инициаторами которой выступили молодые исследователи психологического факультета МГУ. Семинар по когнитивной психологии “Наука о познании: сближение когнитивной лингвистики и экспериментальной психологии” был проведен Е. Печенковой и М. Фаликман. Докладчиками были представлены различные типы междисциплинарных исследований. Так, М. Колбенева (Россия) представила результаты исследования, выявляющего способы решения проблем психологии и психофизиологии при использовании лингвистического материала. Сообщение В. Славовой (Болгария) было посвящено проблемам моделирования процессов порождения и понимания высказывания. Наиболее актуальной оказалась проблема представления знаний. Будучи центральной в когнитологии, эта проблема получила интересные преломления в докладах участников конференции.

Также впервые была проведена выставка лингвистических программных продуктов и ресурсов, на которой представлялись разработки компьютерных программ применительно к лингвистике. На выставке было продемонстрировано восемь научных исследований, разработанных представителями Болгарии, Норвегии, США и России. К. Ре Хауге (Норвегия) выступил с докладом под названием “GlosserLab”. Практичность и полезность программы, представленной в исследовании, не вызывает сомнений. Она не только помогает работе при обучении иностранному языку, но и значительно облегчает ее. Век информационных технологий ставит перед научным сообществом новые задачи, требующие творческих решений. Проведенная выставка, а также обсуждение на секциях проблем компьютерного воплощения когнитивных теорий ознаменовали новый этап в развитии направлений работы конференции.

Работа секций характеризовалась широким спектром обсуждаемых проблем. Одной из них были сравнительные исследования в когнитивной перспективе, которые являются широким полем научной деятельности. В. Введен-

ским и М. (Россия) был представлен доклад “Пространство близости европейских языков”, в котором говорилось о возможности представления родственных языков в перспективе трехмерного пространства, о существовании общего механизма их развития и о возможности компьютерного воплощения данной теории.

В поле внимания ученых оказалась проблема соотношения языковых явлений с их когнитивными коррелятами, что еще раз доказывает актуальность изучения структур знания, процессов концептуализации.

Следует отметить внимание ученых к аспекту культуры и применение диахронического подхода к его исследованию. Появление исторически-ориентированных исследований в этой области свидетельствует о тенденции дальнейшего расширения рамок когнитивной парадигмы. На это указывает также ее проникновение в область музейной коммуникации.

В качестве приглашенных слушателей конференцию посетили представители Словении, Германии, Чехии. Одним из гостей конференции был директор Института Чешского языка Академии наук К. Олива.

В целом, прослеживается тенденция, свидетельствующая об увеличении стран-участниц и количества участников. В этом году конференция отмечена еще большим географическим размахом, по сравнению с предыдущими, и странами-участницами были Австралия, Австрия, Белоруссия, Болгария, Германия, Греция, Иран, Норвегия, Россия, США, Украина, Франция, Япония. Разнообразен и возраст участников. Следует отметить, что достаточно большое количество аспирантов и молодых исследователей выступило с докладами на конференции. Это значит, что когнитивные исследования активно развиваются, в них вовлекаются новые поколения исследователей, что является показательным с точки зрения перспективы данного направления.

Подводя итоги, можно сказать, что Международная конференция “Когнитивное моделирование в лингвистике” приобретает тенденцию к глобализации. В атмосфере плодотворного взаимодействия представителей разных стран появляются новые направления, интересные научные открытия, находят решение актуальные научные проблемы. Иными словами, возникают новые горизонты для дальнейших исследований и разработок.

Основными вузами-организаторами конференции являются Московский институт стали и сплавов (Технологический университет) и Казанский государственный университет. Примечательно, что для организаторов конференции

год проходит под знаком юбилеев. Казань празднует свое тысячелетие, в то время как МИСиС отмечает семьдесят лет своего существования. Хотелось бы пожелать им процветания, новых научных идей и открытий, успешного и долгосрочного сотрудничества.

Дополнительную информацию о конференции “Когнитивное моделирование в лингвистике” (CML) можно посмотреть в Интернете на

сайте www.cml.misis.ru. Труды конференции изданы в двух томах, соответственно № 11, 12 сборника “Обработка текста и когнитивные технологии” (под ред. В.Д. Соловьева, В.Н. Полякова, В.Б. Гольдберг).

Елена Пупынина, Елена Солодова
(Казань)

Международная научная конференция “Ономастика в кругу гуманитарных наук”

20–23 сентября 2005 г. в Екатеринбурге состоялась международная научная конференция “Ономастика в кругу гуманитарных наук”, которая была организована кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета им. А.М. Горького и Институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН. В ней приняло участие 75 исследователей более чем из 20 городов России (включая крупные ономастические центры, такие как Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Пермь, Томск, Барнаул, Волгоград и др.), а также из 9 стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины (Донецк), Латвии (Даугавпилс), Азербайджана (Баку), Польши (Люблин, Щецин), Германии (Гамбург), Швеции (Умеа). Это первая за последние 20 лет ономастическая конференция такого масштаба. В рамках конференции было проведено 5 пленарных и 6 секционных заседаний, на которых имя собственное рассматривалось в самых различных аспектах, показывающих междисциплинарный характер отдельных разделов ономастики (литературная ономастика) и вскрывающих связи ономастики с ономаσιологией, региональной лингвистикой, антропологической лингвистикой, контактологией.

Общетеоретических докладов было не так уж много, и нужно отдать должное их авторам, которые не только отважились обратиться к имеющим длительную историю обсуждения вопросам – о статусе имени собственного, его значении, – но и сумели сказать здесь новое слово.

С.М. Толстая (Москва) в докладе “К понятиям апеллативации и онимизации” выделила несколько параметров, существенных для определения взаимного отношения апеллативов и онимов (и производных от них понятий апеллативизации и онимизации): форма (лексика, грамматика, внутренняя форма, семантическая модель), функция (индивиду-

ализация, персонификация и др.), семантика и прагматика (денотативная область, соотношение денотации и референции).

Разделение макро- и микроонимии как онимии макросоциума (общечеловеческого или национального) и микроонимии (деревенской общины, трудового или учебного коллектива, семьи и, в конечном счете, индивидуума) предложено М.Э. Рут (Екатеринбург) в докладе “К вопросу о макро- и микро- в ономастике”. По мнению автора, уровень взаимодействия макро- и микросистем ономастики зависит от динамических параметров последних (установки на национальную или местную традицию, на интернационализацию, на индивидуальное творчество того или иного из членов социума и др.) и различается у разных классов онимов.

В анализе различных переходных (в пределах шкалы “апеллатив – оним”) случаев, как указал Е. Барминский (Люблин, Польша) в докладе “Денотация и коннотация имен собственных”, может быть использована трактовка коннотации как всего комплекса содержащихся в лексической единице сведений (цели его описания служит когнитивная дефиниция). Е.Л. Березович (Екатеринбург) в докладе “Теория коннотации в современной лингвистической семантике и ономастика” поставила вопрос о наличии коннотаций у разных функциональных типов имен собственных: имеющих и не имеющих апеллативные дериваты. Сама возможность сравнения (компаративность), лежащая в основе “отапеллативных” и “отономастических” способов верификации коннотаций ИС, рассматривается Е.Л. Березович как основное свойство любой коннотации. Но коннотации апеллативов могут быть выведены из корпуса знаний об объекте и образуют радиальную структуру, комплекс коннотаций “культурных” имен может быть представлен как сетевая структура, в узлах которой – арсенал средств и моделей язы-

ковой системы (их использование и наделяет имя коннотациями).

В докладе О.Т. Молчановой (Ярославль / Щецин, Польша) “Проприальная номинация в свете когнитивизма” поставлен вопрос об экспликации когнитивной информации с опорой на сопоставление онимов и апеллятивов. Материалы топонимии Алтая, созданной на основе антропоморфных переносов, позволили автору определить ряд коммуникативно ориентированных параметров, значимых при создании онома (так, например, наиболее разработанной номинативной базой оказалась группа названий передней части тела человека, что отражает ситуацию общения человека с человеком, переносимую на восприятие пространственного объекта).

В докладе С.О. Горяева (Екатеринбург) “Ономастиологическая мотивированность и значение имени собственного” была предпринята попытка осмысления проприальной семантики через понятие мотивированности, под которой понимается соотнесенность имени с его денотатом, и внутренней формы, трактуемой расширительно как комплекс системно-языковых характеристик онима, формирующих образ носителя имени.

Представленные на конференции доклады можно разделить на те, в которых имя собственное является фактом языка и, следовательно, может служить источником сведений о языке и его носителе, и доклады, в которых имя собственное предстает как текстовая единица (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Среди докладов, выполненных на собственном языковом материале (а их было, разумеется, большинство), были и такие, в которых имя собственное рассматривалось в системно-структурном и функционально-динамическом аспектах, и доклады, в которых реализовывался подход к имени с позиций лингвистического антропологизма.

В ряде докладов был представлен системно-структурный аспект ономастических исследований. Так, О.Г. Гецова (Москва) в докладе “Наименования жителей архангельских деревень” выявила основные словообразовательные типы исследуемых названий, особенности которых определяются производящей базой – уникальными составными топонимами, маркирующими архангельскую территорию (например, *Холмогоры – холмогора, холмогор*). В.Л. Васильев (Великий Новгород) в докладе “Некоторые наблюдения над образованием и функционированием древнерусских форм на -’ане (преимущественно по материалам древненовгородской

письменности)” отметил, что производящей основой наименований жителей на -’ане, как правило, являются топонимы неантропонимического происхождения. В этой особенности автор усматривает аргумент в пользу высказанной в свое время С. Роспондом версии об апеллятивном происхождении днепровского топонима *Киев*, жители которого исконно именовались *кыяне*: если бы катойконим был произведен от имени легендарного воеводы *Кий*, название жителей было бы оформлено суффиксом -ичи (т.е. *киевичи*).

В докладах Е.Э. Ивановой (Екатеринбург) “Отражение диалектных словообразовательных особенностей в топонимии Урала” и Е.Н. Поляковой (Пермь) “Роль делового языка в развитии русской антропонимии XVII–XVIII вв.” прослежено воздействие на различные группы онимов системно-языкового фактора.

Иной вектор анализа – не от языковой системы к ономастической, а наоборот – был представлен докладами Л.Г. Гусевой (Екатеринбург) “Уральские фамилии как источник устаревшей диалектной лексики” и О.П. Воронцовой (Йошкар-Ола) “Гидрографические термины в марийских названиях”. В докладе Л.А. Феоктистовой (Екатеринбург) “К вопросу о тоposesемантике *пустого* (на материале топонимии Архангельской и Вологодской областей)” проведено сравнение значений слова *пустой* и его коррелятов (*пустый, пресный, простой, сухой*) в апеллятивной лексике и топонимии и выявлены причины их совпадения / несовпадения.

Система имен собственных, взятая сама по себе (“без оглядки” на систему языковую), оказалась в центре внимания Л.М. Дмитриевой (“Самоорганизация региональной топонимической системы”, Барнаул), Т.П. Соколовой (“Названия станций московского метро (специфика урбанонимической подсистемы)”, Москва) и Т.П. Романовой (“Основные тенденции развития современной эргонимической терминологии”, Самара). Обращает на себя внимание то, что в двух из перечисленных докладов проблема системности в ономастике обсуждается на примере искусственно созданных систем и во всех трех – преимущественно в функционально-динамическом аспекте.

Функционально-динамический подход к ономастикону был реализован и в докладе А.Ф. Журавлева (Москва) “После Унбгауна: о частотности русских фамилий в конце XX в. (К статистике русских фамилий. II)” (см. предыдущую публикацию А.Ф. Журавлева К статистике русских фамилий. I // Вопросы ономастики. № 2, 2005). Автор дал критический

анализ таблицы частоты встречаемости русских фамилий, включенной в книгу Б. Унбегауна "Русские фамилии", и предложил для сравнения собственные статистические подсчеты. Сравнение показало, что статистика Унбегауна весьма ненадежна прежде всего потому, что отражает состояние антропонимикона лишь одного города, и при том столичного (Санкт-Петербурга), на начало прошлого века. Степень расхождения данных о распространенности фамилий для неодинаковых по своему статусу городов (Москва, Владимира и Ялты) наглядно демонстрирует приведенная автором сравнительная таблица.

Сходная проблематика затронута в докладе М.Ю. Беляевой (Ставрополь) "Квантитативный метод в ономастике как составляющая генетического регионоведения", где отмечается неодинаковое соотношение фамилий, оформленных русскими (*-ов/-ев*) и /или украинскими (*-енко/-ко*) суффиксами для разных районов и населенных пунктов Западной Кубани.

Существенно облегчить проведение подобных подсчетов могло бы создание региональных и /или исторических словарей, нехватка которых по-прежнему остро ощущается антропонимистами (и не только ими). О принципах составления, источниках и структуре словарной статьи одного из таких словарей речь шла в докладе Л.А. Захаровой (Томск) "Словарь антропонимов первых жителей Томской земли XVIII в."

В сборнике материалов конференции опубликовано еще несколько тезисов докладов по вопросам ономастической лексикографии: Т.В. Лысова "О лексикографическом описании имен собственных (на примере фамилий православного духовенства)"; Г.Н. Старикова "Место топонимического словаря в системе лексикографических работ"; Е.В. Филатова "Отображение универсальной схемы коннотатива в словаре коннотативных собственных имен Е.С. Отина".

Функционально-динамический аспект ономастического исследования был бы неполон без анализа процессов деонимизации. И.В. Родина (Екатеринбург) сосредоточила свое внимание на механизмах и принципах апеллативизации имен собственных (антропонимов) путем семантической и структурно-семантической деривации (доклад "Апеллативная лексика антропонимического происхождения: аспекты и перспективы изучения"). Автор предлагает комплексный подход к изучению обширного диалектного материала, сочетающий в себе несколько аспектов: 1) системный (установление посредством идеографической классификации системных отношений между апеллативами), 2) ономастолого-этимологиче-

ский (выявление принципов и моделей номинации, а также факторов, способствующих апеллативизации онима), 3) этнолингвистический и 4) функционально-типологический (построение типологии семантических переходов).

Объектом анализа И.Б. Качинской (Москва) в докладе "Про Ваньку Ветрова и Ивана Лопаткина, а также имя собственное как нарицательную характеристику личности (по материалам архангельских говоров)" стали личные имена в их вторичных (ономастических и апеллативных) употреблении и производные от них (прозвища, географические названия).

А.Е. Анкин (Новосибирск) в докладе "О некоторых спорных примерах деэтнонимизации" обратил внимание на существование таких лексем, связи которых с именами собственными являются случайными, мнимыми или приобретены вторично в результате народной этимологии (последняя для заимствования является одним из способов его адаптации). Учет подобного рода фактов на фоне активной разработки проблем апеллативизации и онимизации безусловно необходим, поскольку позволяет избежать ошибочных интерпретаций. К примеру, автор считает неверным возведение укр. диал. *литві́нник* 'ивовые прутья, которыми связывают бревна в плотач' к этнониму *литвин* (скорее здесь следует предполагать связь с *витвин*(а), далее *ветвь*), в то время как вполне допустимым выглядит отождествление этнонима *литвин* и русск. диал. *литвін* 'скирда овса' (ср. блр. *ляшчк* 'укладка из десяти снопов', русск. диал. *латыш* 'небольшая ложка сена'). Сходные проблемы решались и в докладе Е.А. Березовской (Екатеринбург) "Отономастические и квазиономастические образования в русской ихтиологической терминологии".

Социоллингвистическая направленность нашла отражение в докладе Е.Е. Королевой (Латвия, Даугавпилс) "Прозвища русских Латгалии (на материале русских говоров и молодежного сленга)". Приведенный автором перечень мотивационных моделей в очередной раз показал многообразие лежащих в основе номинации признаков, а в случае отфамильных прозвищ – разнообразие и субъективность основанных на языковой игре ассоциаций. Отдельная задача исследования – сравнение прозвищ, функционирующих среди представителей разных возрастных групп, носителей разных форм существования языка – говора и сленга. Н.И. Волкова (доклад "Прозвища как объект лингвистики, социоллингвистики и психоллингвистики", Сыктывкар) предложила типологию моделей мотивации прозвищ Республики Коми (правда,

само понятие мотивационной модели в данном случае трактуется расширительно: некоторые модели явно выделены с учетом не признаков номинации, а ее способов или средств) и познаномила с некоторыми результатами анкетирования, направленного на определение места прозвищ в формулах именования жителей республики, частотности и сферы их использования, выполняемых функций.

В ряде докладов представлен материал, свидетельствующий о способности имени собственного (прежде всего антропонима) маркировать социальный (или социокультурный) статус объекта (реже субъекта) номинации. Так, А.И. Кузнецова (Москва) в докладе “Проблемы множественной номинации в ономастическом пространстве (на материале уральских языков)” подробно рассмотрела различные случаи переименования в языках, сохраняющих архаичные способы имянаречения: смена временного детского имени взрослым; замена настоящего имени перифразой после вступления в брак (напр. мар. *Метрин ватож* ‘Дмитрия жена-его’), рождения первого ребенка и др. В докладе Ф.Б. Успенского и А.Ф. Литвиной (Москва) “Принципы выбора имени в диалектах средневековой Европы” сопоставлены принципы имянаречения у русских и скандинавов: наречение новорожденного в честь умершего предка как дополнительный инструмент, используемый при наследовании власти, в борьбе за власть; варьирование, сближение родовых имен с целью упрочения тех или иных связей внутри рода, закрепления союза между родами и др. Н. В. Комлева (Вологда) указала на различия в именовании представителей разных сословий (доклад “К изучению старорусской антропонимической системы города и села в контексте идей когнитивной и этнологической лингвистики (на материале памятников вологодской официально-деловой письменности конца XVI–XVII вв.)”.

Этнолингвистическая проблематика затрагивалась не только в докладах по общим вопросам теории имени собственного (с целью иллюстрации тех или иных положений), но и в докладах более узкой тематики. Входящие в ономастикон культуры того или иного этноса имена стали объектом детального изучения в докладах Т.Н. Дмитриевой (Екатеринбург) “Орнитотопонимы бассейна реки Казым и религиозно-мифологические представления ханты” и С. Небжеговской-Бартинской (Люблин, Польша) “Сакронимы в польских народных названиях травянистых растений”. В первом из них были предложены этимологии нескольких содержащих орнитонимы географических названий – названий мест поклонения духу-предку рода или

семьи, имеющему птичий облик; во втором был представлен комплексный анализ избранной группы лексики в структурном и мотивационном аспектах. Фитонимы (атрибутивные сочетания наподобие *raczka Pana Jezusa, trzewiczek Matki Boskiej*) могут, в частности, восходить к апокрифической легенде или же быть связаны с верованиями в магические свойства имени святого, умножающие целебные свойства самого растения. Ю.А. Кривошарова (Екатеринбург) в докладе “Антропонимический код в русской энтомологической лексике” отметила, что задействованность имен мифологических персонажей и производных от них хрононимов составляет специфику ономастической номинации отдельных представителей класса насекомых.

Сообщенные Т.В. Леонтьевой (Екатеринбург) сведения об участии антропонимов в номинации человека по его интеллектуальным способностям позволили уточнить культурную семантику отдельных имен и дополнить реконструированные на неонамастическом языковом материале народные представления об умном и глупом человеке (доклад “Антропонимы в лексико-семантическом поле “Интеллект человека””).

Этнокультурный потенциал прозвищных антропонимов, образованных от апеллативов – обозначений различных видов продуктов и свойств пищи, был раскрыт в докладе К.В. Пьянковой (Екатеринбург) «“Пищевая” лексика в прозвищных антропонимах». Как показал представленный материал, в прозвищах могут быть запечатлены те или иные пищевые предпочтения человека или группы людей, обнаруживающие различия между жителями разных территорий, различия в их социальном положении или культурных традициях. В докладе И.А. Кюршуновой (Петрозаводск) “Образ человека в языковой картине мира (по данным исторической региональной антропонимии)” представлены результаты анализа обширной группы апеллативов, реконструированных на базе антропонимии Карелии XV–XVII вв., – обозначений человека по внешним признакам и чертам характера. Обилие в антропонимиконе Карелии имен, дающих характеристику речевой (коммуникативной) деятельности человека (сварливость, лживость, болтливость, скандальность, назойливость, крикливость), докладчица объясняет контактами русских с прибалтийскими финнами и саамами, отличающимися малообщительностью. С различиями в укладе жизни связано, по ее мнению, и то, что в антропонимии других территорий средневековой Руси (Вологда, Белозерье, Архангельск, Холмогоры, Великие Луки, московский Китай-город,

Вятка и др.) на первый план выходят иные личностные характеристики.

В докладе Н.В. Лабунец (Тюмень) “Национальная специфика географической терминологии” на материале бытующих в старожильческих говорах и топонимии юга Тюменской области терминов русского и тюркского происхождения были выявлены различия в членении русскими и татарами географического пространства (для пришедших с севера русских это прежде всего дискретное, состоящее из преград лесное пространство, для мигрировавших с юга тюрков – бескрайние степные просторы).

Проблематика докладов по ономастической контактологии была сосредоточена в разработке двух направлений: идентификация этноса по данным имен собственных и реконструкция элементов языка и культуры на основе ономастических данных.

Вопрос об идентификации этноса рассматривался преимущественно на материале субстратной топонимии северной и центральной России. По мнению А.К. Матвеева (доклад “К изучению прибалтийско-финской топонимии на территории исторических мерянских земель”, Екатеринбург), лингвоэтническая идентификация топонимии может быть успешной только в том случае, если анализируется целый комплекс названий одного региона, обнаруживающих общие черты. Описанные докладчиком группы топонимов, имеющие прибалтийско-финские истоки, но фиксируемые на территориях, которые издавна рассматриваются как мерянские, позволяют предполагать возможность инфильтрации на юг прибалтийско-финских народов с территории Русского Севера. В дискуссии по докладу представленные материалы были признаны бесспорным доказательством полиэтничности рассматриваемого региона, однако не до конца выясненным остался вопрос о хронологии и исторических причинах миграций. По мнению Е.А. Хелимского, основное противоречие, которое следует объяснить, заключается в разнонаправленности потоков движения: основного (колонизации Русского Севера) и обратного движения прибалтийских финнов на юг.

Новые данные о былой полиэтничности территории Карелии были представлены Д.В. Кузьминым (Петрозаводск) в докладе “Топооснова *Hämeh-* в топонимии Карелии”. Проанализировав этнотопонимы и дифференцирующие топонимы, автор доклада пришел к выводу о возможности проникновения групп емского населения с территории Финляндии в Заонежье, Приладожье и Беломорье. Причины этого движения связаны с оттоком с этих территорий части карельского населения. Ем-

ские охотники и рыболовы приходят сюда в мирных целях, осваивая новые для себя промысловые регионы. Обоснование возможности вливания западно-финских переселенцев в среду карельского населения позволяет объяснить неясные ранее языковые факты финского происхождения не только в топонимии, но и в севернорусской лексике и открывает возможности для более широкой ориентации в этимологических исследованиях на финский материал.

Необходимость комплексного подхода к интерпретации субстратной топонимии полиэтничного в прошлом региона особо подчеркивалась в докладе Ю.В. Откупщикова (Санкт-Петербург) «О так называемых “речных суффиксах” *-ша* и *-киша* в гидронимии бассейна Оки». Проанализировав многочисленные и весьма противоречивые гипотезы, существующие в настоящее время в научном обороте, докладчик пришел к выводу о том, что, поскольку в семантическом плане возможности реконструкции гидронимов практически ничем не ограничены, очень важно, чтобы реконструированная словообразовательная модель надежно подтверждалась на уровне апеллятивной лексики. Топонимия бассейна Оки надежные словообразовательные параллели находит не в финно-угорских языках, как предполагалось многими исследователями, но в латышском и литовском, что позволяет делать вывод о балтийском характере анализируемых названий.

Внимание П. Амбросяни (доклад “Топонимика Кипенского погоста: источники, развитие, проблемы”, Умеа, Швеция) к проблеме древней полиэтничности русских территорий было вызвано несопадением исторических данных, в частности данных карт изучаемого автором региона. Анализ топонимии позволяет предполагать различия в этническом составе населения Кипенского погоста, которые способствовали его расчленению. Вместе с тем выявляются и процессы активного взаимодействия этнических групп, о чем свидетельствует, например, судьба русского названия *Старая Весь*, которое было заимствовано местным прибалтийско-финским населением и вернулось обратно в русский язык в форме *Таровицы*.

Основным моментом, усложняющим лингвоэтническую идентификацию топонимии, является то, что исследователю довольно часто приходится иметь дело с данными глубокой древности, восходящими к вымершим языкам. Попытка систематизации данных о финно-угорских языках, существовавших ранее на севере России, была предпринята Е.А. Хелимским (Гамбург, Германия) в докладе “Насле-

дие северо-западной группы финно-угорских языков в субстратной топонимии и лексике: реконструкции, историческая фонетика, этимология”. Новым для научных исследований является сам термин северо-западная (или иначе у автора – верхневолжская) группа, в которой предлагается объединить следующие ветви: прибалтийско-финская, саамская, лопская, тоймская, мерянская, тверская. Е.А. Хелимский полагает, что исчезнувшие диалекты лопи, тоймы и меря могли быть еще и в начале II тыс. существенно более близки праязыковому северо-западному состоянию, чем современные им – и, тем более, чем современные нам – прибалтийско-финские и саамские диалекты. Ввиду этого, по мнению докладчика, при интерпретации лексического наследия (в первую очередь, топонимического) на соответствующих территориях использование финно-угорских реконструкций более эффективно и методологически более корректно, чем обращение к данным современных прибалтийско-финских и саамских диалектов, и, тем более, волжских, пермских, угорских и самодийских языков. Этот тезис был убедительно проиллюстрирован в авторских этимологиях, которые вызвали активный интерес аудитории. Постулаты Е.А. Хелимского являются важным прорывом в области исследования субстратной топонимии Русского Севера, поскольку до настоящего момента этимологи активно сопротивлялись привлечению праязыковых форм. Некоторые сомнения все же остались неразрешенными после дискуссии по докладу. Главным из них является отсутствие объяснений такого длительного сохранения архаики в вымерших языках финно-угорской группы.

Определение языковой принадлежности топонима остается одной из сложнейших этимологических процедур, требующей учета комплекса факторов. Это положение было проиллюстрировано в докладе А.Н. Куклина (Йошкар-Ола) “Палеогидронимия Урало-Поволжья (структурно-системный подход к семантической реконструкции)”. По убеждению автора, устанавливать языковую принадлежность палеогидронима следует лишь на основе воссоздания языковой реальности исторической древности, причем гипотетически восстанавливаемая этническая карта должна подтверждаться археологическими, палеоантропологическими и иными данными, которые не противоречили бы друг другу, а находились бы в отношениях взаимной дополняемости. Центром анализа должен быть отбор лингвистических данных в ориентации на непротиворечивое семантическое содержание, соответствующее физико-географическим реалиям. Представленная теоретическая установка поз-

волила автору пересмотреть ряд выдвигавшихся ранее этимологий и предложить собственные интерпретации. Однако новая этимология гидронима *Волга*, обоснованная в другом докладе А.Н. Куклина (“Взаимодействие языков Урало-Поволжья в сфере топонимии”), была подвергнута критике со стороны участников конференции, отметивших, что докладчик строит свои доказательства на основе случайного фонетического сходства данных различных языков.

Т.И. Киришевой (Екатеринбург) в докладе «Названия с «путевой» семантикой в топонимии Онежского полуострова» удалось, основываясь только на лингвистических фактах, выявить диахронические и этнические различия в системах путей сообщения на Онежском полуострове: для древности были значимы водные пути, и ими пользовалось дорусское население региона, тогда как в эпоху русского освоения возрастает значимость сухопутных дорог.

Два доклада были посвящены функционированию географической терминологии в топонимии Русского Севера. И.И. Корсунова (доклад “Типы бытования заимствованной географической терминологии в топонимии Примеченья”, Екатеринбург) на основе изучения обширного корпуса названий, включающих географические термины, сформулировала ряд положений, касающихся возможности определения типа языковых контактов, происходивших в регионе, и особенностей русского освоения иноязычного материала. О.А. Теуш (Екатеринбург) в докладе “К проблеме реконструкции географической терминологии по данным субстратной топонимии Русского Севера” предложила методику реконструкции географических лексем, определила основные типы языковых фактов, доступных для такой реконструкции. По мнению автора, особое изучение этого материала необходимо прежде всего при лингвоэтнической идентификации топонимии, поскольку, растворяясь в общем массиве, он может стать причиной ошибочных интерпретаций.

Доклад Н.В. Кабининной (Екатеринбург) “Антропонимы финно-угорского происхождения в топонимии Мезенского района Архангельской области” является вкладом в пока слабо развитую в ономастической контактологии область исследований – изучение взаимодействия различных видов онома в субстратной топонимии. В настоящий момент этимология субстратных названий строится на презумпции их отапельлативного происхождения. Н.В. Кабинина показала, что учет антропонимического материала не менее важен и открывает новые возможности как в рекон-

струкции древних финно-угорских антропонимических систем, так и в описании лингвоэтнической истории региона. Автору удалось по данным топонимии реконструировать имена, не зафиксированные ни в русском, ни в иноязычных ономастиконах.

Центральным в докладе А.Л. Шиловой (Москва) “Топонимическая лоция реки Охта” стал вопрос о преемственности в топонимических системах. Выявив комплекс сакральных названий русского и субстратного происхождения, докладчик реконструировал исходную систему, связанную с культовыми местами карел и саамов, и проследил ее дальнейшие трансформации. Немалую роль в видоизменении системы сыграли процессы калькирования, причем часто ошибочного, обусловленного непониманием исходной основы и языковыми аналогиями. Подобные факты редко привлекают внимание лингвистов, между тем их учет при интерпретации субстратной топонимии может многое прояснить в судьбе “темных” названий.

В целом основное внимание современной ономастической контактологии устремлено к проблемам выявления различий древних этносов, этномаркирующих признаков, которые позволяют, с одной стороны, описать этнос, его язык, культуру и распространение, с другой стороны, выявить точки соприкосновения с другими этносами, идентифицировать в современных моноэтнических данных “свое” и “чужое”.

Две трети докладов, посвященных анализу семантики и прагматики имени в тексте, относились к области литературной ономастики. От рассмотрения общих вопросов, касающихся статуса литературной ономастики в парадигме лингвистики, до исследования конкретных имен. Функционирующих в произведениях разных авторов, – таков обширный спектр вопросов, поднятых докладчиками.

Т.М. Николаева (Москва) в докладе «Имена героев и “скрытая” литературная память» обратилась к рассмотрению имен двух персонажей лермонтовского “Маскарада” – баронессы Штраль и князя Звездича. Докладчица предположила, что прообразами лермонтовских персонажей являются герои романа “Опасные связи” Ш. де Лакло – маркиза де Мертей и виконт де Вальмон. Эта оригинальная гипотеза получила убедительное подтверждение: Т.М. Николаева привела ряд совпадений в сюжетных мотивах и образных характеристиках у Лермонтова и Ш. де Лакло. Все это позволило автору поставить вопрос об имени как одном из основных трансляторов культурной памяти.

А.Д. Михайлов (Москва) посвятил доклад «“Имя героя: имя” (Марсель Пруст)» анализу литературного онима *Сван*. Указав на связь этого имени с протонимом Шарль Аас, докладчик проанализировал мотивы выбора Прустом фамилии для героя (от англ. *swan* ‘лебедь’), воссоздав тот широкий культурный контекст, в котором функционирует и на который опирается антропоним. По его мнению, интертекстуальные связи имени и прустовского образа базируются на мифологическом восприятии лебедя, которому присуща в мировой культуре богатая и разнообразная символика. В частности, для восприятия важен миф о Зевсе и Леде, так или иначе варьируемый во многих произведениях искусства нового времени. На основании высказанных соображений автор пришел к выводу, что уже в именах героев Пруста заложен их дальнейший жизненный путь и глубокая символика архетипов.

В докладе А.А. Фомина (Екатеринбург) “О направлениях изучения литературной онимии” была сделана попытка выработать типологию подходов к исследованию литературного онима. Автор выделяет пять направлений анализа онима в художественном тексте. Во-первых, оним может быть изучен в его проекции на личность автора и его ментальную модель действительности (картину мира), производной от которой является художественный мир произведения. Во-вторых, литературное имя может исследоваться в его проекции на языковую систему, прежде всего на ономастикон того или иного конкретного языка. Оним выступает в этом случае в качестве речевой единицы, реализующей свой языковой потенциал. В-третьих, оним может проецироваться на пространство интертекста, выступая в качестве сигнала интертекстуальной переклички. В-четвертых, имя может быть спроецировано на личность читателя и его ментальную модель действительности. Анализу при этом подходе подлежит имя с позиции реципиента, воспринимающего и интерпретирующего художественный мир текста. В-пятых, литературный оним может рассматриваться в проекции на сам художественный текст как систему. В этом случае оним представляет собой функционирующий в системе художественный знак. В заключение автор доклада подчеркнул необходимость комбинировать в ходе анализа различные подходы к объекту.

Доклад Н.В. Васильевой (Москва) “Литературная ономастика и лингвистика текста: партнеры или конкуренты?” был посвящен рассмотрению отношений современной русской литературной ономастики с лингвистикой текста. Констатируя ориентацию многих работ по литературной ономастике на стилистику и

поэтику, автор доклада справедливо указывает, что достаточно тесного контакта с лингвистикой текста у российской литературной ономастики пока не сложилось, хотя определенные сдвиги в данном направлении наметились. В связи с этим Н.В. Васильева попыталась очертить круг проблем, встающих перед литературной ономастикой в ее “текстолингвистической” ипостаси, выделив три блока вопросов. Во-первых, это вопросы, связанные с интродукцией имени и интродуктивными стратегиями, с языковыми средствами реализации этих стратегий, а также типологической характеристикой текстов с точки зрения принципов введения ономастических единиц. Во-вторых, это вопросы, связанные с функционированием имени в тексте: изучение номинативных парадигм, формируемых на основе кореферентности, синтагматических отношений имени и свойств его сочетаемости, анализ бытования имени в различных фрагментах текста, а также функция имени как сигнала переключения регистра повествования. Сюда же автор доклада относит и вопросы, касающиеся разнообразных эффектов, индуцируемых онимом (транспозиции онима и апеллятива, анаграммирование, языковая игра и т.д.). Наконец, третий блок вопросов – это проблемы, связанные с выходом имени за пределы текста, отмечающим рождение прецедентности онима и установление его интертекстуальных связей.

Оживленное обсуждение вызвал доклад М.В. Голмидовой (Екатеринбург) «“Текстообразующие функции собственных имен в романе В. Пелевина “Generation “П”»». Автору удалось показать многослойность и противоречивость смыслов, порождаемых литературными онимами в постмодернистском тексте, их способность отображать развитие концептуального плана текста. Открытость собственных имен для насыщения фоновой культурной информацией обуславливает их возможность выступать в роли одного из действенных средств организации семантического объема художественного текста, взятого в его внутренней связанности и цельности и в его внешних содержательных связях. В образовании внешних, интертекстуальных связей принимают участие прецедентные имена, а внутренние связи собственных имен складываются за счет наращивания их смыслового объема по мере функционирования их в разворачиваемом тексте.

В докладе Ф.Ш. Пашаевой (Баку, Азербайджан) “Антропонимическое пространство произведений Ф.М. Достоевского” наглядно продемонстрировано, что антропонимическое творчество писателя связано с тенденцией к использованию регулярных антропонимиче-

ских приемов: характеризующей семантики апеллятивов, ироническому обыгрыванию иноязычных имен, фонетической экспрессии антропонимов и др.

Е.Н. Остроухова (Новосибирск) в докладе “Особенности поэтонимов у обэриутов (Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова)” подчеркнула, что поэтоним в произведениях обэриутов способствует разрушению и обесмысливанию художественного образа. Немотивированность создания и употребления имени, нарочитое прикрепление имени к неподходящему объекту, нарушение его ассоциативных и логических связей приводят, по мнению автора доклада, к коренной трансформации функционального потенциала поэтонима.

М.А. Соловьева (Екатеринбург) свой доклад “Лингвостилистические особенности актуализации аллюзивного имени в художественном тексте” посвятила выявлению специфики онимов, обладающих способностью отсылать читателя к известным культурным объектам, на примере некоторых антропонимов из произведений А. Мэрдок. Думается, интересный материал, представленный в докладе, только выиграл бы, если бы автор строже подошел к определению ключевого для него понятия “аллюзивное имя” и отграничил бы его от более общего понятия “антропоним – культурный знак”.

Таким образом, обсуждение общетеоретических вопросов совмещалось в докладах с анализом конкретных онимов. В свою очередь, сам материал этих исследований также характеризовался весьма большим разнообразием: исследовались как имена в произведениях писателей-классиков, так и ономастика современных авторов, а наряду с онимией русской литературы изучались собственные имена в произведениях зарубежных писателей.

Особняком стояли доклады, выполненные на ином текстовом материале: фольклора (О.Е. Фролова), житийной литературы (Ф.Б. Успенский и А.Ф. Литвина), арабской географической литературы (В.В. Напольских), публицистики (Н.Б. Гарбовская).

В докладе В.В. Напольских (Ижевск) “*Вятка, Джулман, Югра и Сибирь* в арабском источнике первой половины XIV в.” рассматривалась проблема идентификации исторически известного имени и топообъекта, обозначаемого им в тексте энциклопедии, составленной чиновником египетского султанского двора. На основании скрупулезного контекстологического анализа автору удалось выявить многозначность имени *Джулман* в арабских источниках, что позволило непротиворечиво совместить лингвистическую топографию с географической и исторической.

О.Е. Фролова (Москва) в докладе “Антропоним в жестко структурированных текстах” рассмотрела, каким образом ведут себя разные типы антропонимов (воплощенные и невоплощенные, по А. Гардинеру) в пословице, анекдоте и волшебной сказке и какие ограничения накладывает на референцию и употребление имени собственного тип текста.

Вопрос о текстовых истоках имянаращения являлся центром еще одного доклада Ф.Б. Успенского и А.Ф. Литвиной “Агиография и выбор имени в Древней Руси”, в котором интерпретировался ряд исторически известных имен, связанных не только с традициями христианского именослова, но и с особыми коннотациями, которыми имена наполнены в агиографических текстах, в том числе сюжетными связями в рамках текстовых ономастических микросистем. Христианское имя не только символизировало небесного покровителя, но и апеллировало к определенному сюжету, разворачивалось в текст, что отражалось в системе взаимосвязанных имен определенного круга лиц.

Н.Б. Гарбовская (Славянск-на-Кубани) в докладе “Прозвище как номинация политика в газетном тексте” сосредоточила свое внимание на выявлении признаков мотивации и определении среди них наиболее частотных.

Итоги работы конференции были подведены на круглом столе “Проблемы и перспективы развития ономастики”. Заседание открыла презентация первых номеров издаваемого с 2004 г. журнала “Вопросы ономастики”, что во

многом определило основные направления дискуссии:

- задачи и содержание журнала, его политика;

- формы организации исследовательской работы по ономастике с целью повышения ее эффективности: не только выпуск журнала и проведение конференций, но и издание сериальных сборников, создание Российской ономастической комиссии;

- издание справочной литературы: коллективных монографий по теории имени собственного, учебников, библиографических указателей.

Какие из стоящих перед российской ономастикой задач будут выполнены, покажет время, конференция же справилась со своей главной задачей, дав исследователям возможность познакомиться с актуальными проблемами науки об именах собственных и достижениями в ней.

Тезисы докладов, прозвучавших на конференции, а также тезисы тех исследователей, которые приняли в ней заочное участие, опубликованы в сборнике: Ономастика в кругу гуманитарных наук: Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 20–23 сентября 2005 г. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2005.

Л.А. Феоктистова, О.А. Теуш, А.А. Фомин
(Екатеринбург)

Виноградовские чтения 2006 г.

19 января 2006 г. в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва) состоялись ежегодные Тридцать седьмые Виноградовские чтения. Чтения 2006-го года были посвящены проблемам исторической лексикологии, занимавшим важное место в широком кругу научных интересов академика В.В. Виноградова.

В докладе Анны А. Зализняк (Москва) “Внутренняя форма слова как предмет историко-лексикологического исследования” внутренняя форма слова понималась как осознаваемая говорящим мотивированность значения слова данного языка значением составляющих его морфем или исходным значением того же слова. Другими словами, это об-

раз или идея, положенные в основу номинации и задающие определенный способ построения заключенного в данном слове концепта. Выделяются три типа внутренней формы слова: словообразовательный (основа внутренней формы – деривационные отношения слова с другими словами или морфемами: *заходить* – от *зайти* и от *ходить*), эпидигматический (основа – отношения с другими значениями того же слова: *волноваться*, *нос корабля*) и смешанный (*дверная ручка*, *впечатление*). Внутренняя форма слова может быть оригинальной и калькированной, может различаться по степени прозрачности (в том числе в зависимости от типа дискурса или ментальных особенностей носителя языка), может быть ложной, порождаемой народной этимологией, которая в свою очередь часто влечет за собой переразложение морфем.

В.С. Елистратов (Москва), говоря об «Истории слов и истории словесных “брендов”», разделил сферы бытования слов на сакральный и профанный гипердискурсы и выделил в последнем три “поля”: культурное, идеологическое и коммерческое. В культурном гипердискурсе преобладает естественное развитие слова, в идеолого-коммерческом – искусственное, что и есть по сути дела история “бренда”, т.е. “торговой (идеологической) марки”. Как пример слова, по-разному бытовавшего во всех трех полях гипердискурса, был рассмотрен “бренд” *романтизм*. В настоящее время все больше слов сразу создаются как “бренд” (активно функционирующее коммерческое *тинтинейджер*, а также пока только формирующееся в США *претин* – ребенок 12–14 лет). На основании лингвистических данных были сделаны более глобальные выводы. Сфера идеологии и особенно – коммерции, т.е. “риторического гипердискурса” в современном мире (и это – глобальный, интернациональный процесс) основывается на трех интегральных структурах. В сфере логоса это *тест*, в сфере фаоса – *клип*, в сфере этоса – *прецедент*. Тест приводит к безальтернативности мышления, клип (так называемое клиповое мышление) – к крайнему обеднению эмоционального спектра, прецедент – к разрыву культурной преемственности.

Е.С. Копорская (Москва) в докладе “О некоторых явлениях обмирщения церковно-славянской лексики (второй пол. XVIII–нач. XIX в.)” говорила об эпохе Просвещения как времени появления большого количества отвлеченных существительных, источником для которых стал церковнославянский язык. Секуляризацию тех или иных слов сопровождало переосмысление значения слова, часто связанное с изменением его внутреннего образа, развитие образного употребления, метафоризация. Е.С. Копорская подробно рассмотрела церковнославянские слова (*просвещение*, *вдохновение*, *восхищение* и некот. др.), несущие центральную идею русского православия – идею божоединения, которые стали ключевыми словами русского просветительства.

А.Д. Шмелев (Москва) в докладе “Старое и новое в русской церковно-бытовой лексике” отметил, что русский религиозный дискурс развивается и в настоящий момент, однако последний раз подвергался нормализаторской деятельности в к. XIX–н. XX в. Так, относящиеся к данному типу дискурса слова не получают никакой квалификации в орфоэпических словарях (не фиксируются характерные для церковного дискурса *приходской*, *патриархия*), в толковых словарях (либо не фиксируются, либо толкуются неточно или не-

полно). Докладчик остановился на бытовании в современном живом церковно-бытовом языке четырех слов: *мясопуст*, *привенчивать*, *запивка* и *ящик* (*стоять за ящиком*).

В.Б. Крысько (Москва) в докладе “Темные слова в древнерусских текстах” предложил новое прочтение ряда непонятных фрагментов в памятниках древнерусского письменности: Каноне Кириллу Философу из Ильиной книги (XI–XII вв.), в Студийском уставе (к. XII в.), Троицком сборнике (XII–XIII вв.), в Луцкой (Флорентийской) псалтыри (1384 г.). Подробнейший текстологический анализ в соединении с анализом близкой лексики других славянских языков и греческих источников, а также с морфологическим анализом позволил докладчику определить значения некоторых темных слов, что дает возможность использовать изученный материал в дальнейшей работе по составлению “Словаря русского языка XI–XVII вв.”.

Е.М. Верещагин (Москва) посвятил свой доклад “*Cruх interpretorum*: фантомная лексема *изгидошася*” проблеме интерпретационного перевода, с которой часто приходится сталкиваться исследователям древнерусских текстов. На примере лексемы *изгидошася* Е.М. Верещагин показал, что славянские книжники при переводе греческих оригиналов зачастую наделали непонятные для них слова новым смыслом. Именно использование таких личных интерпретаций явилось одной из причин появления многих темных, загадочных фрагментов в древнерусских текстах.

Чл.-корр. РАН А.М. Молдован (Москва) в своем докладе “*Лясы точить и бить баклуши*” обратил внимание на этимологию названных выражений. Подробно рассмотрев точку зрения В. Даля, А. И. Соболевского и В. В. Виноградова, выведивших значение слова *лясы* от *блясы*, *блясины* ‘точеные столбики для перил’ и связывавший происхождение фразеологизма *точить лясы*, а также *точить блясы* (и, как полагал В.В. Виноградов, более раннее *точить балы*) с ремесленной сферой, докладчик поставил под сомнение правильность подобных истолкований, признавая более убедительными объяснения А.Ф. Журавлева, А.С. Мельничука, В.М. Мокленко и Р. Эккерда в пользу диалектного происхождения данного выражения (*лясы*, по данным говоров, ‘праздная, пустая барствня’). Также ошибочной можно считать версию Даля о происхождении выражения *бить баклуши*, согласно которой *баклуши* – это заготовки, чурки, чурбаны, предназначенные для дальнейшего изготовления из них посуды; и, следовательно, первоначальное значение ‘заниматься работой, не требующей особого ма-

стерства' было переосмыслено как 'шататься без дела'. Напротив, автор вслед за В.М. Мокиенко и А. Спириным отметил, что в некоторых диалектах слово *баклуша* также означает 'палочку для игры в городки' и какая-то разновидность баклуш могла использоваться в качестве примитивного музыкального инструмента наподобие деревянных ложек, откуда и развилось значение фразеологизма 'бездельничать'. Опираясь на данные письменных памятников и фольклорные источники, докладчик показал, что глагол *бить* в сочетании с обозначением ударных музыкальных инструментов не всегда

требовал наличие предлога *в*: возможно было и беспредложное управление. В заключение А.М. Молдован отметил, что традиционная этимология фразеологизмов *точить лясы* и *бить баклуши*, признанная ошибочной, оказывается на сегодняшний день более популярной и продолжает существовать в новых этимологических пособиях, некоторых словарях и Интернете.

Н.Н. Занегина, Ю.С. Капитанова
(Москва)

1. **Рукописи** представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания **должны быть набраны** через полуторный интервал **в электронном виде**. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон, E-mail адрес.

1.1. К рукописи прилагается **договор о передаче авторского права**. Текст договора см. в № 5, 2005 г. или на сайте Издательства “Наука” www.naukaran.ru. Подписывая договор, укажите, пожалуйста, Ваши паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес, телефоны, E-mail адрес.

1.2. В **состав электронной версии** статьи должны входить: файл, содержащий текст статьи, и файл(ы), содержащий(е) иллюстрации. Если текст статьи вместе с иллюстрациями выполнен в виде одного файла, то необходимо дополнительно представить файлы с иллюстрациями. На дискете желательно продублировать материалы в разных каталогах (на случай брака дискеты). Во избежание технических неполадок запись на дискете рекомендуется тестировать и проверять на вирусы.

1.3. **Подготовка электронной версии основного текста.**

Желательно представление основного текста статьи в формате Microsoft Word for Windows. При наборе используйте стандартные Windows True Type шрифты (например, Times New Roman, Courier New, Arial и т.п.). Все использованные в статье шрифты с нестандартными знаками желательно сохранить как отдельные файлы на дискете. Размер шрифта – 12.

Обращаем Ваше внимание на то, что строки текста в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (обычно клавиша Enter). Тексты с разделением строк в пределах абзаца символом возврата каретки не могут быть использованы.

1.4. **Подготовка электронной версии графического материала.**

При подготовке графических файлов мы просим Вас придерживаться следующих рекомендаций:

- для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;

- векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они сделаны:

- CorelDraw (до версии 8.0), Adobe Illustrator (до версии 8.0), FreeHand (до версии 8.0) или в формате EPS;

- для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.

Если программа не является распространенной, то желательно дополнительно сохранить файлы рисунков в формате WMF или EPS.

Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы был понятен порядок их расположения. Каждый файл должен содержать один рисунок.

2. **Примеры** в журнале принято давать курсивом, а значения их в кавычках.

3. **Библиография** в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

- “Код работы” (фамилия, год выхода цитируемой работы), тире, инициалы и фамилия автора, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа “и др.” или “et al.” .

- Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: Успенский 1994 – Б.А. Успенский. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

- Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например: Трубецкой 1990 – Н.С.Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то “кодом” является одно из двух:

а) фамилия редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) и год, тире, инициалы и фамилия редактора с указанием “ред.” (для других языков – ed., hrsg. и т.п.);

б) сокращенное название и год.

Greenberg 1978 – J. Greenberg (ed.). *Universals of human language*. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals 1978 – *Universals of human language*. V. I. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. **В тексте ссылки на литературу** даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992 : 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a].

4. **Подстрочные примечания** имеют сквозную нумерацию.

5. Непринятые рукописи не возвращаются.

6. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

7. Рецензии должны присылаться в редакцию вместе с экземпляром рецензируемой книги (по просьбе автора рецензии книга будет ему возвращена).

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале “Вопросы языкознания” не принимаются.

CONTENTS

M.N. Bogoljubov (St.-Petersburg). On the interpretation of the Zoroastrian prayer of Ashem-Vohu; E.V. Perekhval'skaja (St.-Petersburg). Parts of speech in Russian pidgins; R. Nitsolova (Sofia). Interaction of evidentiality and admirativity with categories of verbal tense and person in Bulgarian; G.E. Kreidlin (Moscow). Iconic gestures in the discourse; S.I. Burkova (Novosibirsk). On the basic grammatical semantics of participles in the Nenets language; A.Yu. Uрманčieva (Moscow). Tense, aspect or modality? Verbal system of the Nenets language; **Reviews:** D.O. Dobrovolskij (Moscow). E.V. Padučeva. Dynamic models in lexical semantics; M.A. Krongauz (Moscow). N.B. Mečkovskaja. Semiotics: Language. Nature. Culture. A course of lectures; P.M. Arkadiev (Moscow). Explorations in nominal inflection; M.E. Čumakina (Gilford). V.S. Hrakovskij (ed.). Typology of concessive constructions; I.A. Gruntov (Moscow). E.A. Kuz'menkov. Phonological system of contemporary Mongolian; J.-O. Svantesson, A. Tsendina, A. Mukhanova-Karlsson, V. Franzén. The phonology of Mongolian; Ju.B. Korjakov (Moscow). W.F.H. Adelaar, P.C. Muysken. The languages of the Andes; A.B. Letučij (Moscow). A. Levinsteinmann. Die Legende vom bulgarischen Renarrativ. Bedeutung und Funktionen des kopulativen *l*-Periphrase; **Scientific life. Chronicle features:** N.D. Svetozarova, A.P. Sytov (St.-Petersburg). The All-Russian conference "Linguistics in the years of war..."; T.A. Mikhailova (Moscow). Colloquium "Celts-Slavica" (University of Ulster, Coleraine, June, 2005); E. Pupylnina, E. Solodova (Kazan'). VIII International conference "Cognitive patterning in linguistics" (Varna, September 2005); L.A. Feoktistova, O.A. Teush, A.A. Fomin (Ekaterinburg). International scientific conference "The place of onomastics in humanitarian sciences"; N.N. Zanegina, Yu.S. Kapitanova (Moscow). The Vinogradov Readings 2006.

Сдано в набор 20.04.2006	Подписано к печати 19.06.2006	Формат 70 × 100 ^{1/16}
Офсетная печать	Усл. печ.л. 13,0 Усл. кр.-отт. 18,8 тыс.	Уч.-изд.л. 15,5 Бум. л. 5,0
	Тираж 1416 экз. Зак. 1494	

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
 в Министерстве печати и информации Российской Федерации
 Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Академиздатцентр "Наука", 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
 Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
 телефон 201-25-16

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"
 Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6